День поэзии

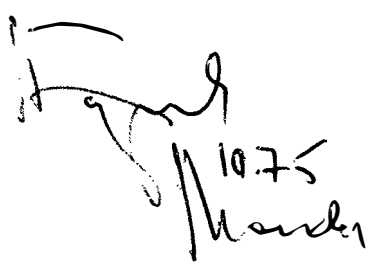
1975

День поэзии • 1975

День поэзии

1975

„Советский писатель" • Москва • 1975



Р2
Д 34

Редакционная коллегия:

Евгений ВИНОКУРОВ — главный редактор
Петр ВЕГИН — составитель
Олег ДМИТРИЕВ
Тамара ЖИРМУНСКАЯ
Михаил КВЛИВИДЗЕ
Михаил ЛЬВОВ
Владимир ОГНЕВ
Владимир ПРИХОДЬКО
Владимир СОКОЛОВ
Вадим СИКОРСКИЙ
Николай ТАРАСОВ
Виктор ФЕДОТОВ
Владимир ЦЫБИН
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ — зам. главного редактора

© *Издательство «Советский писатель», 1975 г.*

Д $\frac{70402-333}{083(02)-75}$ 128—75

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Перед вами — очередной выпуск сборника «День поэзии», ежегодника московских поэтов.

Его открывает раздел «Слово о старшем друге», посвященный тридцатилетию великой победы советского народа над фашизмом. Поэты младших поколений рассказывают о своих старших товарищах — поэтах «фронтового поколения».

Одна из книг мастера нашей поэзии Ярослава Смелякова называлась «Работа и Любовь». Так мы и озаглавили второй раздел сборника, где публикуются новые произведения, раскрывающие широкий мир деяний, чувств и мыслей нашего современника. К нему естественно примыкает раздел, озаглавленный «Вечер одного стихотворения».

Ежегодно «День поэзии» знакомит своих читателей с поэтической молодежью, теми, кто лишь вступает на дорогу литературного творчества. Стихи начинающих поэтов вошли в раздел «...Младое, незнакомое...».

В 1975 году исполняется 80 лет со дня рождения Сергея Есенина и 90 лет со дня рождения Велимира Хлебникова. Их творчеству и творчеству других поэтов, чье наследие и сегодня привлекает внимание читателей, посвящен раздел «Память».

Надеемся, что новая встреча с Поэзией доставит радость и нашим давним, и новым друзьям.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Слово о старшем друге

Об Александре БАЛИНЕ

Нас рожал ночной бомбардировщик...

В ночных бомбардировщиках, в горящих танках, в насквозь простреленных дотах рождались поэты Великой Отечественной войны. Имена этой плеяды поэтов-воинов, чей гуманизм был воспитан порохом и кровью, нерасторжимо спаяны воедино.

Александр Балин — один из них.

Он помнит тусклый блеск мертвых небес, когда над заснеженным миром

Выкатилось солнце, словно рана
на виске февральского рассвета.

А позже, выплывая из огня и космического мрака, это зимнее солнце отозвалось, зазвенело латунными боками в названии мирной книги Александра Балина «Солнце над цехом». В горячих цехах завода «Динамо», где Балин работал молотобойцем, тоже были свои тылы и свои передовые. Грохот кузнечного цеха перекликался для него с артиллерийской канонадой, с ночным аханьем зениток...

Наверное, главное в поэзии — не расстаться с родным. С родным человеком, с родной березой над осенней рекой, с родным заводом... Бой за родное в обугленных десантных небесах становится мирным боем за горячую правду мира.

Это — «линия жизни». Так Александр Балин назвал свою новую книгу, так он выковывал свою судьбу — в линию, подобную рельсу...

Молотобоец, ставший поэтом? Да ведь поэт — это уже молотобоец, кузнец по призванию. Да здравствует раскаленный брус грубого металла — не ювелирная грань! Сталь, мерцающая на изломе.

Рассказывают — а у самого поэта неловко перепроверять,— что Александр Иванович, отправляясь в дальние командировки, мучительно переносит мгновения, когда самолет идет на посадку. И это — после 17 боевых десантных вылетов, прыжков с парашютом в глубину ночного фронта?!

Но иное, очевидно, было бы противоестественно, так как и поэзия — не мягкая посадка на бетонное поле современного аэродрома, но — бросок, отчаянный десант в космическую неизвестность человеческой совести, ненависти, нежности... Так Великая Отечественная поныне глухим эхом бродит в крови.

Сергей Мнацаканян

О Сергее БАРУЗДИНЕ

18 лет назад к нам в Калинин приехал Сергей Баруздин на празднование Недели детской книги. На обсуждении рукописей начинающих литераторов мы и познакомились, хотя по книгам я знал его давно. Он показался мне не очень молодым, несмотря на то что ему тогда едва перешло за тридцать. И не было ни бороды, ни седины, ни той печальной сосредоточенности во взгляде, что появилась значительно позже. Разница в годах у нас была совсем небольшая, но я чувствовал себя почти мальчишкой перед ним, перед его внимательным взглядом и не по возрасту умудренной неторопливостью. Уже позже я понял, что дело тут не в том, что мы, выпустившие тогда по одной-две книги, были начинающими, а Сергей Баруздин, уже имевший широкую известность, утвердился в литературе, а совсем в ином. Причиной была война. Баруздин, переживший ее в окопах и атаках и пронесший на себе все ее тяготы по бесконечным дорогам мужества и потерь, был солдатом Великой Отечественной, а мы — мальчишки сороковых годов. Мы пережили войну в затемненных классах нетопленных школ, в голодных скитаниях по улицам разрушенного города, в надежде и страхе перед стучавшими в двери почтальонами. Мы были другое, по сути послевоенное поколение, а он пришел в литературу с фронта, расставшись с юностью уже в юности, и в его глазах еще не погасли отсветы былых пожаров и атак, а в наших светились огни недавних салютов.

Может быть, именно это определило его характер. И меня, помнится, поразило тогда в Баруздине бесконечное участие к человеческим судьбам, доброта и доброжелательность, с которой он отнесся к каждому из нас. И не стихи, которые он читал в областной библиотеке и которые мне очень нравились, и не вдумчивый профессионализм, с которым он разбирал произведения местных авторов, и не его умение слушать других, а именно это трогательное участие в судьбе пишущих людей запомнилось мне больше всего. Уже потом, когда мы подружились, я понял, что эта доброжелательность небесконечна. Она начинается с веры в человека, с желания помочь именно тем, кто достоин этой помощи и доверия, а не тем, кто ловко умеет привлечь на свою сторону чужой авторитет и доброту. Сколько бессонных

ночей провел Баруздин за пишущей машинкой, куда частенько закладывались не страницы будущих повестей и рассказов, а листики его личных писем к молодым и часто незнакомым людям, что просили совета и чьи строки он только что прочел где-нибудь в далеком журнале, присланной газете, подаренной книжке стихов. Это всегда поражало меня, потому что я знал — времени у него не хватало на собственную работу, на собственные замыслы. А читатель хотел читать Баруздина. И он знал это. Его книги расходились моментально. Помню, на одном из заседаний редколлегии «Библиотечки избранной лирики» Ярослав Васильевич Смеляков грустно сказал: «Все, старики. Серия кончается, она себя исчерпала». И действительно, заказов на «Библиотечку» было все меньше и меньше. И вдруг книжка стихов С. Баруздина собрала тираж более двухсот тысяч и по выходе тут же разошлась. (Замечу в скобках, что и проза С. Баруздина не лежит на полках. Несколько изданий, например, выдержали его роман «Повторение пройденного», «Повести о женщинах».)

Я часто думаю, что же дорого в стихах Баруздина каждому из нас, кто любит и принимает его поэзию. Может быть, то, что лирический герой его живет так, как ему хочется и как ему нравится, он ничего никому не навязывает, но жизнь его интересна, потому что он принимает ее как бесконечные открытия. А может быть, нам больше всего дороги доверчивость, распахнутость, искренность писателя, когда мы начинаем понимать друг друга с полуслова. Вероятно, и то и другое.

Как-то несколько лет тому назад С. Баруздин признался: «Стихи оставил. Больше не пишу». Я не поверил ему. И сказал об этом. В самом деле, ну как можно было оставить самого себя, малеевскую тишину и московскую бессонницу, когда не знаешь даже, что сегодня выйдет из-под пера, так переполнено сердце невысказанным? Состояние души не заменишь, как пальто, по сезону. И потом, были чудесные стихи для детей — «Сказка о трамвае», «Шаг за шагом», «Мальчишки», была великолепная книга «Скажи, человек». Как было переступить через них?

И он не смог переступить, к счастью. Он позвонил однажды и сказал: «Приходи. Каяться хочу».

И в этот вечер были новые трогательные стихи о Черном море, откуда он недавно вернулся, о сомнениях и радостях, из которых складывалась его жизнь.

«Мы в двадцатые годы родились, в тридцатые мы взрослели, а в годы сороковые мы поняли, что такое годы двадцатые, что такое годы тридцатые, ибо нам за них отвечать. Мы и после войны рождались, заново мы взрослели, а в годы шестидесятые, а в годы семидесятые мы поняли, что такое годы сороковые, что такое годы пятидесятые, ибо нам за них отвечать». Я привел эти стихи из самой последней книги Сергея Баруздина, полной любви и печали, посвященной Лайне Ричардовне Баруздиной, которая была ему долгие годы верным другом и первым редактором.

В свое время он, наверное, скажет также и о годах семидесятых и восьмидесятых, потому что никогда не снимет с себя этой высокой ответственности за жизнь, какими бы потерями и потрясениями она его ни испытывала. Ибо он и теперь солдат.

Хорошо сказал в своем предисловии к книге С. Баруздина «Рави, Шаши, Снежок и другие» Анатолий Алексин: «Быть может, Сергей Баруздин, пройдя путь от обороны Москвы в сорок первом до Берлина и Праги, еще острее ощутил очарование всего того, что фашисты замышляли уничтожить, разрушить, сжечь. Еще дороже стали ему родные поля, озера, леса».

Было бы наивно полагать, что манера письма Баруздина нравится всем, а его поэзия — бесхитростная, непосредственно обращенная к читателю,— может захватить каждого, кто прикоснулся к ней. Это дело вкуса, о котором не спорят, дело литературных привязанностей и, наконец, свойство души. Но мне близок поэт, который и взрослым и детям доверяет свою искренность, ибо верит в такую же искренность своих собеседников. Это уже позиция. А ее не выбирают. Ее имеют.

Андрей Дементьев

О Константине ВАНШЕНКИНЕ

Как назвать ощущение легкости и простоты восприятия поэтического текста, возникающее на самом пороге очень многих стихотворений Константина Ваншенкина? Какая естественность, какая непосредственность, говорю я себе, и убежден, что не одинок, заявляя так. Но сколь это непосредственно, сколь осознанно? Подкупает способность К. Ваншенкина поднимать до поэтического ряда обыкновенное, то, что существует, существовало всегда, и именно в силу своей «элементарности» будет существовать вечно. Этим своим изначальным качеством — реальностью, удивительной стойкостью во времени — дороги ему самые обыкновенные вещи, понятия и явления.

Над водою дремлют невода,
И вода качается устало,
Не могу поверить никогда,
Чтобы вовсе этого не стало.

Жизнь, свершая свой прекрасный путь,
Этому не может покориться.
Но чуть-чуть внимательнее будь:
Многое уже не повторится.

Для того чтобы передать читателю свое чувство кровной принадлежности ко всему живому, он сначала сам пробует как бы постичь самого себя, свое восприятие и земли, и людей, и времени. Он делает это даже тогда, когда адресует свои стихи широкому кругу читателей. Обращаясь ко многим, он рассуждает как бы наедине с собой, и художественная правда такого смещения масштабов еще более утверждает достоверность чувства, искренность размышления.

За его стихами проглядывается весь путь поэта-фронтовика Константина Ваншенкина.

Не могу оставаться бесстрастным,
Вспоминая о времени том,
Ибо юность настолько бесстрашна,
Что становится страшно потом.

Он привязан к фактам и обстоятельствам своей жизни, к тому, что его окружает, что встречается на пути, как Антей к матери-земле. Однако Антея можно оторвать от земли, хотя здесь потребуется Геракл, но что может отъять поэта от самого для него сокровенного?

Конечно, когда недостаточно удается выразить чувство или это чувство или иной повод, давший рождение стиху, сами по себе восприняты неглубоко, тогда строки и целые циклы начинают пробуксовывать, и именно здесь обнажается эта житейская «технология» поэта, как бы становясь приемом. Но только тогда. А о поэте, как известно, стоит судить по лучшему, что он создает.

И, зная его творчество, можно лишь завидовать, что столько обычных житейских поводов с готовностью, словно в благодарность, служат ему для создания стихов, становятся предметом поэзии. В этом тоже обнаруживает себя необъяснимая тайна дарования.

Валентин Протасов

О Евгении ВИНОКУРОВЕ

Я пишу все это десятого апреля, при сильном весеннем солнце, в день моего рождения, тридцати восьми лет от роду. Я имею в виду написать статью о поэте, для меня драгоценном, и знаю, что ничего из этого не выйдет, потому что — разве пишут статьи о нежности, теснящей сердце, о безрассудной приязни ума? В изначалье нового возраста сижу за столом, улыбаюсь и не умею писать.

Сколько же лет, как много лет назад это было! Ведомая непреклонной сторонней силой, которую для быстроты можно назвать судьбой, я шла по Москве той давней ослепительной зимой, и пылание моих молодых щек причиняло урон снегопаду: сколько снега истаяло на моем лице, пока я шла! Прихожу. Литературное объединение завода имени Лихачева. Это даже не робость — уж не смерть ли моя происходит со мной в мои семнадцать лет? О, как я страшусь и страдаю, как мне тяжела моя громоздкая нескладность (это моя прелесть была), как помню я это теперь, как глубоко уважаю муку — быть юным. Спрашиваю надменно: «Это вы — поэт Евгений Винокуров?» Жадно подсматриваю за его лицом: не таится ли в нем усмешка взрослого высокомерия? Но вижу лишь выражение совершенной благосклонности и пристального любопытства. Евгений Винокуров в ту пору руководил упомянутым объединением, и я стала руководима, его легкой рукой водима по началу жизни, которое — из-за Винокурова, лишь по причине его поощрения — весьма счастливо сложилось. Этот первый его урок — расточительной доброжелательности, свойственной людям прекрасного дара, я надеюсь если не вполне усвоить, то вполне отслу-

жить. Потом, к лучшей моей радости, мы стали коллеги, товарищи и ровесники, но тогда между мной и первым моим учителем зияла бездна разницы, в которой смутно клубились мое чудовищное невежество (Винокуров был поражен им, но не раздражен), угрюмая застенчивость под видом апломба и страсть писать, воплощенная в длинные вялые строки. Не к моим достоинствам, но к таланту Винокурова отношу я его доброе и сильное участие к моим бедным детским стихотворениям, которые он — впервые и лишь собственным усилием — напечатал со своим предисловием, и других людей пригласил к интересу к моей фамилии, звучавшей так непривычно и витиевато.

Наши беседы, которые случались все чаще и длились все дольше, учили меня тому, что поэт — не надземен, что и в житье-бытье его разум внятен, точен и не способен к расплывчатости суждений. Поэзия — не спорить же с Пушкиным! — глуповата, но поэт — все-непременно умен.

Но не обо мне, пылко признательной Винокурову, речь, а лишь о нем, о его многозначительной личности, равной его книгам, сейчас разложенным на моем столе и всегда существующим в нашей памяти и жизни. Если счастливый случай сводит нас с поэтом в соседство знакомства и дружбы — это чрезвычайное и уже лишнее благо, ничего не меняющее в его главном значении для нашей судьбы. Не умея подвергать творчество Винокурова ученому обзору и умному суду, оставляя каждому читателю свободу располагать подарком его дарования по собственному усмотрению, я бы хотела не навязчиво упомянуть лишь некоторые приметы, по которым мы с легкостью и мгновенно отличим и узнаем речь этого истинного поэта. Винокуров известен и знаменит — своим, особенным и очень достойным способом: прочно и отчетливо и вне поверхностного шума. Меж тем о нем легко и удобно было бы шуметь: он смел и дерзок в обращении со словом, как если бы он пошел на преднамеренный вызов выспренности, высокопарности, о которых принято думать, что они и отличают поэзию от прочих речей и разговоров, которыми так легко провести слух неопытного слушателя (Винокуров не часто читает, вслух не произносит свои стихи, но ведь и глазами лишь принимая стихи, мы их сразу же слышим). Он предпочел (естественно, непринужденно, но как будто с осмысленным азартом и озорством поступил) «слова, которыми на улицах толкуют». Все большие поэты, как бы высоко ни пела их гортань, все же говорили на языке своих сограждан, даже проще умея, даже грубей назвать любой предмет и ощущение по имени. Еще: строка Винокурова подобна безошибочной формуле точных наук, которую следовало бы изобразить не так: с л о в а..., а так: слово. Слово. То есть не бесформенность, где все не обязательно подлежит возможной перемене, а точность, найденная раз и навсегда. Дело читателей — любить Винокурова, но дело грядущего и тонкого исследователя заметить и доказать, как его труд сказался на труде других, вовсе не похожих на него, поэтов. Во всяком случае, я эту благотворную зависимость всегда ощущаю как свою выгоду и пользу.

«Как хорошо лицо свое иметь...»— так он написал, и что же, он завидно преуспел в этом — даже не намерении, а исполнении человеческого долга: быть таким, как все люди на твоей земле, не уклониться от общей судьбы, работать, страдать, воевать — точно, как все, не выгадав отдельности и поблажки, но всегда иметь «лицо свое», не похожее ни на одно другое, оснащенное прекрасным выражением сосредоточенного ума, доброты и таланта.

Еще: я пишу все это и знаю, что Евгений Михайлович Винокуров зайдет ко мне сегодня и поздравит меня с днем рождения. А я ему скажу: месяц без одного дня пройдет, и будет День Победы. Я помню, как это было тридцать лет назад. Какое ликование было. Какая печаль, какой изъян на белом свете без тех, которые не вернулись. «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой». Но — День Победы. Ты — жив. Ты — вернулся. Я тобой горжусь. Я тебя благодарю. Я тебя поздравляю.

Белла Ахмадулина

О Юлии ДРУНИНОЙ

Это было спустя полтора десятка лет после окончания войны. Шел вечер поэзии в Политехническом музее. Выступали Светлов, Тушнова, Друнина. Были и еще поэты, но я запомнила отчетливо только эти три имени. Я тогда впервые слушала, как читает стихи Юлия Друнина. Она читала о Зинке, о рукопашном бое, что-то написанное уже в послевоенные годы. Но настолько глубоко и остро вошли в ее душу ритмы и звуки, цвета и запахи войны, что казалось, не было вокруг ни освещенного амфитеатра рядов, ни полукруглой сцены, чем-то напоминающей срез цирковой арены, но прямо за тонким стержнем микрофона, разделявшим надвое гибкую, почти юношескую фигуру читающей, вплотную к глазам подходили гудящие стволы раненого леса, приоткрывавшаяся тяжелая дверь выстывающей на дорожном ветру теплушки, низкий гул канонады, возвращенный мне давней, почти стершейся детской памятью. Словом, оживал тот «ко всему привыкший сорок первый год», которым кончился период мне незнакомый, вмещенный в одно слово «довойны», и начался новый, незабываемый, тяжелый — период священной войны.

Я только раз видала рукопашный,
Раз — наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Стихи шли не со сцены — они звучали оттуда, где молчали сырые блиндажи прифронтовой полосы, где на коротких привалах странно оживало утерянное в детстве моими сверстниками слово «отец», где на снегу лежал отсвет заката вперемежку с пятнами крови.

КТО ГОВОРИТ, ЧТО НА ВОЙНЕ НЕ СТРАШНО...

Нет двух понятий, столь далеких друг от друга, как война и поэзия. И нет, наверное, двух символов, взаимоуничтожающих друг друга так же очевидно, как символ войны и символ женщины. Там, где земля истерзана гусеницами танков и тяжелыми сапогами солдат, там, где не бывает ни зимы, ни лета, но только жар очередной атаки и холод бессонных окопных ночей,— что делать там той, которая рождена для продолжения жизни? В непрерывном гуле и грохоте, в дыму бесконечных дорог, лицом к лицу со смертью (когда каждая клетка существа кричит о жизни), в суровом мужском мире, наполненном лязгом железа, вспышками тревожных ракет, криком, руганью, хрипами и затихающим шепотом белеющих губ; в мире раненых, готовых сорвать тяжелые от крови бинты, чтобы снова рвануться к острейшей грани между смертью и бессмертием, женщина противопоставляет смерти — жизнь. И голос ее полон не беспомощных жалоб на непосильность выпавшей ей ноши,— голос ее звучит твердо и отчетливо, он чист, высок и звонок, словно дали ему силу мирные рассветы и звенящая тишина июльских полдней, а не пропитанные утратами и неженской тяжестью фронтовые будни.

КТО ГОВОРИТ, ЧТО НА ВОЙНЕ НЕ СТРАШНО...

Война в прошлом. Но приходят к фронтовикам видения первого боя. Приходят товарищи, которые никогда не придут. Остается правда победы, утвержденная четырьмя годами одного, не прекращавшегося ни на мгновение боя, правда мира, закрепленная всей нашей послевоенной жизнью. И поэт, обращенный всей обнаженностью сердца в зарево минувшей войны, в свою юность, повторяет во имя будущих жизней, во имя подрастающих и пока еще не рожденных детей, повторяет всегда и повсюду, что и о чем бы он ни писал, повторяет всей своей поэзией те четыре строки, которые звучат как напоминание, предостережение, завет. Юлия Друнина пишет о мире — и мне дорог этот мир, потому что он был завоеван для меня в бою. Юлия Друнина пишет о любви — и я знаю, что огонь, озаряющий ее стихи, был зажжен там, где не было места поэзии, но была поэзия каждодневного подвига. Юлия Друнина пишет о войне — и я верю ей, потому что нельзя не верить поэту, написавшему лаконично пронзительное:

Я ТОЛЬКО РАЗ ВИДАЛА РУКОПАШНЫЙ...

Татьяна Кузовлева

О Егоре ИСАЕВЕ

Поэт Егор Исаев — терпеливый, ищущий старатель-словотворец. От его поэмы «Суд памяти» до новой поэмы, о которой тут идет речь,— десятилетие!..

Но вот что главное: поэт все время с нами, в наших спорах, удачах, ошибках. Солдат Великой Отечественной, он с постоянной готовностью бойца и самозабвенной преданностью русской поэзии — авторитет, пример и опора для молодых.

С волнением прочитал главу из новой поэмы Егора Исаева «Даль памяти». Глава эта просторная и многоохватная. По форме изложения и по сюжету она как бы отдельная и даже самостоятельная поэма, хотя всего лишь — часть крупнопланового произведения... Думалось, а что скажет Егор Исаев нового, куда поведет своих героев, сохранит ли ту стремительность и порывистость, которая подняла и окрылила «Суд памяти»?

Да, новые герои — новые задачи!.. Но та же манера автора доводить слово до звонкого каления, чтобы оно с предельной точностью и ковкостью накрепко связывало строку.

Не высветить с высокого порога,
Не перелить в протяжные слова.
Бежит, бежит
Полночная дорога,
Как чья-то вековечная вдова.

Дорога памяти не дорога ли жизни?

Через ручьи и речушки, через луга и равнины, через селения и города ведет человека дорога. Идет или едет, человек думает, размышляет. Обычная дорога — дорога судьбы человека, дорога его родных и близких, дорога его времени и Отчизны...

Дорога расскажет человеку о ратной славе дедов и прадедов, поведает о бессмертном мужестве наших отцов, покажет день нынешних забот и свершений. На то она и дорога!..

По ней — кто с чем:
Кто с песенкой-потехой,
Кто со слезой-обидой,
Кто с бедой —
Своей ли, чьей...
А за день не доехал,
Поговори с какой-нибудь звездой.

Так что же нового мы видим в этой поэме?

Мы видим в этой поэме, вернее — чувствуем! — покой, покой большой и чуткой души поэта, способной выдержать и скоростную нагрузку века, и нервное возвращение мыслей к истории народа...

Покой этот внятен и необходим, ибо только при его благородном и хозяйском спокойствии духа можно по-деловому решать насущные проблемы земли и совести. Порой кажется: никакая другая родина не способна сообщить человеку столько тоски чудесной по тайнам жизни и мироздания, столько дать силы и воли на преодоление высот личной судьбы и коллективной судьбы-высоты!..

Бежит, бежит
На чей-то зов далекий
В тревожной, переимчивой тиши,
На самом том извечном перетоке
Земли и неба, мысли и души.

В этом полевом, степном, раздольном покое, оказывается, жгуче связаны между собою единой стезей и ответственностью и тракторист, и учитель, и дед-колхозник, и космонавт. Единой стезей и ответственностью связаны поселки и хутора, районы и столицы. Через них, обыкновенных и легендарных, тихих и громоносных, через великий простор Отечества пролегла дорога каждого человека, дорога памяти сына-патриота...

По ней, по ней —
Пока не отрыдала,
Пока не успокоилась гармонь,
Прошли такие каторжные дали,
Такой живой прокинулся огонь...

На этой отважной и мудрой дороге встретились крестьяне и рабочие, молодые парни-ухари и седые буденновцы, ветераны той Великой и этой Великой войн, словом, народ, подвижник и созидатель, солдат и строитель. И увидел народ на пути пройденном кремень-слезу... Слеза эта хранит в себе кровь тех, кто пал за советскую власть, кровь тех, кто лежит под обелисками вдоль великой дороги победы — от Москвы и до Берлина... Слеза эта — печаль наших матерей и сестер. Слеза эта — слеза радости и стойкости духа, слеза жизни.

Валентин Сорокин

О Владимире КАРПЕКО

Мы часто говорим о преемственности поколений, о литературной учебе у своих старших товарищей. Это — общая истина. А как она проявляется конкретно на практике? Как опыт, накопленный старшими, передается нам? И все ли мы берем из этого опыта? И вообще, что такое опыт применительно к литературе, в частности к поэзии?

На стихах поэтов военного поколения лежит отсвет великих народных испытаний. Эпической широтою веет даже от сугубо интимной лирики тех лет. Пройдя сквозь «дантовы круги» войны, даже небольшие таланты сумели сказать весомое слово о мире. Война в нашем сознании неотделима от стихов той поры. Когда я думаю о войне, на память приходят незабываемые симоновские строки: «Жди меня, и я вернусь». Или луконинские: «В этом зареве ветровом выбор был небольшой. Но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Или гудзенковские: «Я чувствую, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв — и лейтенант хрипит, и значит, смерть проходит мимо». Я просто не могу представить войну без таких стихов, как «Сороковые роковые» Давида Самойлова или «Я сплю, положив на голову Синявинские болота» Александра Межирова.

Вместе с этими и многими другими строками в моем сознании давно живут и другие, может быть, менее известные, но не менее дорогие для меня строки:

Казалось, дорога кончалась
В пятнадцати с чем-то шагах...
А низкое небо качалось,
Качалось на наших штыках...
Прошли мы пятнадцать, и двадцать,
И сотни, и тыщи шагов,
И небо устало качаться
На лезвиях наших штыков.

Эти стихи я впервые услышал из уст самого автора — поэта и моего друга Владимира Карпеко — в конце пятидесятых годов, на тех незабвенных киевских улицах, по которым мы бродили, исполненные великих надежд и великих замыслов.

Мне кажется, у каждого поэта моего поколения был свой старший товарищ, наставник, человек, побывавший «там». Для меня таким человеком стал Владимир Карпеко.

Военное поколение поэтов шло непосредственно перед нами. Мы еще помним их армейскую стрижку, их характерные «фронтовые» словечки, их нежность к своему братству и настороженное, несколько недоверчивое внимание к нам. Что греха таить, они казались нам порой чрезмерно суровыми, резкими, угловатыми, неуютными. «А не огрубели ли они на войне?» — думали мы в эти минуты.

Думал так и я. И вот начинал звучать мне голос моего друга:

Попробуй снова стать мальчонкой,
Вглядись, прищурившись, в зенит,
И тонкий лучик — тонкий-тонкий —
Тебя с звездой соединит.

Это меня-то, молодого краснощекого «пессимиста», не желавшего ощущать ничего, кроме «трагической подосновы жизни», поседелый, израненный, хлебнувший горя «оптимист» призывал снова стать мальчонкой, чтобы видеть мир не только черно-белым, но и многоцветным и таинственным, каким он видится только в детстве.

Как же после этого можно было думать о каком-то «обеднении чувств», об эмоциональной грубости? Листаю страницы книг Владимира Карпеко и снова ощущаю суровую и нежную душу своего друга. Вот он склонился над кроваткой дочери: «Спи, девочка моя. Отец твой тебе расскажет сказку...» Вот он лицом к лицу со старым товарищем: «Есть дружба как служба, где на одолженье ответное нужно всегда услуженье... А мы избежали счета услугам, а мы обижали порою друг друга. Едва ль выражали мы чувства наружно... Есть дружба как служба. Есть дружба — как дружба!»

Никогда я не замечал в моем старшем друге чванства, не ощущал превосходства над собой. Признаться, всех нас одолевала какая-то «вина», все мы сетовали на то, что немного «опоздали» родиться. И на это Владимир Карпеко нашел свой веский, выстраданный всей жизнью ответ:

Пройдут года — таков закон:
Один освоит Марса полюс,
Другой найдет, в протоне роясь,
Чем он полезен, тот протон.
И, времени пройдя обточку,
Вдруг удивится человек,
Что он родился точка в точку.
В тот самый миг. В тот самый век.

Я листаю страницы только что вышедшей книги Владимира Карпеко «Нашим Ярославнам» — и не столько читаю, сколько вспоминаю. В этой книге собраны избранные стихи поэта, а многие из них мне не только известны, но и знаемы мною наизусть. Вот эти стихи автор читал мне на Владимирской горке, эти — в скверике около своего дома на Тургеневской улице, а эти — в шумном застолье. Особенно хорошо запомнилось, как Володя читал стихотворение «Молодым». В нем рассказывается о том, как у разведчиков погиб

их боевой товарищ, как разведчики пьют в нетопленном блиндаже спирт и вспоминают своего друга. «Кружка налита и ему — по привычке налита... Но уже этой кружке не опустеть... Говорить не хотим, а молчать — невозможно. Но молчим. Может быть, потому, что шуметь разведчикам не положено». «Не разыщешь потерь, не воротишь назад. Не отпустит фанерка-звезда на опушке. Мы сидим и упорно отводим глаза от его непригубленной кружки». И вот среди разведчиков появился новичок. «Все казалось — не то, все казалось — не так». Разведчики почему-то невзлюбили поначалу «новенького». Но вот в одном из боев новичок первым рванулся на вражеский пулемет и погиб героем, на глазах у всех. «На опушке лесной схоронили его. Он до боли, казалось, похож на того. Мы такую ж звезду водрузили над ним... Вот о чем и хотел я сказать молодым».

В те далекие пятидесятые годы автор часто читал эти стихи нам, его друзьям, молодым, еще не оперившимся поэтам, и адрес стихов был поразительно точным, и стихи нас волновали не только как стихи, но и как жизненный наказ старшего.

Жизнь была впереди, а суровый опыт поколений уже ложился на наши плечи.

Лев Смирнов

О Дмитрии КОВАЛЕВЕ

Порою истинный взгляд поэта на дело своей жизни полнее всего и откровеннее можно «подсмотреть» в его оценке творчества других поэтов, близких и понятных, а потому вызывающих на полную доверительность и искренность суждений.

Но не каждый поэт дает такую возможность, ибо не всякий охотно выступает в периодике и как критик — оценщик творчества других. Тут есть щедрые и скупые на слова люди. Мне ближе щедрые. Такие, как Дмитрий Ковалев. Если собрать его статьи, рецензии, заметки о поэзии, то получится солидный том, не уступающий его оригинальному поэтическому творчеству.

Причем каждый раз в конкретном разговоре о стихах поэт отнюдь не примеряет на себя стихотворный «костюм» товарища (хотя и подобные прецеденты бывают нередко), а стремится к тому, чтобы за внешними приметами постичь внутреннюю сущность поэтического мира, увидеть если не сердце стихотворца, то хотя бы точно уловить его пульс, созвучный с ритмом времени, эпохи. А тем самым непроизвольно обнаружить свое, затаенное, прямо не высказанное.

Вот в одной из последних рецензий на книгу Ф. Сухова Дм. Ковалев говорит о том, что в стихах волгоградца его привлекло задушевное чувство любви к природе. И тут же выходит к обобщению, за которым угадывается сокровенное понимание существа проблемы: «Да и трудно себе представить без ее облагораживающего обаяния русского поэта. Это, может быть, одна из самых отличительных черт нашего национального поэтического характера». И далее: «Неисчерпаема в поэзии красота природы, и много говорит она у талантливого поэта о самом человеке, о его чувстве времени». И наконец, последнее, что привлекло внимание в отзыве Дм. Ковалева: «Но что особенно задевает и глубже тревожит — так это память войны, как бы ставшая совестью поэта».

Я далек от мысли прямого перенесения высказываний Дм. Ковалева на его собственный поэтический мир. Но я нисколько не сомневаюсь в том, что именно эти чувства — любовь к природе, к красивому человеку, память войны как совесть человеческая — составляют основу всего созданного Дмитрием Михайловичем Ковалевым почти за сорок лет его творческой жизни.

Если настоящий поэт — это мир в его исторических, географических и человеческих границах, то, чтобы проверить суждения о нем, нужно войти в этот мир, который начинается конечно же с биографии поэта, с первых приобщений его к жизни семьи, земляков, родного края.

И в этом мире мы отыщем первые шаги за порог, на крыльцо отцова дома в местечке Ветка, Гомельского уезда, Могилевской губернии, где 3 июня по старому стилю 1915 года родился будущий поэт. Потом тропку на проселок, ведущий за околицу в поле, в лес, на кузню к отцу, унаследовавшему от деда профессию коваля, первое осознание своей необходимости, когда совсем еще мальчишкой должен был помогать по хозяйству, нянчить младших братьев и сестер, обливаясь слезами оттого, что не мог учиться вместе со сверстниками. Учебой была пахота, жатва, молотьба, кузнечная работа. Словом, все, как у некрасовского мужичка с ноготок. Так приходила наполненность души, без которой немыслимо ее поэтическое свечение. Вот откуда органичная

слиянность в мире Дм. Ковалева труда как сути жизни и революции как символа счастья в самом образе труда:

Я, даже горе забывая, помню,
как пахнут кузница и борозда...
...Ты революция моя.
Ты совесть будишь.
И ложно счастлив,
кто тобой не жил.

Вот откуда в стихах Дм. Ковалева первостепенное место занимает социальное постижение жизни, то самое, что вошло с детства в душу, обусловив нравственность ровесника Октября, обостренно настроив его на восприятие новой жизни. Вот откуда, наконец, поистине народное свойство поэтического восприятия природы не глазами стороннего наблюдателя, а труженика, ощущающего свою кровную связь с природой. В саду после дождя поэт видит все укрупненно и осознает в козявке всякой важную персону и в каждом воробьишке личность. Да и красота в его стихах «труженица». В самом деле, посмотрите на этот образ: «Мы, как по небу, ехали в телеге — и синяя гроза под колесом». А разве не поражает такое видение времени: «...Антенным крестиком на тучке время вышито», или: «И только дышат домны, как вулканы»?!

Я понимаю, что извлечение из целого, цитата из произведения укорачивает многое, что сказано в контексте. И тем не менее вывод морали, мысли, смысла из произведения отнюдь не равнозначен извлечению корня из некоего цифрового числа. Если там итог всегда обусловлен степенью извлечения, то чувственный и рациональный вывод из произведения всегда значительно больше своего узкого смысла. Собственно, такова же строка из биографии человека, как и из лирического стихотворения поэта, где так емко сказано: «С войны я добротою заболел...» Может быть, в этом — все, что хотел и что еще может сказать поэт?! Ибо за нею угадывается исторический опыт поколения, народа, страны, то, что выходит на судьбу каждого коротким в своей эпичности «ты».

Я тоже сын отчизны,
как и ты,
сурова ли она ко мне,
добра ли —
я на нее смотрю
с той высоты,
которую
в сорок четвертом
брали.

И чувствую,
как ты, наверно, сам
там чувствовал —
откуда силы брались,
когда, как бог,
ты шел по небесам,
что на высоты эти
опирались.

Незатухающей памятью сердца пишет поэт о войне, адресуя слова и однополчанину и тому, кто пришел в завоеванный мир. И в стихах о войне дает о себе знать трудовое начало поэта. Не только в традиционном взгляде на войну, как на страду, не только в прямых признаниях: «Деревня батькина, я имя твое нежное в глубинах на торпеде напишу». Оно живет в самих словах, как, скажем, в стихотворении «Были в боях когда-то мы»: «Сколько врагов перемолото!» Или в стихотворении «Сны», полном глубокого обобщения и смысла: «Сгребла нас всех мальчишками война».

Если возвести в поэтическую степень все написанное Дм. Ковалевым о войне, то окажется, что память ее буквально живет в его творчестве. Может быть, оголеннее всего нерв этой памяти ощутим своим выходом на поверхность в стихотворении «Фронтовик»:

Лишь со всеми
И за все в ответе —
Так угодно сердцу твоему.
Если счастье —
Так для всех на свете.
Стыдно быть счастливым одному.

Признания от первого лица: «С войны я добротою заболел» — накоротко замкнулись на это эпическое: «Стыдно быть счастливым одному» — и осветили истинное содержание памяти, выводя к известному: «Ради жизни на земле». Право памяти действенно только тогда, когда оно подкреплено деянием человека, его трудом, его гражданской и партийной активностью. Именно они составляют основу личности поэта, обусловливая ее равновеличие с судьбой народной. Они диктуют чувство ответственности перед будущим, где поэту хочется видеть жизнь такою, «чтоб только труд решал — что надевать, что есть, чтоб отдавалась человеку честь, чтобы ценилась прямота и презиралась лесть... Хочу — чтоб лучше было все, чем есть». За это сражались вчерашние труженики в бою с врагом, это утверждают ныне труженики в буднях нашей жизни. И в одном строю с ними поэт-боец и поэт-труженик Дмитрий Ковалев.

Борис Леонов

О Юрии ЛЕВИТАНСКОМ

Летом сорок первого года наравне с другими московскими студентами-добровольцами ушел на фронт девятнадцатилетний ифлиец Юрий Левитанский.

Как известно, Муза в этой войне шла за советским войском, и сегодня ясно, что ее сопутствие было вещим знаком справедливости и нашей победы.

Всякую молодость лихорадит оспа стихотворства, и наравне с другими юношами военного времени сочинял стихи солдат Юрий Левитанский, которому выпало счастье выжить на этой войне, уцелеть в жестоких боях за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии и встретить победу под Прагой. Факты жизни — столь же исключительные, сколь и заурядные. Незаурядны лишь зрелая личность и талант поэта, который грандиозные масштабы военной юности демократично и благородно соразмерил с проблемами будущих дней, будущих поколений народа — и сказал правду собственного ощущения жизни в целом, и себя — в ней в частности:

> Но в великой этой драме я со всеми наравне
> тоже, в сущности, играю роль, доставшуюся мне.

Поэзия ежедневно меняет свой облик. Но достоинства, присущие ей с первого мига жизни первой поэтической строки, неизменны и неизменно питаются свойствами личности художника.

Острое чувство совести, человечность, душевная и духовная щедрость, отвращение к чванству, самопупству, экзальтированному эгоизму, свобода и естественность стиля — вот благодаря чему поэзия Юрия Левитанского полюбилась многим, несмотря на скоротечность современных поэтических мод.

Юрий Левитанский исполняет в оркестре нашей современной поэзии «тихую» партию пронзительно длинной строки, которая так досадно порою изломана узким набором журнальной колонки. Эта протяжная строка, вся живая, говорящая человеческим голосом, превращает читателя в сообщника и в сочувственника.

Муза Юрия Левитанского целиком полагается на гражданскую и личную нравственность читателя, не оскорбляя его дидактическими насилиями. Поэт, прошедший войну и переживший многое вместе с народом после войны, обращается к читателю трезвым, не «волшебным» голосом, не заигрывает, не наказывает, не льстит, не угрожает, не предлагает высосанную из пальца или из девятнадцатого века гармонию, не утешает всуе, чтобы понравиться всем без исключения и опьянить ароматом как бы нечаянной удачи молодых стихотворцев.

Испокон веков поэтические моды мечутся между «тьмой низких истин» и «нас возвышающим обманом». Обе крайности, бесспорно, вдохновляют и будут еще вдохновлять многих поэтов и читателей. Особенно в XX веке. Это проблема психологии массовой эстетики. Отношение к этой проблеме во многом определяет масштабы духовной зрелости поэта, самобытности его интеллекта, творческого и человеческого мужества. Юрий Левитанский равно иронически относится и к «тьме низких истин» и к «нас возвышающему обману». Жизнь человека — единственна и едина, это такое «черно-белое кино», где «дважды роли не играют, только раз играют роль». Поэт не пугает и не вводит в заблуждение, он говорит свою серьезную правду: «все проходит, но бесследно не проходит ничего». В «Диалоге у новогодней елки» есть такие строки:

> — Что же из этого следует? — Следует жить,
> шить сарафаны и легкие платья из ситца.
> — Вы полагаете, все это будет носиться?
> — Я полагаю, что все это следует шить.
>
> — Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,
> недолговечны ее кабала и опала.

На первый взгляд, примитивный, но весьма мудрый и поэтичный совет зрелого художника, когда-то в далекой юности уцелевшего на смертоубийственной войне не для того, чтобы свою человеческую и поэтическую судьбу проглотить не разжевывая. Образ современности с ее ритмами, регламентами, страстями, схемами отношений пронизан в поэзии Левитанского живыми, теплокровными жилками «чудных мгновений», когда слышна ничем не заглушимая воля любви к людям, нежности, братства.

В судорожности ежедневного быта, где «летишь под этим небом грозовым — как на бомбе с механизмом часовым», где сперва «день прошел — как не было. Не поговорили», потом «год прошел — как не было. Не поговорили», а на самом деле «жизнь прошла — как не было. Не поговорили»,— в этом грохочущем железобетонном ритме вдруг пишется, слышится:

> Мне жаль не узнанной до времени строки.
> И все ж строка — она со временем прочтется
> И перечтется много раз, и ей зачтется,
> И все, что было в ней, останется при ней.
> Но вот глаза — они уходят навсегда...

В последней строке после слова «навсегда» стоит запятая, потому что стихотворение продол-

жается. Но я пользуюсь правом (в этой заметке-скороговорке) остановить стихотворение именно здесь, а также назвать свое искреннее пристрастие к поэзии Юрия Левитанского всего лишь нормой профессиональной справедливости и читательской благодарности поэту, который в юности защитил мое поэтическое поколение от фашизма, а в зрелости защитил свою Музу от «тьмы низких истин» и «нас возвышающего обмана».

Юнна Мориц

О Михаиле ЛУКОНИНЕ

По Военно-Грузинской дороге, сверкая никелем и лаком, медленно двигались сотни легковых машин и автобусов. В них сидели советские, болгарские, французские, польские, немецкие, японские поэты... Жители придорожных сел забрасывали гостей цветами. Радость выкатила из подвалов бочки молодого вина. В синем воздухе стреляли флаги и кувыркались стрижи. Грузия праздновала Руставели!

На остановке я впервые увидел Луконина. Бронзоволицый, элегантно-неловкий, он все делал по-своему: курил, смеялся, здоровался. Во всем — сдержанное достоинство и тяжеловесная раскованность. И еще — он притягивал к себе людей. Не звал, не окликал их — просто притягивал! Он оглядел разноликую толпу гостей и сказал, как бы спрашивая у себя, у меня: «Дипломаты, экономисты, они уже не исчерпывают отношений, поэты помогают им?!.»

Сказал не с трибуны, а в личном разговоре на шоссейной дороге, засыпанной цветами дружбы. И я понял, что государственное и личное в нем не разделимы — все сплавилось в том великом ветровом зареве... И со Смеляковым, и с Наровчатовым его роднит эта масштабность, жесткая принадлежность веку.

Потом я услышал, как Луконин читает стихи. Актеры слишком явно расставляют ударения, играют голосом, слишком «сердечно» обнажают содержание. Поэты слишком грешат монотонностью. Актер слышит стих, идущий в зал. Поэт слышит его в себе. Луконин читает из себя — в зал. В его чтении есть и мастерство актера и благородная остраненность поэта. И говорит он так же, как читает. Однажды он сказал мне о молодых: «Мало в них железа...» Но эту жесткую фразу произнес почти нежно, со вздохом. Я радостно наблюдал за ним — очень внимателен ко всему, что вокруг. И когда устало прикрывает глаза и как бы отстраняется от всех, он еще внимательнее. Мы входили к нему в дом, и казалось, что Куняев, Луконин, Дмитриев, я вошли в наш дом; равенство, которое внушает Луконин, исключало благодарность гостя за хлеб и радушие. Недавно я провожал его в Сталинград. И мне стало по-детски жаль, что время старит лица его ровесников, «обрабатывает» их вены, мускулы. Говорят, что история повторяется. Но мировая война вряд ли повторится — после нее уже не будет никакой истории. Почти все это сегодня понимают. Луконин, Наровчатов, Слуцкий... Таких людей и через тысячи лет жизнь не сдублирует. У всех есть неудачи. Но стихи о войне под общее правило не попадают. Если не божество, то ярость; если не сила слова, то взрывная волна подымет их! На семинаре начинающих может прозвучать вопрос: кто лучше описал подснежник, сенокос, полет спутника? Но нельзя спросить: кто лучше описал бомбежку, смерть в атаке, страдания в госпитале. На этих стихах стоит особая печать бессмертия.

А жизнь сверх меры — празднество и мука!

Сотни тысяч живых победителей доверили Луконину эту строку.

И я понимаю, почему он с особой нежностью относится к нам, послевоенному поколению. Мы росли под небом, пропетым детдомовскими горнами и прокарканным воронами, которые вили гнезда в развалинах. В детстве мы не читали своих стихов матерям и отцам, поэзия была нашей тайной. Один юноша читал мне мои стихи, глядя мне в глаза, и чувствовал себя уверенней, чем я. А вот так запросто, глядя в глаза Луконину, может кто-либо из моих сверстников прочесть ему его стихи? Другой начинающий поэт обратился в стихах к Станиславу Куняеву с просьбой взять его на Памир, где холодно, трудно, высоко. Луконин слушал юношу, а потом грустно спросил: «Сам не можешь поехать?..»

Он никогда не учит, не поучает. Однажды я показал ему журнал со своими стихами. Мы говорили долго, о разном. Я ушел. И вот что осталось: в середине разговора Луконин вспомнил, как зашел утром к одному ныне популярному поэту. На тумбочке возле дивана лежали две книжечки. «Интересно, что он по ночам читает? Я посмотрел. Себя...» Луконин грустно вздохнул. Есть поэты, которых любят только за стихи. Поэт — прекрасный, человек — тяжелый, мутный. Мои друзья и сверстники любят

Луконина и как поэта и как человека. Ему все интересно — политика, спорт, природа. В юности забивал голы в ворота соперников Сталинградского Тракторного. Ушел из института добровольцем в финскую. Вынес на спине раненого друга в первый год Великой Отечественной. Личное мужество, широта. Где их начало? Конечно, время, друзья, события... Но прежде всего — Волга. О ней он даже говорить спокойно не может. Невыносимо это — в раскаленном городе говорить о широкой синей прохладе... Мы даже не подозреваем, как природа влияет на мысли и поступки человека. И может быть, про себя он не раз благодарил жизнь за то, что родился на Волге.

Совсем недавно по клубу ходил его друг Ярослав Смеляков. Мы любили видеть их вместе — Смелякова и Луконина. Они как бы олицетворяли две эпохи — тридцатых и сороковых годов. И время над этими встречами не властно! Это только кажется, что вечность щедра. Она не то что десятилетиями — каждой секундой дорожит, потому что без секунды нет продолжения, а значит, самой вечности.

Игорь Шкляревский

О Михаиле ЛЬВОВЕ

Поэзия и время совершают одну и ту же работу.

Думая о ком-нибудь из поколения военных поэтов, говорю «они». Именно так, «они», хотя понимаю: у каждого своя судьба. Но у судеб этих, при всей их несхожести,— одна судьба, одна война — Великая Отечественная. Одна судьба, **предыдущая** для тех, кто начал писать в годы 50-е, 60-е, 70-е. Люди, разделившие эту судьбу, составляют поколение **предыдущее**. Они настолько «они», что мы о себе принуждены говорить «мы». Их фотографии той поры словно пересняты с одного общего армейского любительского снимка. Это они написали «Я убит подо Ржевом...», «Жди меня...», «Лошади в океане», «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустою душой...», «Я был пехотой в поле чистом...», «Когда, нарушив забытье, орудия заголосили, никто не крикнул: «За Россию!..» А шли и гибли за нее».

Это они написали «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. Чтоб стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разбиться. И, как руда, пожертвовать собой» [1].

Они были исполнены молодой отваги и зрелого мужества. Они — единственное литературное поколение, о котором никогда не будет создано достаточно полного представления: «Мы стольких в землю положили, мы столько стойких пережили, мы столько видели всего — уже не страшно ничего...» Они полагали, что погибшие были талантливее выживших. Мы не вправе усомниться в этом, хотя понимаем, что если бы — пусть на мгновение — мертвые поменялись своими местами с живыми, мы услышали бы все равно те же самые слова.

Это удивительное поколение военных поэтов оказалось самым скромным литературным поколением. Но ведь высокая самооценка, желание известности и славы присуще молодым. Молодой Пушкин готов был предпочесть «бессмертию души своей бессмертие своих творений». Молодой Лев Толстой, завершая работу над «Детством»,— он потом признавался в этом,— был обуреваем славолюбием до умопомешательства, а молодой Есенин, в пору своего появления в Петербурге в 1905 году, тотчас получив признание таланта своего, замечал по этому поводу: «Я знал это лучше всех». У поколения же, о котором говорю, жизнь шла впереди слова, предваряя неведомое; между жизнью и словом то и дело вставала смерть. У этого поколения не было желания славы — было желание выстоять и победить. Мучила жажда победы, а не славы.

Испытания не сглаживают, а проявляют в человеке индивидуальные черты с особой резкостью. Думается, я смогу различить по интонации каждый голос, прозвучавший в солдатском строю этого поколения. Я слышу все голоса этого родного мне строя разом, в том числе и голоса погибших; все голоса звучат и не мешают друг другу...

Я хотел сказать несколько слов о Михаиле Львове, о человеке, о поэте. Хотел сказать о нем, а стал думать о товарищах его. Вижу, как пишет он быстрым карандашом заметки для памяти, какие-то строчки на бесчисленных бумажных лоскутках и рассовывает их по карманам, слышу горячую и торопливую речь его, ощущаю его доброту — вижу, слышу, ощущаю и вместе с тем думаю о товарищах его. Быть может, их души, пережившие потрясение и утраты, преодолевшие разлуки, победившие,— может быть, души их — пусть неосознанно,— этого-то и хотели. Чтобы, вспоминая одного, вспоминали другого, чтобы шел по замкнутой

[1] Начиная с этой, все цитаты в этих заметках взяты из стихов М. Львова.

цепи электрический ток воспоминаний и «...прекрасное чувство победы возвращалось, как юность...».

Не могу представить его вкушающим покой. Вечно он торопится, куда-то опаздывает, что-то не успевает сделать. Он молодо и щедро тратит свои силы. Мы часами бродили по Москве и по переделкинскому лесу, мы вспоминали Урал,— он вырос на Южном, я — на Среднем,— мы говорили о войне, о будущем, о любви. Он рассказывал о товарищах своих, рассказывал о них и читал их стихи. Много читал. И я понял тогда впервые, что для него и его сверстников-фронтовиков устное слово имеет бóльшую цену. Надо попрочнее запомнить, как оно у них звучит! Надо не только всматриваться в лица дорогих нам людей, но снова и снова вглядываться в страницы их книг, перечитывать их молодые и поздние строки: стихи, как и лица, не остаются неизменными — с каждым днем и годом они приобретают способность выразить больше, чем сумели выразить и сообщить до сих пор.

Я очень мало сказал о Михаиле Львове, которого уважаю и люблю. Но само ощущение, что о поэте сказано недостаточно, неполно,— есть свидетельство истинного его дарования, оценка которого никогда не может быть исчерпывающей.

Натан Злотников

О Сергее НАРОВЧАТОВЕ

По стихам, если они написаны «под гнетом» переживания, всегда угадывается биография поэта. Но важней всего, может быть, угадать самого человека — автобиографию его сердца, эмоционально-нравственный состав его души. Стихи можно писать под принуждением вдохновения, а можно их как бы записывать за собой — так за плугом остается влажная борозда. Так и у Сергея Наровчатова поэзия явилась не по вызову замысла, а явилась результатом его жизни, теми следами, оставленными за судьбой, по которым находишь путь к другой, неизвестной еще духовной системе.

Я очень смущаюсь за поэтов, когда об их стихах говорят как о свидетельствах о времени и т. д.; мне хочется, чтобы поэзия не просто давала показания о прошлом, но чтобы и сама «создавала» его, чтобы над поэтической фактографией, всегда охлажденной объективностью, преобладала воспаленность живого лирического дневника.

В глаза плыла уже шестые сутки
Бессонница... Шагая через падь,
Из писем мы вертели самокрутки
И падали, чтоб больше не вставать.

Это одно из первых стихотворений С. Наровчатова, записанных им в 1940 году в авангардных боях с белофиннами.

Конечно, в этих стихах нет поэтической многозначности — она отступила перед достоверностью пережитого. Так первое кольцо в стволе дерева сначала — размытое, но чем больше вокруг будет нарастать колец, тем явственней обозначится на срезе первое, изначальное кольцо.

Потом пришла другая, великая война, другие великие испытания, которые отложились в сердце проникновенными строками: «Облака кричат. Кричат весь день!.. И один под теми облаками я трясу, трясу, трясу плетень черными руками».

Так вошла война в жизнь и лирику Сергея Наровчатова вместе с образами кричащих облаков.

Стихи этих лет — это не столько солдатские будни, сама война, сколько чувства обыкновенного человека на войне. Отсюда отсутствие внешней героики, романтики «языка батарей», более того — сама тема войны как испытания только чувствуется, но нигде — ни в образах, ни в настроении — явно не обозначается. Его интересует не столько бой, сколько поведение, переживания в короткие передышки между боями. В такое время легче в себе осмотреться и понять, что главное в человеке — сохраненная для других боев духовная собранность.

Не потому ли Сергей Наровчатов напишет однажды, обращаясь к родной земле:

А чтобы без напрасной муки
Врагам в глаза я мог смотреть,
В мои понятливые руки
Вложила огненную смерть.

По своей простоте, понятливой на добрые чувства речи, и, главное, восприятию войны как необходимого и сурового дела, стихи Сергея Наровчатова выделяются из поэзии военного поколения этой максимальной приближенностью к привычному ощущению войны простым русским солдатом. Это стихи не об окопах, не воспоминания, почти всегда приукрашенные взглядом издали, стихи — не знакомства с тем, что было на войне, а стихи — письма **из окопов**, вернее даже — из окопа. Пройдут годы, и поэт напишет о другом времени:

Грешим не главным и не славным,
Но в самом главном мы правы,
И знаем мы, что в этом главном
Земля нова и мы новы.

Так отложится на древе поэзии Сергея Наровчатова окончательное кольцо; и пусть к теме войны он возвращается редко — слишком, должно быть, сильно обжигает сердце поэта она.

Прошлое, в том числе его личное, наровчатовское, становится историей, но не пеплом ее, а пламенем. И в историю он отправляется не за историческими достопримечательностями фактов, а затем, чтобы сильней и объемней уяснить правду русского характера, тяготеющего во всем к избыточной силе.

В русской истории, пожалуй, не найдешь больше такой исторической личности, которая бы вмещала в себя и былинные, и конкретные, личностные черты, как Василий Буслаев. Он — и воин, и купец, и воитель за правду, и бунтарь. В нем как бы предугадываются черты и Ермака, и Дежнева, и Разина. Былина предопределила характеры, отозвавшись на самые главные черты народного характера.

Кто кого? Чья взяла?
Чей почин? Чьи дела?
Господин Великий Новгород
Бьет во все колокола...

Так начинается эта полифоническая поэма с образа неумолчно гудящего колокола. Колокол — и народ, колокол — и Василий Буслаев. Колокол — господин русской истории. Такие колокола секли и ссылали в ссылку. Из ссылки некоторого исторического забвения поэт вернул нам, людям 70-х годов XX века, вместе с образом колокола и образ Василия Буслаева, не отделив его от былинной (и, значит, речевой) основы.

Поэтом сохранен даже образ былинного стиха, вернее, его ритмическая и речевая доминанта.

Кто такой Василий Буслаев Сергея Наровчатова? Не только как в былине удалой богатырь, но и подвижник скитальчества. Этой силой, манящей вдаль, в иные моря и земли, и жива душа Василия Буслаева. Есть в этой силе нечто завоевательное, стремящееся к расширению, но это тогда, когда она обращена — вовне, но ведь сила Василия Буслаева — иная, она обращена в себя и к себе. Вот почему он горько роняет:

Беда моя, Васьки, что был я один,
Сам себе холоп, сам себе господин.

Свобода, обращенная только к себе,— это трагедия характера. Свободу для других Васька Буслаев бессилен добыть. В замкнутом характере избыток непримененной силы опасен. И гибель Буслаева предрешена.

Конечно, образ наровчатовского Буслаева гораздо многогранней, богаче, динамичней, но мне хотелось обратить внимание на эту глубоко трагедийную черту характера, бегло просмотренную критикой, посвященной этому произведению.

Таким образом, Сергей Наровчатов пришел от лирического дневника, от поэзии автобиографии сердца к укрупненным характерам, чувствам и жанрам, потому что для него

Поэзия! Когда б на свете белом
Я так бы бредил женщиной земной...
Как беспредельность связана с пределом,
Так ты, наверно, связана со мной!

Владимир Цыбин

Об Александре НИКОЛАЕВЕ

Мы не раз уже читали в газетах о давнем подвиге батареи Александра Николаева, ныне известного поэта. «Бессмертный лейтенант» — так назывался очерк в «Комсомольской правде».

Самые знаменитые строчки Александра Николаева, его кредо поэта и солдата:

...Мне б знать за что, а то не жаль
и две руки на отсеченье!..

Эта готовность жертвовать собой, готовность к новым боям за утверждение своих идеалов — главная черта его характера, главная идея многих его стихов.

Когда Николаев выходит к рампе, скупой жест левой руки подчеркивает пустой правый рукав. И поэтому вдвойне весомей каждое слово.

Эти стихи — о нем.

Тяжелый пушечный набат,
огонь над черной переправой...
ОГОНЬ! — почти хрипит комбат
и резко взмахивает правой.

ОГОНЬ! — а в памяти крыльцо,
невидимой сирени запах...
ОГОНЬ! — и осветило залпом
возмездья русское лицо.
...Он сад росистый разглядел
в коротком всполохе снарядов...
...Опять сирень синеет рядом,
опять наш сад от гроздьев бел.
Комбат, как прежде, смотрит браво,
как прежде, взгляд его лукав...
Одно лишь измененье —
правый
пустой
полощется рукав...
А может, выпал миг такой,
когда снарядов не хватило,
а танки обходили с тыла,
и, чтобы пушка не остыла,
он зарядил ее
рукой?..
Огонь возмездья не погас!
Ведь ни один не мог сравниться
стальной тротиловый фугас
с его карающей
десницей!

Борис Рахманин

О Сергее ОРЛОВЕ

ТРИ ЖИЗНИ

Счастливые встречи случаются в мире —
чем больше волненье, тем менее слов:
отец создавал Т-34,
в Т-34 горел Орлов

и вышел живым:
броня боевая —
отцово создание — жизнь сберегла.
Ужель оттого так тебя понимаю,
Орлов, что я дочкой его была?

И я тебе в дочки наверно б сгодилась,
но нас миновала различий пора:
то ль юность в тебе, обгорев, сохранилась,
то ль я, о войну опалясь, стара?

Не будем гадать — молодые мы оба,
и глупость, и мудрость в тебе и во мне.
До гроба, Сережа, до гроба, до гроба
гореть нам, гореть, не сгорая, в огне.

И этот огонь фронтового страшнее:
ведь сердце, пылая, не может молчать,
в окопе не скрыться, не скрыться в траншее,
а радостно жуткое пламя встречать,—

вот доля — не многим ее я желаю,
не многие смогут осилить ее.
Я жизнью, Орлов, за тебя отвечаю,
и ты отвечаешь за Время мое.

Ничто нас с тобой разлучить не сумеет:
ни горы, ни годы, ни чей-то навет.
Но трудно глядеть, как отец мой стареет
под гнетом его отнимающих лет.

Мы трое идем по дороге к закату,
но трем нашим жизням не вижу конца:
я чувствую руку надежного брата,
ты чувствуешь волю родного отца.

Лариса Васильева

О Булате ОКУДЖАВЕ

Мальчиком он листал календарь и печалился, что родился не Первого мая. Ах, досада, невезенье какое — девять дней всего-то и разницы! Родись он раньше на девять дней — как торжественно и весело бы в его день рождения: словно бы вся страна и все на земле люди цветами и улыбками каждый год бы встречали его.

Каникулы! Он перешел в десятый класс и уехал к тбилисской тете, в тенистый город, где «здания... разбрелись как овцы», где много винограда и еще больше курчавых друзей. Ешь инжир, встречай рассветы на Мтацминде — это твое последнее беззаботное лето. Через год — институт, взрослая жизнь...

На море! В воскресенье — на море! Еще в субботу начали собираться, не успели, слишком весело собирались, роняли вещи, спорили, что надо брать и что не надо.

«Что вы смеетесь! Включите радио — война...»

Вот тебе и море. Вот твое море — чернее Черного, которое четыре года будет швырять тебя на камни, в траншеи, в госпиталя, в атаки. Еще много лет, уже победив, уже переплыв это море, ты будешь качаться на его волнах, и красные брызги его не раз обагрят страницу черновика. Но это — потом, а пока военком считает возможным поручить Булату Окуджаве и его другу разносить призывные повестки. И никаких прочих просьб, никаких порывов, никаких доводов.

Где-то далеко отсюда уходят на фронт будущие друзья — Самойлов и Левитанский, Луконин и Наровчатов... А его не пускает военком туда, где отстаивают идеалы их отцов и его отца — идеалы комиссаров в красных шлемах.

Я все равно паду на той, на той далекой,
на гражданской...

Через несколько месяцев, пряча от мальчишек глаза, военком даст им чистые повестки и скажет: «Пишите сами себе», и он напишет приятелю, а приятель — повестку ему.

О том, как он прибежал домой и «беззаботно» сел у окна, ожидая «неожиданную» повестку, об этом и многом другом Булат Окуджава недавно написал в «Литературной газете», написал с трогательной улыбкой, нежно и мужественно. Но я не вправе опускать эти события, эти дни: слишком они священны и значительны — уж лучше рискнуть повториться.

До свидания, мальчики, мальчики...

До свидания все — Хевсури, море, экзамены, друзья, тетрадка со стихами. Только горло перехватывает от волнения и нежности, которая не умещается в семнадцатилетнем сердце, а ищет выхода, как и у всех в семнадцать лет.

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб — разлуки и дым!
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.

Рядовой минометного полка. Фронт. Госпиталь. Бои под Новороссийском. Вновь госпиталь...

Кроме звания рядового у Булата Окуджавы было еще звание запевалы. Мне кажется, это — именно звание, раз так много значит песня для бойцов. Значит, еще там потянулась петь душа — среди разлуки, крови и побед. Он был запевалой и сочинил короткую, веселую песенку, которую распевали строем, на марше.

У Булата Окуджавы почти нет стихов о смерти. Известный «Ленька Королев» — исключение, подтверждающее это.

В книге «Острова», в стихах, воспевающих черные сухари, есть лаконичное объяснение тому:

...А я жевал такие сухари!
Они хрустели на зубах, хрустели...

Сыпь пощедрей, товарищ старшина!
Пируем — и солдаты, и начальство...
А пули?
Пули были.
Били часто.
Да что о них рассказывать — война...

Не только потери и боль ощутило на войне поколение Булата Окуджавы. «Все хочет жить» — вот что еще увидели семнадцатидвадцатилетние солдаты. Ради этого всего, желающего жить, они и воевали. Ради этого всего, желающего жить, они и возвратились домой.

Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи.

Конечно, не только соловьи вылетали из винтовки рядового Булата Окуджавы. Но так вокруг «все хотело жить», что уже смелели, испуганные войной, в душе солдата соловьи. Уже не вмещалась в душе нежность, как не вмещались в начале войны — слезы. Так она отстоялась и столько ее скопилось...

Трудно объясняться в любви. Тем более к поэту, тем более — к поколению поэтов. Я выберу для этого строку Левитанского: «Я все нежней и осознанней это люблю поколение».

Мальчиками мы восторженно глядели вослед каждому солдату.

Я и сегодня завидую им — идущим впереди нас. И особенно Булату Окуджаве, чей день рождения — с 1945 года и навсегда — совпадает с Днем Победы.

С днем рождения — с Днем Победы!

Петр Вегин

О Григории ПОЖЕНЯНЕ

...К чему ж спешить на суд людской
с нетерпеливыми руками,
с неопаленными висками,
с непросветленною тоской.

Ни у кого не возникнет и тени сомнения в том, что свою творческую и человеческую биографию Григорий Поженян сделал достаточно значительной и благодаря написанию дышащей светлым драматизмом поэмы «Впередсмотрящий», и в результате создания известного кинофильма «Жажда», и как автор популярных песен. А к тому же еще есть и всегда были стихи! И в них, в этих стихах, впечатляюще и многогранно живописует Поженян море, преимущественно море — «в солнечные дни и в дни ветров, в шторма и в штилевое затиханье». Многим, знающим и любящим стихи Поженяна, чудятся звуки его фамилии даже в шипении набегающих на песок черноморских волн.

А если без шуток, море стало определяющим фактором в судьбе и в творчестве поэта. И тем не менее одну из недавно вышедших книг, даже и назвав ее «Мачты», Григорий Поженян откроет не строками все о том же море, а небольшим стихотворением, которое я позволю себе процитировать здесь полностью:

В красном сне,
в красном сне,
в красном сне
бегут солдаты,
те, с которыми когда-то
был убит я на войне.
В той далекой стороне,
в этом красном,
красном сне.

Что это? Неожиданный отход от излюбленной темы?

Нет, так уж случилось и немногим более тридцати лет тому назад наяву и «в этом красном, красном сне», повторяющемся доныне, что для Григория Поженяна морской берег не просто залитая солнцем галька, а еще и место, про которое можно сказать: «...здесь земля матросских сыновей, здесь могила моего героя и начало юности моей». Начало юности, тем более начало юности поэта,— в чем его сущность, этого начала, и его реальные впечатления? Горящая Одесса и дерзкие вылазки в плавни под носом у вражеских часовых... Подаренный членом Военсовета Черноморского флота наган и выданный хозяйственниками в поощрение боевой лихости «компот на третье»... Взорванный в тылу у немцев склад боеприпасов и та необидная для командира группы моряков-разведчиков, та скорее даже лирическая кличка, приставшая за природную смуглость да малый росточек,— Уголек...

Но главное: все пережитое в дни войны имеет непосредственное отношение к твоему призванию в искусстве — это доказали тридцать лет, прошедшие со дня Победы. Тридцать долгих лет не просто жизни и не просто воспоминаний о былом, а тридцать лет поисков самого необходимого, самого честного, насущного из того, что может дать людям слово поэта, считающего себя до конца связным «меж теми, кто живут и кто мертвы». Именно этот высокий долг и помог Григорию Поженяну сохранить по сию пору верность юношеским мечтам, как, может быть, помог пронести сквозь время цепкую — чуть враскачку — походку человека, словно бы всегда идущего по неспокойной палубе штормующего корабля.

Владимир Савельев

О Давиде САМОЙЛОВЕ

Человечек сидит у обочины,
Настороженный, робкий, всклоченный.
Дремлет. Ежится. Думает. Ждет.
Скоро ль кончится эта вторая
Мировая война?
Не сгорая,
Над Берлином бушует закат.
Канонада то громче, то глуше...
— Матерь божья, спаси наши души,
Матерь божья, помилуй солдат.

Почти двадцать лет назад я прочел эти строки. В редакционной комнате молодого в то время журнала «Москва» лежала на столе верстка ближайшего номера. Я был тогда тоже молодой, чуть ли не впервые оказался в тот день в редакции толстого журнала, и первая верстка, увиденная мной в жизни, была именно эта, со стихами о маленьком, перепуганном итальянце у обочины фронтовой дороги в мае 1945 года. Имя автора «Давид Самойлов» было мне в ту пору совершенно незнакомо.

Итак, стихи об итальянце. Не помню, вспомнил ли я тогда другого, убитого под Моздоком, светловского «Итальянца», но сейчас мне хочется спросить — есть ли у кого-нибудь, кроме Самойлова и Светлова, стихи об итальянцах на войне? На самой большой и тяжелой войне, которая выпала на долю России, об итальянце, воюющем с русскими?

Кажется, нет.

Германия и война — эти слова были для нас очень долго почти синонимами. Если говорить об ассоциациях, навеянных искусством, то сразу же слышались барабаны, трубы, валькирии, зловещая музыка Прокофьева к эйзенштейновскому «Невскому». А при слове «Италия», даже тогда, когда ему неизбежно предшествовал эпитет «фашистская», в сознании звучали все же не пулеметные очереди, а неаполитанские кантилены, «Санта Лючия», распеваемая горьковским Пепе, имена Карузо и Галли Курчи.

И вот Италия с автоматом в руках идет завоевывать кубанские степи, робкая и всклокоченная сидит у обочины фронтовой дороги, а мимо идут русские солдаты, и все это за тридевять земель от Бриндизи или Мессины. Итальянец, воюющий с русским,— вот что убедительно показывало всю несправедливость, с той стороны, огромной войны, всю чудовищную ее нелепость, всю ее ненужность для простых людей, которых погнали с оружием в руках на Восток.

Это выглядело нелепо. Страшно — и все-таки прежде всего нелепо. И два поэта заметили это — Светлов и Самойлов.

Конечно, тогда, в 1957 году, я не думал об этом, читая отрывок из поэмы «Ближние страны». Меня поразило в стихах другое: абсолютная естественность разговора, который вел со мной поэт,— стихи звучали удивительно, ненатужно, легко, как рассказ умелого **устного рассказчика**, умного и артистичного, и я словно и не замечал, что это стихи, хотя ни на мгновение не мог в этом усомниться.

Поколение, к которому принадлежит Давид Самойлов, поколение, о котором он сказал, что оно в сорок первом шло в солдаты и в гуманисты в сорок пятом, выстояло и победило в войне потому еще, что не утрачивало ни на минуту, думается мне, ощущения прекрасности мира, прекрасности, свежести и молодости его. Даже в самые страшные, трагические моменты. И это ощущение бьет из стихов Самойлова. Из военных стихов, где сказано о сороковых, роковых годах — «просторно, холодно, высоко» — и из совсем других, лирических, о не очень-то, может быть, удачливой любви.

Как бы ни был порою неустроен наш мир, каким бы нелепым и страшным ни казался он нам порою, задача поэта вносить в этот мир гармонию, показывать совершенство этого мира, этой вселенной. Это завет, идущий русским поэтам от Пушкина и повторенный Блоком — «сотри случайные черты и ты увидишь — мир прекрасен». Следование этому завету видится мне в поэзии Самойлова и заставляет учиться у него и тому, чему нельзя научиться.

...Небольшого роста, коренастый седой человек стоит у края эстрады и читает стихи. Глаза Давида Самойлова скрыты за очками, из девятнадцатого ряда их не разглядишь, но я знаю, что прыгают в них чертики, озорные и умные чертики.

Такие же, как и его поэзия. Умная и озорная.

Евгений Храмов

О Борисе СЛУЦКОМ

В списке поэтов фронтового поколения — поколения самой высокой литературной отваги — мне дороги многие имена, но не совру, сказав, что никто другой не действовал на меня с такой силой, как Слуцкий. Сколько раз за прошедшие годы наедине с собой повторял я про себя или вслух, перечитывал, проговаривал накрепко впечатанные в память стихи: о Кельнской яме, о вдове Ковалева, «Последнею усталостью устав...» и многие другие.

Читая стихи Слуцкого, представляю себе, что вот так же, не тратя попусту слов, основательно и даже, на взгляд простака, бесстрастно, делал он свою повседневную и страшную фронтовую работу: поднимал людей в атаку, ходил брать «языка».

Кроме этой читательской любви, есть особое и сладостное удовольствие, которое я, будучи человеком, пишущим стихи, получаю, вникая в технологию поэзии Слуцкого. Какими средствами возводит он свои мучительные конструкции «из смеси черного и белого с надеждой, правдой и добром»? Как делаются эти тяжелые громы, придавшие русскому стиху новое и уже неизбежное звучание? В голову приходит Мусоргский, чьи реформы оскорбляли ухо, привыкшее к другим героям и гармониям, другим проблемам и мелодиям. Слуцкий конечно же лукавит, называя свою эстетику «нехитрой», все совсем наоборот, и об этом тоже сказано в стихах — тех стихах о стихах, которых у него немало.

Если уж речь зашла о музыке, надо рассказать вот что.

Лет двадцать назад Слуцкий в известном стихотворении с грустью (но это — домысел) констатировал возросшую престижность физики и упавшую — поэзии. «Это самоочевидно. Спорить просто бесполезно. Так что даже не обидно. А скорее интересно наблюдать, как, словно пена, опадают наши рифмы и величие степенно отступает в логарифмы». Прошли годы, и однажды я услышал по радио песню. Не натужный баритон из тех, что почему-то особенно ценятся в песенных редакциях, а нормальный человеческий голос, записанный на пленку путешествующим фольклористом, пел песню, которую этот голос называл «Рыжий остров». Это было положенное на музыку стихотворение Бориса Слуцкого «Лошади в океане». Подпав под законы народной песни, живущей с голоса на голос, стихотворение немного переиначилось, пообтерлось словами.

Так в логарифмы ли уходит величие?

Мне довелось видеть рождение этой песни, и я знал, что потайную музыку стихотворения расслышал, выявил и усилил композитор Виктор Берковский, который, между прочим, профессионально занимается логарифмами и написал для студентов в области металлургии учебник под названием «Теория пластической деформации и обработка металлов давлением». Это с его, Берковского, голоса запели светловскую «Гренаду» и многое другое из советской поэзии. Знал я также, что песню Слуцкого — Берковского поставили на ноги и пустили по стране физики — да, физики, ансамбль выпускников физфака МГУ под руководством Сергея Никитина. Они же привезли «Лошадей» в Берлин на фестиваль политической песни, где стихи красного комиссара и гитары физиков дружно делали свою святую и трудную антивоенную политработу и где они оттиснулись на долгоиграющей пластинке, чтобы делать эту работу по всему белому свету.

Чувствую, что пишу о чем-то не самом главном. Главное, наверное, в том, что Борис Слуцкий храбро воевал и живым вернулся с войны работать в русской поэзии. Для поэтов моего поколения он и его фронтовые товарищи стали учителями,— а ведь иные из них старше меня на каких-нибудь три-четыре года. Нас разделила не война, войну я видел и помню, но нам досталось быть среди тех, за кого они шли воевать и умирать, а они — воевали. Оказалось, что это очень важно для стихов.

Дмитрий Сухарев

О Марке СОБОЛЕ

Есть такой человек. Если встретишь его в Доме литераторов и присядешь на несколько минут — выпить кофе и поговорить, то поговорить не удастся. Почти каждый проходящий мимо здоровается. Некоторые останавливаются, придвигают стулья, включаются в беседу. Столик обрастает народом. Голоса становятся громче. Раздаются взрывы смеха. И в середине этой компании сидит и больше всех говорит и громче всех хохочет маленький остроносый, лысый человек. Это Марк Соболь.

И тускло как-то становится, когда надо уходить самому Соболю,— смолкает смех, разговоры. Все начинают скучать, поглядывать на часы и постепенно расходиться.

С каждым годом все больше нравится мне этот человек, привлекает естественностью, неколебимым внутренним достоинством и при этом некоторой незащищенностью, так, во всяком случае, мне кажется.

В стихотворении «Дон-Кихот» есть у него такая строфа: «Под крышей не укрыться и холоден очаг... ну, что, мой тощий рыцарь, печальный весельчак?» Печальный весельчак... печальный весельчак — емкое сочетание слов. Оно западает в душу. А ведь любой поэт, о чем бы он ни писал,— всегда пишет и о себе. Не спрашивайте, о чем это стихотворение,— оно обязательно и о поэте.

Марк Соболь — плоть от плоти, кость от кости военного поколения: «Мне трудно писать свою отдельную поэтическую биографию. Мы живы друг другом».

...В потрясенной насквозь державе,
стиснув зубы,
врагам на страх,
наши матери нас рожали
в лазаретах и в погребах.
Обрели мы свою закваску,
горьким вскормленные молоком.
К нам отцы применяли ласку
между боем и сыпняком.
И крестил нас верстой простертой
мир, где в пламени даль и высь...
Не в сорочках, а в гимнастерках
мы — я думаю — родились.

А родился автор этих строк в 1918 году.

«До сих пор мне снятся погибшие мои товарищи... Память сохранила много смешных эпизодов,— записывая их, не сразу понимаю, отчего порой перед глазами расплываются строчки». Он научился быть неравнодушным к горю чужому, может быть, потому, что слишком много было своего.

Вот его биография. До войны «учиться мне пришлось недолго — совсем другие «мои университеты» заставили повзрослеть». Перед самой войной Марк Соболь — артист Кимрского передвижного колхозно-совхозного театра. Война. Отдельный саперный батальон. «...после месяца работы под огнем в батальоне осталось меньше половины активных штыков, точнее — активных лопат...», «... мой вещмешок, в нем белье и портянки, не говоря уже о хлебе... в нем Есенин и Блок и тетрадка с моими стихами».

Он не пишет о ранениях, а их было три, не считая контузии. Последние два месяца войны Марк Соболь — во фронтовой газете. С тех пор и по сегодняшний день он старается «писать так, чтобы не было стыдно смотреть в глаза однополчанину».

На третий год войны на Белорусском фронте, в блиндаже, он знакомится с Михаилом Аркадьевичем Светловым. Знакомство это переросло в дружбу. Дружба проистекала из близости характеров, близости глубинной, органической. Наверное, не странно, что родство этих натур проявляется и в некоторых общих черточках быта и даже внешности,— про Соболя так же можно сказать: «Как ни смотреть на его лицо, все кажется, что видишь профиль» (так сам Соболь говорил о Светлове).

Марку Соболю пишут из многих городов страны, зовут в гости, ждут. Я видел, как в Тюмени незнакомые мне люди прорывались к трапу самолета, чтобы обнять его — не по административному долгу, а из любви и радости. Уже много лет он руководит семинарами на зональных совещаниях молодых; немало поэтов обязаны ему тем, что их оценили по достоинству.

Когда общаешься с Марком Соболем, то как-то особенно ясно чувствуешь ту человеческую надежность, ту добротность натуры, которую я наблюдал у поэтов-фронтовиков, с которыми меня сводила судьба. Качества эти вырабатываются у людей, если у них было в жизни настоящее — были любовь и ненависть, было страдание, ужас смерти и преодоление этого ужаса, была борьба и победа над врагом, сильным, яростным, готовым на все, и была после победы пощада этому врагу. Врагу, от которого — победи он — никому не было бы пощады. Если такое бывает в жизни, то человек невольно становится другим, приобщается к мудрости бытия.

Вадим Ковда

О Николае СТАРШИНОВЕ

Дружба, даже если она долга, ровна и постоянна, все равно сохраняется в памяти не чередой дней, а как бы нанизанными на нить времени отдельными событиями — значительными, имеющими особый смысл, радостными, печальными или тревожными.

Думая о своем старшем друге Николае Старшинове, вновь переживаю последнее такое событие — и радостное и грустное сразу.

Друзья, родня, люди, просто по-доброму расположенные к Николаю Старшинову, собрались за длинным столом в день его пятидесятилетия. И наверное, мало чем отличалось это шумное собрание от подобных мероприятий в литературной среде: те, кто знал юбиляра по жизни — по фронту, по работе, по творчеству, по общему какому-либо увлечению — и хотел об этом рассказать, поднимались в свою очередь над столом и, шутя или волнуясь, произносили тост, а чаще короткий рассказ.

И среди всего сказанного выделяю я три, что ли, наблюдения, касающихся Н. Старшинова, которыми поделились с собравшимися три разных человека, и хочу сделать свои заметки комментариями к этим трем наблюдениям.

Один из ораторов, сразу предлагая слушателям разделить готовящуюся шутку, улыбаясь, сообщил примерно следующее: вот, мол, мы все взрослеем, грузнеем, а наш юбиляр с годами не меняется нисколько, и что, вероятно, близок день, когда его нынешние более молодые коллеги, разговаривая с Николаем Константиновичем, могут услышать сказанное кем-нибудь: «А вон стоит поэт Старшинов со своим дедушкой!»

В каждой шутке — доля правды. Н. Старшинов всегда был — не только выглядел — моложе своего возраста. «И вот в свои семнадцать лет я стал в солдатский строй»,— написал он о времени, когда «страна огромная» поднималась на «священную войну». А с фотографии той поры смотрит на нас черноглазый мальчик в пилотке, и трудно отыскать в этом наивном, детском облике черты мужественного защитника Москвы, преграждавшего путь отборным гитлеровским полкам. И трудно представить мне, как этот мальчик, волоча по своему кровавому следу пулемет, ползком пробирался по предосенней земле в расположение своей части. «Мой товарищ вышел из войны мальчиком непостаревшим»,— написал я недавно о нем. Потому что таким — непостаревшим — увидел Николая Константиновича через двенадцать лет после войны, когда пришел с первыми стихами в литобъединение МГУ и никак не мог поверить, что этот человек за столом, на вид почти мой ровесник (а кое-кто из студийцев уже блистал лысиной или сединой!), и есть наш руководитель, известный поэт-фронтовик Николай Старшинов!

Второй выступающий, заикаясь от волнения, воскликнул на трагическом серьезе: «Да я всем в жизни обязан Коле!»

Если снять очевидную экзальтированность этого заявления, в нем тоже есть доля истины. Нисколько не думаю, что многие из нынешних поэтов среднего поколения, у литературной колыбели которых стоял Николай Старшинов как редактор отдела поэзии журнала «Юность» и руководитель одного из главных литобъединений столицы, обязательно пропали, не будь его. Но уверен — некоторые из судеб сложились бы иначе. Ибо у Николая Старшинова — редкий талант педагога: он не только умеет и любит работать с молодежью, но способен еще и не жалеть своего личного времени для этого дела.

Почти все мастера в меру сил и времени находят часы для поощрения юных дарований. Это у нас, слава богу, этическая норма жизни литератора. Но что бы вы сказали о человеке, который в меру своего умения писать на машинке отпечатал бы присланную ему рукопись начинающего поэта из деревни и разнес стихи по редакциям?!

Н. Старшинов никого не называет своими учениками, как бы стесняясь этого. Его воспитанники тоже не употребляют по отношению к нему слово «учитель». И все же с годами, перечисляя своих прямых литературных учителей, ставших маяками в поэзии каждого, сформировавших отношение к миру, помогших постичь начала мастерства, мы все чаще думаем о том, что Николай Константинович много дал нам не только в человеческом плане...

И наконец, третий сказал серьезно и просто: «Поэт Николай Старшинов в последние годы пишет все лучше и лучше!»

Действительно, как хорошо, когда твой товарищ удивляет тебя! Ты, казалось бы, знаешь, на что он способен. Тебе видны сильные и слабые стороны его таланта. Ты определил потолок друга. И вдруг... «Стихи о бывшей любви» (1964) — сильные, горькие строки. Цикл «О старом холостяке Адаме» (1965) — философские, мудрые вещи. Поэмы «Милая мельница» (1972) и «Семеновна» (1973), вызвавшие живой читательский интерес и еще раз доказавшие животворность обращения к языку и мотивам фольклора, если, конечно, это делается

не из расчета, а по требованию души... Новые неожиданные грани таланта. Поиск. Взлет.

Итак, неутраченная молодость. Сделанное добро и желание творить его впредь. Неуспокоенность и дерзание в литературном деле.

... И еще — одно из первых стихотворений. Солдаты, идущие по дороге, и под сапогами их — брошенные кем-то монеты и рубли. Строки: «Здесь ничего не покупают и ничего не продают...» Завершаю ими комментарии к трем приветственным речам в адрес Николая Старшинова.

Олег Дмитриев

О Василии СУББОТИНЕ

Что написать об этом человеке, который знает, как кончаются войны, а я не помню даже, как наступил мир на земле, потому что именно тогда я родился... Как коснуться этой солдатской и поэтической судьбы? Это так же трудно, как пересказать быль, написанную стихами.

С тайным восхищением я всегда смотрю на Василия Субботина. Он живет в одном городе, со мной рядом, человек с такой праздничной фамилией и с такой суровой судьбой. А я, со своим «майским» происхождением, избалован солнцем без багажа испытаний. Каждый раз хотелось заговорить, но не решался, вернее, оберегал его от возможного шквала моих вопросов, сам еще не подготовленный к его неминуемому вопросу в упор: что это такое — поколение после войны?

Я долго искал форму для обращения. И выбрал письмо. Как лучший способ исповедальности.

И вот, Вам пишу, уважаемый Василий Ефимович.

Я никогда не слышал грохота сражений, но теперь я знаю, как пахнет тишина Победы — порохом и сиренью... Вновь и вновь перечитываю потрясающие по своей простоте и драматизму ваши строки: «...Десять дней, не прекращаясь ни днем, ни ночью, шли бои... Мы двигались к центру... От здания к зданию — не через город, а сквозь него... Все были грязны, измазаны мелом... Как каменщики, слезшие со стропил... Мы едва держались на ногах... Потому — в полдень, второго, когда пал Берлин... спали. Спали все — солдаты и командиры. Прямо на площади. Голова к голове...»

Сейчас за окном весна 75-го... И в том общем ликующем шуме листьев — шелест страниц Ваших книг. И опять вспоминаются строки из них: «...Никто не может быть забыт. Имя каждого должно быть записано... Это все листья одного венка, которым увенчано лицо Победы... Я бы каждое имя выбил на граните... Всех, кто лежит в своих затерянных могилах... С холмиками и без холмиков...»

Все ваше творчество пронизывает эта бессонная тревожная мысль, она — как алая ниточка от того Знамени Победы над рейхстагом...

И как это здорово, что там вместе с первыми ворвавшимися бойцами были стихи.

Уже тогда на берлинских развалинах в вашей поэзии властно пробивалась типично субботинская скупая простота и одновременно редкостная многозначность. И как бы ни вытягивалась графически в них строка повествования, для меня это — всегда поэзия.

И наедине с вашей книгой, на тех тишайших уроках правды и благородства, я запомнил это красное дыхание Знамени...

Я никогда не думал, что буду так переживать, перелистывая жизнь другого поколения.

Я никогда не видел настоящих боев, но теперь я знаю, как бессмертны стихи, выращенные на маленьких полях военных дивизионок... Звенят солдатские медали, и среди них — медали Василия Субботина.

Тишь хмельная да белые вишни.
Соловьи не разбудят солдат.
Только лишь в темноте еле слышно
у кого-то медали звенят...

Нет набата на свете меньше.
Содрогаясь, медали звенят...
Может быть, голоса непришедших
меж собою сейчас говорят...

И светло от того перезвона.
Средь героев хожу до утра.
Будто с Немана, Волги и Дона —
тихий отзвук былого «ура»...

Эти головы белыми стали,
Словно майские вишни в садах.
И медали, медали, медали...
И слеза золотеет в глазах.

Ждут рассвета деревья и травы.
Что задумался, старый солдат?
На груди твоей —
Колокол Славы,
а не просто медали звенят...

Николай Зиновьев

Работа и Любовь

Николай Тихонов

НАДПИСИ НА СТЕНАХ РЕЙХСТАГА

(май — 1945 год)

Еще горячкой боя сердце билось,
А в мир уже вступала тишина,
Как будто время здесь остановилось,
Не веря вдруг, что кончилась война.

Под арками обугленного свода,
В какой-то первозданной тишине,
Солдаты величайшего похода
Расписывались прямо на стене.

Рейхстагова развалина дышала
Всем перегаром битвы мировой,
И в ней звучнее всякого хорала
Пел хор имен, растущих, как прибой.

Он пел, взлетая над огнем и кровью,
Перед войны поверженной лицом,
Как будто осеняя изголовье
Последних умирающих бойцов.

Открыто все свое писали имя,
Чтоб знали люди будущих времен,
Что подвиг сей, свершенный всеми ими,
Во имя человечества свершен!

* * *

Клянясь священною Москвою,
Мы не забудем никогда,
Про наше братство боевое
В борьбы великие года.

Как плуг войны на всей планете
Поля кровавые вспахал,
И самый буйный в мире ветер
Победы пламя колыхал.

Рейхстаг обугленный, в пожаре...
Над ним, где стяг победный плыл,
Там Мелитон стоял Кантария,
И с ним — Егоров Михаил.

Поднявши стяг победы нашей,
У всей вселенной на виду,
В часы, которых нету краше,
Прекрасней нету в том году.

Пройдут еще несчетно годы,
Но вечно будут помнить их —
Как делегатов двух народов
От всех народов мировых!

СТАРАЯ ИВА НА ПРОСПЕКТЕ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Со школьных дней я эту иву знаю,
Что всех дерев казалась мне сильней,
Я каждый раз, как в тех краях бываю,
К ней прихожу, чтоб повидаться с ней.

Я знал ее в зимы седом тумане
Или в осенний листопадный срок...
Встречались мы, как путники, в романе,
Который временами был жесток.

Она стояла в силе и в покое,
В сознании величья своего,
И что-то было в дереве такое,
Что заставляло чувствовать его.

Недавно я увидел иву снова.
Светясь своей серебряной судьбой,
Она стояла — памятник былого,
Мне говоря: «Стареем мы с тобой!

А помнишь, как еще в ночах осады
Казалось, хуже уж не может быть,
Мы виделись, и оба были рады,
Что все живем и нас нельзя сломить.

Ты проходил полуночною стражей,
И молча я просила: погляди,
Я все стою и след снарядов вражьих
Храню, как память, на моей груди.

Мои рубцы во льду сияли гордо,
Теперь их видят люди многих стран,
Вокруг меня шумит, как прежде, город,
Который нам, как вечный спутник, дан.

Мы в Ленинграде, где всегда мы дома,
И ветер над Невою голубой,
Нас не свалили века буреломы,
И все-таки: стареем мы с тобой!

Ну что ж, друг друга, в новых поколеньях,
Лишь мы поймем, как старые друзья,
Кто предо мною встанет с восхищеньем
И вспомнит то, чего забыть нельзя?»

И слушал я, что ива говорила,
И отвечал: «Зеленый жизни страж,
Что было — было! В этом наша сила —
Людей бессмертьем вечен город наш!»

СТЕПЬ

Волнистая, цветная, огневая,
Ковыльная, качаясь и шурша,
Пленительная, звонкая, живая,
Как чеховская повесть, хороша...

Но той зимою ты была прекрасней,
Когда во тьме морозной, в поздний час,
По мерзлой зыби за ракетой красной
Шли наши танки, тяжко грохоча.

Дымилися руины Сталинграда,
Но, каждою минутой дорожа,
Стальной таран, ломая все преграды,
К Тацинской путь, в тылы врага держал.

В огне пожаров, взрывами палима,
Твой голос бою эхом отвечал,
Ты хороша была неповторимо
В тех раскаленных добела ночах.

Светясь снегами в этой огнеломне,
Звеня своей замерзшею травой,
Такой тебя навек танкист запомнил,
Откинув крышку башни боевой.

Степан Щипачев

ЗА ГРОБОМ ПАБЛО НЕРУДЫ

Глотая слезы, шли, и каждый знал,
что ждет его, но пели всё дружнее.
В рыданиях «Интернационал»
звучал еще призывнее, грознее.

Теснили автоматами враги,
но шествие за гробом плыло, плыло.
Не разбудил поэта грозный гимн,
но губ касался, как при жизни было.

Не запугать, не задушить народ
за черным автоматным частоколом,
когда «Интернационалом» рот
порой как ветром океанским полон.

СТРОКА

Шар земной
уместил бы в строку,
только такую
найти не могу.

Глянешь —
углом
выпирает о́стро
то материк,
то какой-то остров,
то океан,
распустив рукава,
вдруг заштормит,
раскидает слова.

Горы.
Иная и невысока,
а от нее —
пополам строка.

И все-таки я,
пусть найти не смогу,
ищу
невозможную
ту строку.

Павел Антокольский

1. НОЧЬЮ

Мы вышли поздно ночью в сенцы
Из душной маленькой избы.
И сказочных флуоресценций
Шатнулись на небе столбы.

Так сосуществовали ночью
Домашний и небесный кров.
И мы увидели воочью
Соизмеримость двух миров,—

Родство и сходство их от века,
Ликующее в них самих,
Когда в сознанье человека
Все проясняется на миг,

Когда вселенная влюбленно
И жадно смотрит нам в глаза
И наготою раскаленной
Притягивает нас гроза.

2. ЗИМА

Зима без маски и без грима,
Белым-бела, слаба, неслажена,
Но и таящаяся зрима,
Но и молчащая услышана.

Она сама полна предчувствий,
Уместных только в ранней юности,
И вновь нуждается в искусстве,
В его тревожной, дикой странности.

Все дело в нем! Все окруженье
Кистей, и струн, и ритма требует,
Все бередит воображенье,
Торопит, бредит, бродит, пробует.

А мастера, столпившись тут же,
Оценивают дело заново:
Канун зимы, преддверье стужи,
Разгар художества сезонного.

3. ДО РОЖДЕНЬЯ

О чем ты бредишь, что ты бродишь,
Тень меж теней, звено в цепи?
Жди, человеческий зародыш,
Дождись рожденья, крепко спи!

Спи и потягивайся сладко,
Дождешься мамы — вот она!
Да будет мягкою посадка
Для неземного летуна!

Жди, человеческая завязь:
Наступит жуткий твой черед,
Когда, от легкости избавясь,
Ты сразу вырвешься вперед.

Сначала громко ты заплачешь,
Смешными ножками суча...
Еще ты ничего не значишь,
Личинка чья-то иль ничья.

Но вспыхнешь в сварке автогенной,
Чтобы мгновенье проблистать,
Стать мукой, музыкой, легендой,
А может быть, ничем не стать.

4. ДОН КИХОТ

Не падай, надменное горе,
Вставай, молодая тоска,—
Да здравствует вне категорий
Высокая роль чудака!
Он будет — заранее ясно —
Смешон и ничтожен на вид,
Кольцом неудач опоясан,
Дымком неустройства повит.

А кто-то кричит: — Декламируй,
Меча не бросай, Дон Кихот!
В горячей коммерции мира
Ты мелочь, но все же доход.
Дерись же, бедняга, осмелясь
Со смертью быть накоротке,
То с крыльями ветряных мельниц,
То с красным вином в бурдюке!

И снова сожженный как уголь,
В потешном сраженный бою,
Меж марионеток и кукол
Ты выберешь даму свою.
Она тебе сердце пронзает,
Во всем отказав наотрез...
. . . . . .
Об этом и пишет прозаик,
Когда он в ударе и трезв.

5. ДРУГОЙ

Ну что ж! Пора, как говорится,
Начать сначала тот же путь,
Слегка взбодриться — ламцадрица! —
И повториться в ком-нибудь.
Такой ремонт не очень скучен.
Бывал же я переобучен
Раз двадцать на своем веку,
Бывал не раз перекалечен,
А нынче — лекарем подлечен,
Хоть слушателей развлеку.

В чужих владеньях партизаня,
Чужим подругам послужив,
Чужие испытав терзанья,
Согреюсь у костров чужих.
Не о себе речь завожу я,
Но верю в молодость чужую,
Свой давний опыт истребя.
Себя играть — дается просто.
Но ведь заманчивей раз во сто
Играть другого — не себя.

Другой — вон тот, двадцатилетний,
Кто не оглянется назад,
Меж сверстниками не последний,
В линялых джинсах, волосат,
Московский хиппи или битл,
Какой ни предпочти он титул,
Как быстро моды ни меняй,
Какой причуде ни подвержен,
Как ни рассержен, как ни сдержан,
А смахивает на меня.

6. КАНАТОХОДЦЫ

Вся работа канатоходца
Только головоломный танец.
Победителям в нем конца нет,
И с искусством не видно сходства.

Наше дело очень простое:
Не терять вверху равновесья,
Верить в звездное поднебесье,
А про землю помнить не стоит.

В каждом цирке есть купол этот,
Не обрушенный в прах опилок.
Путь наш ясен, и нрав наш пылок,
И отчаянно весел метод.

Перестаньте, критики-гости,
Спорить с бедными мастерами!
Посторонние в нашей драме,
Обсуждать и ход ее бросьте!

Что бы ни было — нет вам дела
До грядущей нашей расплаты,
Оттого что не вы крылаты
И не ваша рать поредела.

7. ТОЖЕ НОЧЬЮ

Дикий ветер окна рвет.
В доме человек бессонный,
Неудачей потрясенный,
О любви безбожно врет.

Дикий ветер. Темнота.
Человек в ущелье комнат.
Ничего уже не помнит:
Он — не тот, она — не та.

Темнота, ожесточась,
Ломится к нему нещадно.
Но и бранью непечатной
Он не брезгует сейчас.

Хор ликующих стихий
Непомерной мощью дышит.
Человек его не слышит,
Пишет скверные стихи.

8. ВЫ ВСТРЕТИТЕСЬ

Вы встретитесь! Я знаю сумасбродство
Стихийных сил и ветреность морей,
Несходство между нами и сиротство
Непоправимой верности моей.

Но вот в отчаянье и в нетерпенье
Ты мчишься вниз и мечешься летя,—
Вся в брызгах света, в радугах и пене,
Беспечное, беспутное дитя!

Перед тобой синеет зыбь морская,
Зеленые чудовища на дне,
А над тобою — бешено сверкая,
Хохочет злое солнце обо мне.

Но ты мелеешь и с внезапной грустью,
Продрогшая от гальки и песка,
Бессильная, ползешь к морскому устью,
Мне одному понятна и близка.

Наталья Астафьева

* * *

Гроза прогрохочет по небу вдали,
пустых облаков проплывут корабли,
и снова палящее небо цветет,
и лоно земли — как запекшийся рот.

Дай дождичка, небо, иссохлись поля,
без влаги мертвеет живая земля,
и листья до срока упали с дерев,
и травы в лугах полегли, побурев.

Четыре стихии одна без другой
пугают, как вдовы над люлькой пустой:
не жить без воды мне, не жить без огня,
без воздуха не было б в мире меня.

* * *

Сидела я, пестро одета,
пекла картошку на костре,
и медленно катилось лето
и спотыкалось на кусте.

Катилась жизнь свободным ходом,
паслась корова, рыскал волк,
и был причесан у природы
любовно каждый завиток.

Казалось неправдоподобно,
хоть жизнь в действительности шла,
разглядывать ее подробно,
словно изделье из стекла.

Где каждый листик и цветочек,
росой увенчанный, горел
и, как хрустальный колокольчик,
от счастья тоненько звенел.

* * *

Пыльцою запылиться,
во все свой нос совать
и каждую птицу
по имени назвать.

С березой побрататься,
бруснику в губы брать,
дивить и удивляться,
влюбляться и влюблять.

Природой многоликой
натешиться спеши,
испачкаться черникой
до краешков души.

Сергей Баруздин

* * *

Как много сталось
Без тебя событий!
И я делюсь,
Советуюсь с тобой:
От новых неизведанных открытий
И до того, каков сейчас прибой
Здесь, в Дубултах,
Где мы с тобой бродили,
С войны вернувшись,
Много лет назад...

Мы здесь с тобою
Тропки проложили,
Где ныне
Сосны вечные шумят.

* * *

Не по-зимнему сонная
Бьет о берег волна.
Где-то рядом Эстония,
Там твоя сторона...

Сосны ветром пронизаны,
Томас старенький там...
Только мы не прописаны
По таким адресам.

Далеко или близко
Есть твоя сторона,
Нам с тобою прописка
Той войною дана.

И ничто не изменится,
Мы, как были, есть мы...
Только Балтика пенится
В сетях теплой зимы.

* * *

Ты уехала далеко,
И теперь-то я точно знаю,
Как нам
Встретиться нелегко,
Как в войну
На переднем крае...

Переделкино —
Бывший край
Сорок первого трудного года.
Не забуду!
Не забывай!
Люди ждут
Хорошей погоды.

* * *

Вдали от тебя
И вдали от России
В баварской,
Для нас необычной, пивной
Я снова гадаю,
Какие такие
Те *люди*,
Что к нам
Заявились с войной.

Солидные фрау,
Солидные фрицы
Семейно и мирно
Сидят за столом.

Их внукам и детям
Никак не сидится,
И с фюрером кружки
При том ни при чем.

Но пенится пиво
И льется в избыток
Из бочек дубовых,
Приросших к стене.
И кажется мне,
Что ничто не забыто.
И тени убитых
Мерещатся мне.

* * *

Сестрички,
Сестры!
Войну вспоминаю
Не на переднем крае.

Край не передний,
И вдруг не последний,
А то из передней,
Из гардероба
Сразу до гроба?..

Но так же
Молим
Мы о спасенье,
Как там,
На фронте,
Как при раненье...

И вы —
Такие,
Как те другие,
Как те простые,
Что были
С нами
В года лихие.
У них —
Могилы
И обелиски,
На землях близких,
Да и не близких.

У вас —
Заботы
Иного плана,
Но те же боли
И те же раны...

Сестрички,
Сестры!
Войну вспоминаю
Не на переднем крае.

* * *

Выше носилки!
Выше!
Я слышу, слышу, слышу,
С той самой войны слышу,
Что явь для нас,
А не сон...

Осколки в левую ногу,
Контузия первой степени.

Зима сорок пятого,
Венгрия,
Озеро Балатон.

Выше носилки!
Выше!
Ты слышишь, слышишь, слышишь?..
Я все понимаю, слышу,
Поверь, бывало,
Пройдет...

Дочь с мужем стоят на лестнице,
Сын — рядом с какой-то девочкой...
Москва.
Семьдесят третий.
А сыну семнадцатый год.

* * *

Впервые Девятое мая
Я без тебя встречаю,
Впервые за тридцать лет.
Скажи, почему тебя нет?

Все знаю,
И все не верю,
Смотрю в открытые двери:
Вот-вот вернешься домой
И скажешь:
— Серенький, мой!..

Скажешь, бросишь поклажу,
Добавишь:
— Я все улажу!..—
Потом посидим без ребят,
Пускай они лучше поспят.

* * *

М. П. Прилежаевой

Нам биографию сложили
Не даты и не личный вклад...
А люди,
Те, что с нами жили,
И те,
Что не придут назад.

Мы биографию слагаем
Не для себя...

Александр Бобров

ПИСЬМО ИЗ СУРГУТА

Из тюменского блокнота

Эти светлые дни как нахлынули — так ослепили,
Мы с тобою не знали подобных дорог.
Что могу я тебе рассказать о Сибири?
Ты считай, что письмо мое — только пролог.

К впечатленьям моим не подходят привычные мерки,
Раздвоилась душа, как волна за кормой.
Ну-ка, яблоко-солнце, прокатись по тарелке,
По зеленой земле с голубою каймой!

И пока оно будет румяно катиться с востока,
Освещая Юганскую Обь и суда,
Невозможно унять холодящего душу восторга
И такие места миновать без следа.

Я пишу эти строки с одним лишь желаньем:
начать бы,
Передать нарастание неповторимых минут
И письмо запечатать, как будто сургучной печатью,
Черным штемпелем с рубленым словом: Сургут.

БОЯРЫШНИК

Вместо ограды облезлой
В местности незаселенной
Рядом с дорогой железной
Вырос кустарник веселый.

Стынет осенняя слякоть,
С холодом в гроздьях тяжелых
Красная спелая мякоть
Тает на косточках желтых.

Жухнет трава по откосам,
Ягоды брызжут салютом.
Радость — мальчишкам курносым
И снегирям твердоклювым.

Ни для кого не запретен,
С каждым он счастлив делиться.
Нижние ягоды — детям,
Верхние ягоды — птицам.

Нина Бялосинская

* * *

Б. Б.

По бережной белой неделе,
по тихой студеной поре
зима опустилась на ели,
красивая, как в букваре.
Над утром клоками крошится.
На ветках пушится пыльца.
Хлопочет в кормушке синица.
И заячий след у крыльца.

И ты меня к доброму дому
по свежей тропинке ведешь.
Потреплешь собаку знакомо
и валенки мне обметешь.
И жалостен мир, а не жалок,
пока отдышалась душа,
покуда на мне полушалок,
покуда живу не спеша.

* * *

Н. П.

Как не сразу, как медленно входишь
в покой —
волочишь суету, как вину.
Под ладонью сосны,
над широкой рекой
нарушает собой тишину.

Извини меня, роща,
прости меня, бор,
деревами меня огради,
отвори мне высокий осиновый створ,
через просеку переведи.

Это белое море — березовый лес,
утоли меня и удостой
улыбнувшимся облаком,
плотью небес,
преподобной своей простотой.

Константин Ваншенкин

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Поколение это люблю,
Не видавшее черной пучины,
И на том себя часто ловлю,
Что здесь личные скрыты причины.

С удовольствием помню всегда,
Что оно от рождения сыто
И, однажды явившись сюда,
Не прошло сквозь военное сито.

Пусть же всех обойдет по уму
И по сердцу. И станет — как веха.
Ведь ничто не мешает ему —
Первый раз за три четверти века.

Не лежало оно под огнем,
Но мечтает о чести и славе.
И шумит, и поет под окном
Поколение в полном составе.

* * *

Стройное зданье построив
Воображеньем своим,
Женщины любят героев
И поклоняются им.

В облачке сладкого дыма,
Благоразумью не в лад,
Их награждают помимо
Официальных наград.

Все из единого теста,—
В солнечный день, как одну,
Медь полкового оркестра
Разом кидает к окну.

Любят во всю свою силу,
Зная прощаниям счет,—
Старших, с кем все это было,
Юных, кого это ждет.

Нежно целуя курсанта,
Смутно жалеют его,
Подозревая, что сам-то
Не понимает того.

Истины жизни усвоив,
Веря в планиду свою,
Женщины любят героев,
Тех, что не только в строю.

Спросишь — и вымолвит сухо,
Что выбирает сама
Сильных величием духа,
Сердца и просто ума.

Перед собой-то не скроем:
Хоть мы и ведаем страх,
Хочется все же героем
Выглядеть в женских глазах.

КУРСАНТЫ

Им выпало, двадцатилетним,—
Броне чужой наперерез
Шагнуть на рубеже последнем
С винтовками наперевес.

И приняла в себя могила,
Разверзшаяся тяжело,
Все, что на свете с ними было,
И все, что быть еще могло.

ПОСЛЕ ЗАСУХИ

После засухи такой,
Иссушавшей даже слезы,
Опустили за рекой
Плети желтые березы.

Обрела земля покой
Только вместе с переменой
После тягостной такой
Засухи послевоенной.

Всем оставшимся в живых,
И здоровым, и калекам,
Плеск потоков дождевых —
Будто плыть сквозь сон по рекам.

Сладко женщинам войны,
И дождавшимся, и вдовам,
Что поля напоены,
Что воды в колодцах вдоволь.

ПОХВАЛА БАЛКОНУ

Кто изобрел балкон?
В чем смысл его и сила?
Ритмичный блеск окон —
Вот все, что прежде было.

Да к стеклам в вышине
Прильнувшая неловко
Прелестная вдвойне
Далекая головка.

Но явственно потом
Подуло ветром свежим,
И, смотришь, каждый дом
Балконами увешан.

Да тесно нам жилье,
И все еще покуда
Там сушится белье
И копится посуда.

А ведь балкон — затем,
Чтоб, как прибоем сушу,
Лавиной крыш и стен
Захлестывало душу.

Он гордо вознесен
В разумном габарите,
И вы почти сквозь сон
Над городом парите.

На страшной высоте,
Что птицам лишь знакома,
Стоите в простоте
Уже снаружи дома.

Он в ровной жизни стал
Заменой поворота,
Площадкой между скал,
Кабиной вертолета.

КОРАБЛИ

Ночью ушли корабли.
Мы к ним привыкли без шуток.
В бухте они провели
Все-таки несколько суток.

Утром проснулись — их нет.
Берег спокойно-безлюден,
И растекается свет
Снова начавшихся буден.

Ранней воды монолит,
Тронутый ветром осенним...
Что же, однако, велит
С тихим вздохнуть облегченьем?

РИСУНОК

Вдруг озарится мгла
В каком-то странном плане.
Ахматова была
Моделью Модильяни.

До первой мировой,
Среди возможных сотен,
Рисунок перовой
Изящен и свободен.

Но вы узнали — чей,
И тут вас поразило
Скрещенье двух лучей,
Двойная эта сила.

Кто изображена
И кем — на белом поле!..
Душа поражена
Помимо вашей воли.

Сергей Викулов

ЕСТЬ ДУША У ЧЕЛОВЕКА

Вот о чем, прожив уже полвека,
думаю теперь все чаще я:
есть-таки душа у человека,
есть! Притом у каждого своя.

Я науки башню не обрушу,
ежели добавлю заодно:
ощутить чужую чью-то душу
нам своей лишь собственной дано.

Есть душа ш и р о к а я,
как море,
светлая, как в зареве восток.
Хочется нам — в радости ли, в горе —
из нее испить хотя б глоток.

Ей в противовес душа другая
существует: ч е р н а я, как ночь.
И при встрече ваша, содрогаясь,
мчится от нее, как ветер, прочь.

Серая, похожа на мышонка
(вся забота — крошку отыскать),
гоношится м е л к а я душонка —
эту можно спичкой расплескать...

В эту плюнуть даже — не прибудет,
да и не убудет ни гроша...
Рядом с нею,
из одной посуды
ест и пьет, к о р ы с т н а я душа.

Эта и соломы даже даром
не подстелет... Что вы! Эта ржа
даже за простой свечной огарок
будет ждать тройного платежа.

Мягкая от роду,
как подушка,
вся курясь приятственным дымком,
л ь с т и в а я пред кем-то вьется душка,
хоть того считает дураком.

И ведь благоденствует, притвора.
О, она умеет и теперь
кой к кому подъехать на рессорах
и уйти, открывши задом дверь.

Есть душа п р о д а ж н а я.
Непросто
это распознать, и тем она
душам-то доверчивым, короста,
и была во все века страшна...

А еще страшней душа д в о й н а я —
оборотень с медом на устах.
Эта мельтешит, хвостом виляя,
в самых неожиданных местах.

Но живет, над всеми возвышаясь,
всех своим величием круша,
чистая, глубокая, большая —
оттого
красивая душа!

ГЛАЗА И РУКИ

Мне дело сделать предстоит.
Глаза — не стану притворяться,—
глаза мои его боятся,
страшатся, лезут из орбит.

«Да это ж черт те что!» — кричат.
«Да ты же, господи, не лошадь,
чтобы тащить такую ношу,
такую гору на плечах!»

«Брось! — мне командуют.— Не тронь!»
А руки — в этот миг похожи
на жернова —
о кожу кожей,
ладонью трутся о ладонь.

Но вот уж правая, права
в намеренье,
на левой, слабой,
а следом левая на правой
закатывают рукава.

Потом, дымящую, берут
из губ и тушат сигарету.
И обращаются к предмету,
и принимаются за труд.

Ах, руки, лучший механизм
на свете!
Вы, когда мне нужно,
то снизу вверх летите дружно,
то разъяренно сверху вниз!

Сто, двести, тыщу раз подряд
вверх-вниз! Удары ваши крепки.
То искры жаркие, то щепки,
то брызги в стороны летят!

И пусть спина моя парит —
я с каждым взмахом ближе к цели,
я вижу: дело,
в самом деле,
горит в руках моих, горит!

И вот — конец! Мое плечо
гудит... Зато глаза сияют...
А руки грязь с себя смывают —
они как будто ни при чем...

Евгений Винокуров

ИЗ КНИГИ «КОНТРАСТЫ»

* * *

Вот стою я на Тверском бульваре,
Миру непонятный человек.
У меня в потертом портсигаре
Папиросы слабые: «Казбек».
Кончилась вторая мировая,
Мир подписан. Наша правота.
Я стою один, передвигая
Папиросу в самый угол рта...
Разные идут по миру толки.
Опадают поздние цветы...
У меня от нежинской махорки
Пальцы словно йодом облиты.

Торжество победы пожинаю,
Трудно щурюсь на прощальный свет...
Ничего еще не понимаю:
То ли праздник в мире, то ли нет.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

С дрожащим голосом обиды
и неестественно прямы,
слепые ныли инвалиды
неимоверные псалмы...
В вагоне, средь мешков в проходе,
пел, восходя на тенорок,
с рыданьем о морской пехоте
парнишка без обеих ног.
И на Цветном, что ближе к цирку,
сидел, уже старик почти,

держа зубами бескозырку
и крупно выставив культи...
Федяк, Иванов и Емелек,
всех, кто сейчас отвоевал,
вдруг разом выбросил на берег
седой войны девятый вал!..
Стучали в грудь себе матросы,
тряс костылем сапер-казак...
И гордые стояли слезы
в неумирающих глазах.

ЛАСТОЧКА

То под облако,
а то низко, низко
над землею проходит она...
Я-то знаю всю меру риска:
мне была высота дана!
Ну так что же теперь я стою,
коль не был, когда надо, смел
и счастливою высотою
я воспользоваться не сумел?..
Я стою себе,
тих и кроток:
«Что же, прошлого не вороши!»
И смотрю, задрав подбородок,
на безумные виражи.

* * *

Вот какое сейчас положенье:
я уже подошел к рубежу.
Осмысляю свое пораженье
и итог кой-какой подвожу.
Лишь один небольшой поворотец —
и как будто бы я подменен!..
Побежденный стоит полководец
перед картой прошедших времен.
Жил он собранно, честно, непраздно,
и осмыслить есть что-то одно,
ведь прошла его жизнь не напрасно:
поражение было дано!..

* * *

Снизойди к тоске простертых дланей
и, как повелося на Руси,
упаси от разочарований,
от пустынь полночных упаси,
упаси, прошу, ее от сглаза,
ту, что тоньше трепетной свечи,
упаси от стонущего гласа
плакальщицы в пламенной ночи!..
Помоги и в миг, коль по примете
ей глаза прикроют пятаки!
Даже если нет тебя на свете,
все равно, прошу я, помоги!

* * *

Вот меня отпустили заботы
посредине июньского дня.
Ощущение тихой свободы
посетило сегодня меня...
Слышал я: где-то птицы пропели!..
От святой пустоты бестолков,
словно небо увидел в пробеле
расступившихся вдруг облаков.
А всего-то пустячное дело!..
Я под небом до вечера был.
Просто память моя отлетела...
Просто я свою жизнь позабыл.

ЦВЕТОК

Забудем ли обои,
что ведь не без труда
придирчиво с тобою
мы выбрали тогда?..

Теперь такие редки —
не модные чуток:
внутри лиловой клетки
голубенький цветок!

Каморка как каюта,
и вот приятно мне
от милого уюта,
от клеток на стене.

...К чему теперь вопросы?
Сморкаешься в платок,
и видится сквозь слезы
тот голубой цветок.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Порой печальной новолунья,
когда потонет мир во мгле,
простоволосая колдунья
летит под звезды на метле...
Внизу, с подушкой в изголовье,
упав в перину до зари,
храпит вовсю средневековье,
из уст пуская пузыри.
Но тайнами полна природа...
И от рогов и до копыт
враг человеческого рода
трясется,— он-то уж не спит!
И нечисти начался танец!..
Но это, значит, неспроста:
пав на колени, францисканец
застыл пред образом Христа.
Синюшных мертвецов личины:
язык пылает изо рта!..

Но встали против чертовщины
два плотно сложенных перста!
На свет ползут грехи из мрака,—
как омерзителен парад!..
Персты смиренного монаха
кошмарам противостоят.
...Меняла вышел из подъезда
и, почесавшись, вдруг зевнул.
И пекарь разминает тесто...

И отступает Вельзевул.

СЛАВА

Ну кто из нас не бредил славой?..

Так ждут в тоске у кабака
С башкою пьяной и шалавой
Замызганного пятака.

И я переводил чернила
Во тьме чердачного угла...
Она мне долю отравила
И ядом в плоть мою вошла.

Во мраке к солнцу шел, безвестный,
Тропой, срываясь, одинок,
Когда бесславье смертной бездной
Чернело возле самых ног.

Она моею стать могла бы,
Когда б еще один прыжок!..

И раскаленный уголь славы,
Шипя, ладонь мою прожег.

И зуд ее стыдней, чем похоть,
Страшней, чем на зрачке пятно!..
Она ж как этот самый локоть,
Что укусить нам не дано.

И сколько мальчиков, сгорая,
Погибло, вскинув руки к ней!..
А кто ж вошел в те двери рая,
В тот сонм классических теней?

Кто ж отхлебнул от этой чарки?..

Кто будет в зелени густой
Один стоять, сутулясь, в парке
Над городскою суетой?

МЕДЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда божественный оракул
его удел предначертал,
он огорчился, он заплакал.
И слушать далее не стал...
И в ту же ночь, усевшись с другом,
он, осознавший смерть бедняк,
глотал, закусывая луком,
неутешающий коньяк...
Медсправка. В ней печать и подпись...
Всю ночь он, омрачив чело,
упорно всматривался в пропасть...
И там не видел ничего.

ТЫ

Вот женщины идут толпой.
Я понял, что воскресну,
когда меж ними и тобой
я обнаружил бездну.

А разница-то велика!
О сходстве нет и речи,
хоть те же руки, и бока,
и локоны, и плечи,

хоть любишь так же шить, поя,
иль в дождь брести уныло...

...Тогда единственность твоя
тебя мне осветила!

Андрей Вознесенский

ПЕСЕНКА СПРИНТЕРА

Четырежды и пятерижды
молю, достигнув высоты:
«Жизнь, ниспошли мне передышку
дыхание перевести!»

Друзей твоих опередивши,
я снова взвинчиваю темп,
чтоб выиграть для передышки
секунды две промежду тем.

Нет, не для славы чемпиона
мы вырвались на три версты —
а чтоб упасть освобожденно
в невытоптанные цветы!

Щека к щеке, как две машины,
мы с той же скоростью идем.
Движение неощутимо,
как будто замерли вдвоем.

Не думаю о пистолете,
не дезертирую в пути,
но разреши, хоть раз в столетье,
дыхание перевести!

ОЧИЩЕНИЕ

Расчищу Твои снегопады.
Дорожку пробью к гаражу.
По белоцерковному саду
машину свою вывожу.

Тебя соскребаю с асфальта,
весь полон минутою той,
когда Ты повалишься свято
меня засорять чистотой!

Такое покойное поле,
как если чернилами строк
я ночью бумагу заполню,
а утром он — белый, листок.

Но к черту веселой лопатой
счищаю Твою чистоту,
чтоб было Тебе неповадно
вторгаться в ту жизнь, что веду.

Не надо чужого мне бога.
Я праздную темный мятеж.
Черна и просторна дорога,
свободная от небес.

Мой путь все вольней и дурнее.
Преступно мое ремесло.
Приеду — остолбенею:
все снова Тобою бело.

СВАДЕБНАЯ ЦЫГАНОЧКА

Ресторан качается, будто пароход.
А он свою любимую замуж выдает.

Мы же супермены. Сядем визави.
Разве современно жениться по любви?

Девочка пристроена и даже весела.
Будет твоя — утром, его — в вечера.

Черная, белая, пьяная метель.
Ресторан закроется — двинемся в мотель.

Ты поправь, любимая, трефовый парик.
Ты разлей рябиновку ровно на троих.

Будет все как было, проще, может быть,
будешь вечерами в гости приходить,

выходя, поглубже капюшон надвинешь,
может, не разлюбишь, но возненавидишь...

«Сани расписные» — стонет шансонье.
Вот они отъедут — расписанные...

И никто не скажет, вынимая нож:
«Что ж ты, скот, любимую замуж выдаешь?»

НЕ ЗАБУДЬ

(Стихи для детей)

Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые как снег
надевает человек.
Человек надел пиджак,
на него нагрудный знак
под названьем «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),
сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.
Опоясался как рыцарь
государственной границей.
И, качая головой,
надевает шар земной.

Сверху небо натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...
Человек глядит вокруг.
Вдруг —
у созвездия Весы
он вспомнил, что забыл часы.

(Где-то тикают они
позабытые, одни?..)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без Времени — ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»

Игорь Волгин

* * *

Я в сумерках ранних спешил
на зов электрички истошный
по снегу, что запорошил
поселок железнодорожный.

Холодные тучи неслись!
Как вдруг впереди, у разъезда
ударили в хмурую высь
нестройные звуки оркестра.

О вечности пела труба,
пока, припадая к сугробам,
сограждан скупая толпа
ступала за крашеным гробом.

И музыки сладкий обман
сквозь вой пробивался метели,
где адом грозил барабан,
вздыхали о рае свирели.

Ну что же! Глядишь не скорбя —
и что тебе доля чужая!
Ты молод, ждет поезд тебя,
в иные края поспешая.

Ты жив! Но пока этот снег
кружит над землею печальной,
вопросом «Что есть человек?»
ты занят, прохожий случайный.

Ты медлишь, прохожий, пока,
клубясь в снеговой круговерти,
идут над тобой облака,
не зная о жизни и смерти...

* * *

Этот сумрачный денек
как положено — проходит.
А тебе и невдомек,
что с тобою происходит.

Этот привкус новизны,
неизведанный дотоле,—
чувство тайное вины,
ощущение неволи.

За собой не помнишь зла!
Отчего ж, скажи на милость,
та вода, что утекла,
через годы просочилась?

Не отчаивайся, брат!
Не оттягивай расплаты.
Ты ни в чем не виноват,
а наверно, виноваты —

холод, молодость, разор,
и закат замоскворецкий,
и косящий этот взор —
полуженский, полудетский.

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ

«Ведь надо и обедать иногда»,—
являлась мысль.
Душа его томилась.
Куда пойти?
Он вспоминал — куда.
Решительно, звезда его затмилась!

Горбун-шарманщик с самого утра
крутил свою шарманку в том подвале,
где шла игра, кутили шулера,
но в долг опохмеляться не давали.

Он вслушивался: песня хороша!
И боль свежа, и сердце благородно.
И — будь там что угодно, а душа
доверчива должна быть и свободна.

Он — не цифирь! Он — вольный человек!
Он — веянье! По гегелевской схеме —
чистейший вздор.
Он в этот жалкий век
не хочет быть ни с этими, ни с теми.

Пускай Дудышкин, метя в эмпирей,
ученую затеет перебранку.
Но чем тянуть волынку, ей-же-ей,
не лучше ль вспомнить старую шарманку!

Давай, умри, шарманщик, но играй —
потрафь пропащим пьяницам и нищим!
Замри,
замри,
замри, вороний грай,
над крепостью, над Волковым кладбищем!

Еще не все! Владеющий пером,
просящему — без тени униженья —
за двадцать пять копеек серебром
еще он может сочинить прошенье!

Еще он тверд — с родного перевесть
на их — на петербуржский,
на воловий,
что можно в этой крайности и счесть
за первый шаг к слиянию сословий.

Николай Глазков

МЛАДШИЙ БРАТ

Я в детстве бросил рисовать.
Кто в этом виноват?
Хочу виновника назвать:
Мой милый младший брат.

Меня он равно превзошел:
Похоже,— значит, хорошо
Свой собственный портрет
Набрасывал карандашом.
А я так мог? Нет, нет!

Посредственные, не скорбя,
Свои рисунки сжег,
А старшеклассного себя
Легко утешить смог:

Мой брат рисует лучше пусть,
Рисунки — пустяки,
А у меня отличный вкус,
И я пишу стихи.

В искусстве — так казалось мне —
Я больше понимал.
Мне нравились Мане, Моне,
Гоген и Ренуар.

Мой брат поздней меня узнал
Про то, кем был Ван Гог,
Но постоянно рисовал —
Художником стать мог.

И мог в Манеже выставлять
Он свой автопортрет
И мог еще известней стать,
Чем я теперь поэт.

Печальным словом помяну
Года больших утрат:
В Отечественную войну
Погиб мой младший брат.

НАЧАЛО РУСИ

Русь — Градарик, городов гряда —
Так со шведского переводили,
Чепуху при этом городили,
Зря притягивали города.
Потому я утверждать берусь,
Что потуги лженауки жалки,
А загадочное слово «Русь»
Происходит от речной русалки!

Русский человек, живя в лесу,
Лес любил, конечно, но не очень:
То медведь вдруг задирал козу,
То коня терзала стая волчья.
И, живя в степи, любить не мог
Русский человек степей широких:
По степям то Запад, то Восток
Посылали недругов жестоких!..

Но отлично русский человек
Понимал, что вольность там, где волны,
И к русалочьим просторам рек
Относился нежно и любовно.
Превосходно веслами владел,
Проходил под парусом прекрасно,
Потому что только на воде
Чувствовал себя он безопасно,
Потому что разгонялась грусть
На роскошной утренней рыбалке,
Потому что расцветала Русь
Только там, где плавали русалки!

Татьяна Глушкова

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕТО 1946 ГОДА

А ты, бессмертная душа,
которая со мной летала,
которая меня свистала
в отчизну... Дай-ка не спеша
пройдем с тобой негорделиво
туда, где стелется лопух,
и город мертв, и ветер сух,
и, так сильна, неприхотлива,
черносмородиновый дух
плодит цветущая крапива;
где я — одна, как перст одна,
и, от земли едва видна,
недетской предана недоле,
и горстью желтого пшена,
в чужом несомого подоле,
как золотом, оделена.
Но степь, но выжженное поле
ложатся в душу поневоле,
а за плечом уже — война
великая... Мне не под силу
оплакать братскую могилу,
и я от памяти вольна...

Простор медлительного сна...
Огня иль музыки мерцанье?..
Не тем ли, кстати, спасена,
что досыта погружена
в забывчивое созерцанье?..

Еще мне выпадет — служить
утешливым, печальным звукам,
еще мне выпадет — сложить
слова забытые друг с другом
и с удивленьем и испугом
бедою старой дорожить.

Хороним, что ли, воробья? —
какая тишь!.. Какая мука —
та добровольная разлука,
которую узна́ю я!
Поди ж, умеют ведь другие:
на юг, на север ли спешат!..
Но если: что ни камень — брат?..
Застенчивая ностальгия,
о ней молчаньем говорят.

... Ну, а покуда, а покуда —
на свалке битая посуда
цветет: над розой мотылек
кружит на радужном осколке;
фасоли гнутый стебелек,
и елки ржавые иголки,
и печи утлые чадят,
и птицы голодно кричат,
и нежный вкус вишневой смолки;
лукошко, полное котят...

Как вьюга, лошади летят!

ХОЛОДНАЯ ВЕСНА

Но это море только белизной
меня прельстило... В это время года
бескрайняя пустыня небосвода
не привлечет опасливой души
на нищий берег...
Я нашла здесь волю,
и долгое молчанье, и пучок
лучей, и белоснежный подоконник.
(Но так бывало в ясную погоду.)
И эту кромку... Отверделый снег
сверкал, как в детстве — сахар, и волна
его лизала робко, потихоньку,
отшатываясь крадучись, хитря...
Я узнавала этот голый берег.
На низких дюнах, меж сухих стволов
летали белки. Желтая синица
присвистывала. Гроздья воробьев
слетались в одичалый палисадник
и на кусте столетнего жасмина,
нахохливаясь, прогибая ветки,
покачивались, будто бы цветы.

Туманные латышские коты
моих речей почти не понимали.
Пушась своими царскими хвостами,
спешили прочь,— но можно ли винить:
у них в глазах всегда стояла грёза.

Я привыкала к очертаньям сосен —
корявых, с мелкой хвоей набекрень.
И временами жиденький пейзаж
с изломанным, томительным пареньем
взметенной кроны — мука простоты!
усилье смертное! божественная скудость! —
горчил японской тушью. В небесах
текли тогда лазурные знамена.

Прозрачный отблеск утреннего моря
был сизо-голубиным... Красных верб
кошачий, заячий, жемчужный мех
уже весну насказывал природе.
Но море, море — в белых хлопьях чаек —
едва звучало... Только по ночам

сквозь темный рокот напряженной хвои
взывал ко мне его огромный голос —
и мне тогда казалось: все железо,
все продырявленные кровли мира,
затерянного в этом влажном мраке,
здесь громыхают, под моим окном.

И я подолгу вглядывалась в море.
И выплывал навстречу Гетеборг,
туманы, скалы, льдистые фиорды,
пожухлый вереск,— Северной Европы
рассветное седое молоко...

Туда! Туда!.. В медлительные страны,
где острым солнцем плещется форель,
где век еще нисколько не в разгаре,
где лейтенант безумный околдован
девчонкой долговязою — Эдва́рдой,
чье имя, как эпическая песня,
звенит, как дивной страсти тетива.

Но ты, любимый?..
«Светлая земля
твои шаги навеки сохранила...»
Так я во тьме когда-то говорила.
Так повторю. Теперь не пла̀чу я.

Туда! Туда!
Путивльская стена
и так влажна! И разве что̀ добавлю
к ее песку?..
Измученные камни
молчат. А белокурое пространство
бьет в бубны, раздувает паруса...
Туда! туда!.. Но мне опять желанней
остаться здесь — умершей, позабытой,
чем там — беспечной, гордой, молодой.

Моя любовь не стала бы напрасней,
моя печаль не стала б молчаливей,
когда б з е м л я осталась з а х о л м о м.

Мне предстоит еще седая старость
и труд, веселый, одинокий, страшный,—
я не желала бы от этой чаши
уйти, хотя б и в трещинах она.

И то движенье сумрачное вспять —
за днем грядущим, сном позавчерашним,
и тот вокзал, где мартовская слякоть
и где цыганка в белых башмаках,
с монистами и опустелой грудью,
где криком воет музыка слепая,
а зеркальце оклеено бумагой,—

мне предстоит...
Но лучше промолчать.

Андрей Дементьев

СТАРЫЙ КРЫМ

Марине

Мы приехали не вовремя.
Домик Грина на замке.
Раскричались что-то вороны
на зеленом сквозняке.

Домик Грина в тишине.
Я смотрю поверх калитки.
И почудилась в окне
мне печаль его улыбки.

Нас к нему не допускают.
Нас от Грина сторожат.
И ограда зубы скалит,
точно сорок лет назад.

Но спасибо добрым людям.
Снят замок, открыта дверь.
Не одни мы Грина любим.
Как тогда, так и теперь.

Мы заходим в домик низкий,
в эту бедность и покой.
Свечи, словно обелиски,
над оборванной строкой.

Мимо скатертей крахмальных,
сквозь нужду и тишину
мы несем в сердцах печальных
перед ним свою вину.

Всюду даты и цитаты.
Не исправить ничего.
Все мы горько виноваты
перед памятью его.

И за то, что прожил мало.
И за то, что бедно жил.
И за то, что парус алый
не всегда нам виден был.

СЕНТЯБРЬ

Андрею Вознесенскому

Нет ничего прекрасней
русской осени,
когда сентябрь и солнечен и тих.
Давно скворцы свои дома забросили
и где-то с грустью вспоминают их.

Проходит осень тихо по земле.
Кружатся листья, как воспоминанья.
Как искры в остывающей золе,
мерцают звезды...
Тускло их мерцанье.

Ах, все пройдет —
жалей иль не жалей.
Все превратится в памятную небыль:
и это одиночество полей,
и тишина покинутого неба.

От злых ветров бросает речку в дрожь.
И в стаю сбились лодки на причале.
И только лес божественно хорош
в цветах любви, надежды и печали.

* * *

Давай помолчим.
Мы так долго не виделись.
Какие прекрасные сумерки выдались.
И все позабылось, что помнить не хочется:
обиды твои и мое одиночество.
Давай помолчим.
Мы так долго не виделись.
Но все эти годы я был твоим витязем.
Душа моя — как холостяцкая комната:
ни смехов твоих в ней,
ни детского гомона.

Завалена книгами площадь жилищная.
Как сердце — словами.
Теперь уже лишними.
Ах, эти слова! Будто листья опавшие.
И слезы, на целую жизнь опоздавшие.
Не плачь.
У нас встреча с тобой, а не проводы.
Мы снова сегодня наивны и молоды.

Давай помолчим.
Мы так долго не виделись.
Какие прекрасные сумерки выдались.

ПРИЗНАНИЕ ДРУГА

Ушла любовь.
А мне не верится.
Неужто вправду целый век
она была моею пленницей.
И вот решилась на побег.

А ты как будто не заметила,
что нас оставила любовь.

Ты лишь с ответом чуть замедлила,
когда о ней спросил я вновь.

Ушла любовь, забрав с собою
и грустный вздох, и нежный взгляд.
В душе так пусто, как в соборе,
когда в нем овощи хранят.

* * *

Нас лыжня из леса вывела
в этот полдень — белый, робкий.
Будто бы нежданно вынула
нас из елочной коробки.

Будто мы проснулись рано,
вновь разбуженные счастьем.
И гадала нам поляна
на своем снегу блестящем:

Эти линии и крестики
нам дорогу обещали.
Было радостно нам вместе,
словно жизнь еще в начале.

Но с дощечки полудревней
вдруг узнали, смущены,
мы название деревни,
что была здесь до войны.

Олег Дмитриев

ВАНЯ КУРСКИЙ

Памяти Петра Алейникова

Вот так — по-московски
Слова говоря нараспев,
Без той папироски
Товарищи шли на расстрел.

С такой же печалью
На бледном, на узком лице
Рассветы встречали,
Заняв рубежи на Донце.

Вот так же, пристроив
Пленительный чубчик на лбу,
Не числясь в героях,
Встречали беду и судьбу.

С такой же улыбкой,
С упрямым мальчишеским ртом
Европе великой
Вернули свободу потом.

Вот так же в смущенье
Они говорить не могли,
Когда в восхищенье
Глядело на них пол-Земли.

С таким же подвохом,
С приятным не всем юморком,
Причастны к эпохам,
Шли снова своим городком,—

Как тот —
Моложавый,
Кому похвалы не нужны,
Любимец державы
За год или два до войны...

* * *

Вот встретились в небе над веткой
Бездушный свинцовый комок
И сердце за хрупкою клеткой,—
Ты счастлив, умелый стрелок.

И птица не спросит, не спросит,
Зачем ее жизнь коротка,
Когда ее тельце отбросит
Твоя удалая рука.

Ты снова, прищурившись, метишь,
Без промаха бьешь в высоту,
И сам-то едва ли ответишь,
Зачем ее так — на лету...

Да, если бы птицы не пели,
То — хочешь, не хочешь ли знать —
Едва ль у твоей колыбели
Певала бы добрая мать.

* * *

Старикам остаются закаты.
Смотрят пристально в алую высь,
Словно в летнее небо куда-то
Молодые от них подались.

Раз в году, а бывает, и чаще,
С непокрытой седой головой
Поглядят они вслед уходящим,
Уезжающим на легковой.

И сидят как восточные бонзы,
Не меняя единственной позы —
Чуть подавшись спиною назад.

Лица, словно отлиты из бронзы,
Отражают далекий закат.

Коль на холм заберется дорога,
Может, высмотрит взгляд молодой,
Как сидят старики у порога,
Освещенные теплой зарей.

Жизнь кончается. День на исходе.
Но прекрасна вечерняя даль:
Столько милости в сельской природе,
Что на сердце не давит печаль.

* * *

Остатки стен и ржавые каркасы
Над россыпями щебня и стекла
Ребята видят по дороге в классы.
А здесь недавно улица жила...

Им некогда смотреть за огражденья,
Ушедшей жизни слушать голоса,
Стремительным, привыкшим от рожденья
К строеньям, уходящим в небеса!

Квартал был двухэтажным, шумным,
длинным.
Да вот ведь —
Не успел и помереть,
Как юность, равнодушная к руинам,
Его спешит из памяти стереть.

Что мальчику в домишке деревянном?
Что девочке во дворике сыром,
Заросшем лебедою и бурьяном?
Что завтра горевать над пустырем?

И светел лик, и голос беспечален,
И радостны движенья малыша!
Над сумрачными душами развалин
Звенит его веселая душа.

Во всем он прав. Ему какое дело,
Что ветер паклю рвет из стен седых,
Что чье-то детство быстро пролетело
В домишках жалких, в двориках сырых!

Мои печали — не его забота.
Рассеянно гляжу вослед ему
До самого угла, до поворота.
Да нет, он не оглянется.
К чему?

* * *

Все удавалось,
Все сбывалось,
Все делалось само собой!
Еще неделя оставалась...
Счастливые, наперебой
Мы повторяли:
«Сказка, диво!»,
«Так не бывает... Это сон!»
Цветущие миндаль и слива
Тянулись к нам со всех сторон.
Удача в руки к нам летела!
Я жил, лукавя и шутя.
Ты на меня порой глядела,
Как на отца глядит дитя:
Ну, словно я — волшебник добрый,
И все умею, все могу
С тех пор, как осторожно обнял
Тебя на этом берегу!
Могла ты спрашивать без счета —
Так были для тебя странны
Моя судьба, моя работа,
Любовь к обломкам старины.
Мелькали залы и причалы,
Дорога лезла в облака,
И в нашем сердце для печали
Не оставалось уголка!
Ты говорила мне у моря,
Даря прощальный поцелуй:
— Мой милый, ты не знаешь горя!
— Да знаю, знаю.
Не горюй.

Евгений Евтушенко

С КРЫШИ КамАЗа

«Зачислить товарища Сальвадора Альенде почетным членом бригады плотников-бетонщиков 3-го участка с начислением ему заработной платы в фонд мира».

Приказ по СМУ № 76. Март. 1974.

Собравшие крышу КамАЗа
семьдесят национальностей,
вы крепко наобнимались
и крепко нацеловались там.
С торчащей из ватника «чачей»,
стуча сапогами резиновыми,
на крыше грузин вылезгинивал
с прицокиваниями невыразимыми.
И парень в треухе заячьем
упал, отплясав «цыганочку»,
пытаясь обнять, играючи,
крышу, как великаночку.
А вас одарила свободою,
кусками пространство расшвыривая,
вами самими сработанная
новая крыша мира?
А вы планету увидели,
выпятившуюся выпукло,
как будто ее только-только
рассветное солнце выпекло?
Увидели, как Фудзияма дымит,
увидели, как Гудзон течет
в громадном, вами отгроханном,
грохочущем горизонтище?
А вы захлебнулись далью,
а в сердце у вас защемило
на крыше — ковре-самолете —
от неравнодушия к миру?
Сказал мне худой, остролицый
электромонтажник о жизни:
«Для некоторых заграница —
транзисторы,
жвачка,
джинсы.
Наденет какой-нибудь Севка
часы по фамилии «Сейко»,
прическу себе переменит
и думает, что современен.
Он шутки игривые сыпет,
и девок умеет он лапать,
а сам-то под гривою хиппи,
простите, но все-таки лапоть.
Скрывая, что родом из Шуи,
он газовым «Ронсоном» щелкнет,
но в разных веках существуют
такой «пролетарий» и Фолкнер.
(Я книжник,
Здесь трудно быть книжником,
как будто в Сахаре быть лыжником,
но мы кое-что добываем —
не только «козла» забиваем.)
В общагах гитарами тенькая,
нельзя забывать, что мы дети
всемирной культуры и техники,
и мы не одни на планете.
Планета здесь вся ощутима.
Три ночи зубами я клацал
и бился, обросший щетиной,
над схемою фирмы «Камацу».
Красивая красная шапка,
к рукам прикасаясь шершаво,
японскими вишнями пахла
и по-человечьи дышала.
И вдруг я все понял и вздрогнул,
подумав о чистом и вечном,
и стал мне любой иероглиф
живым и родным человечком.

Под вежливой черною тушью,
под линиями и значками
увидел я неравнодушье
к далеким рабочим на Каме.
Японец тот был озабочен,
чтоб техника дух не коверкала,
чтоб мыслил свободно рабочий,
а не был придатком конвейера.
Тут дело не в низкопоклонстве,
когда, возвращаясь сквозь слякоть,
я думал об этом японце
и так с ним хотел покалякать.
Мне было бы, право, нетрудно
с японцем таким породниться.
Душа иностранца, но друга.
Но разве она — заграница?
Есть все-таки тайные токи
во всем человечестве, если
ко мне прилетели из Токио
мои воплощенные мысли.
И над равнодушьем всемирным,
столбы пограничные руша,
есть все-таки тайная фирма
всемирного неравнодушья...»

И вынул монтажник лукаво
с улыбкой такою веселой
двухтомник Акутагавы:

«Вникаю...
Сменял на «Спидолу»... —
Потом он согнал улыбку: —
Не пью.
Вот читаю — запойно...—
и вновь закурил свою «Шипку»,
с которой ему неспокойно.—
Но часто я вижу с тоскою,
что, нас растлевая бездушно,
есть неравнодушье такое,
которое лишь показушно.
У нас на КамАЗе есть Эдик.
Громит, шевелюру взъерошив,
агрессоров тех или этих
и прочих людей нехороших.
Он бледен, как будто изгрызен,
истерзан, бедняга, вконец
расизмом,
абстракционизмом,
а сам он —
абстрактный борец.
Грызет его Санта-Доминго
и в Чили переворот,
а собственная подлинка
чего-то его не грызет.
Он так возмущен Гватемалой
и лондонским грабежом.
Бесстрашный борец этот малый —
но только за рубежом.
Наверно, таким он родился,
как международный пророк.
Когда наш товарищ разбился,
он деньги зажал на венок.
Сплошные приписки в «нарядах»,
жену свою бедную бьет.
Забота о стольких народах
быть добрым ему не дает...»

Сжал зубы монтажник со скрипом.
Пошли желваки ходуном:
«Нельзя доверять этим типам
заботу о шаре земном.
Товарищи шутят:
«Ты, парень,
безмаузерный комиссар,
Ты шаром земным был ударен...»
Согласен. Тяжеленький шар.
Но это совсем не в легенде:
мерцая седой головой,
бетонщик товарищ Альенде
идет по КамАЗу, как свой.

Мы с ним говорим без подсказки,
и странного нет ничего,
что стала рабочею каской
солдатская каска его.

Он в ней во дворце Ла Монеда
сражался в последний свой час.
Таким его помнит планета.
Таким его принял КамАЗ.

Хочу, чтобы мы научили
себя, как и должно борцам,
и неравнодушию к Чили
и к собственным подлецам.

Я верю, как в наше оружье,
которым народы сильны,
в атлантово неравнодушье
рабочего класса страны...»

Он встал над землею державы,
увидев Урал и Байкал,
и книжкою Акутагавы
Японии он помахал...

Евгений Елисеев

СТАРЫЕ ИСТИНЫ

Жухлыми листьями, мертвыми
листьями
с веток срываются старые истины,
старые истины — на перегной.
Скоро откроются новые истины,
что-то свершается в глуби земной.

Силы природы мудры и таинственны,
но появляются снова на свет,
вновь пробиваются старые истины,
старые истины — сносу им нет!..

* * *

День настоян на горьком опыте,
и не надо больше гадать,
кто там водится в тихом омуте,
как обманчивы тишь да гладь.

А ведь я тебе верил,
так верил тебе!
Я тоскую, как ветер
в печной трубе,
задыхаясь в дыму и копоти.

День настоян на горьком опыте.
Горький опыт? А вы не охайте!
Вы спросите хоть у меня:
горький опыт —
то же лекарство,
даже Овод
не зарекался,
он полезен и для слепня.

ИСКРА БОЖЬЯ

Идти в искусство —
не в лес по грибы,
идти в искусство —
значит, в рабы!
Не выдержал искуса,
бежал с галер
искусства
и погорел.

Ох уж это искусство,
чтоб ему было пусто!
Все в догадках —
а поди докажи!
Пень в поганках?
А по-моему, Кижи!

Малиновый татарник
и шубка шмеля?
Мюрид и напарник
имама Шамиля.

Больше риску,
исканья,
божью искру —
из камня
тех вершин недоступных,
как Роден или Шадр,
чей булыжник, как спутник,
облетел земной шар.

ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Сердце, сердце, потерпи
взаперти!
Не гуди, башка контуженая!
Нам бы только это поле перейти —
и вповалку бы, не ужиная.
Поле, русское поле —
русская боль!
Господи, твоя воля!
Хоть башкой футболь,
хоть секи руки-ноги,
больше не могу.
Сейчас у дороги
свалюсь в снегу.
Губами без звука
про себя молюсь —
ракушка, беззубка,
презренный моллюск!
Трудно в походе,
а мне хуже всех.

Как соль к погоде,
стал мокрый снег.
Я в валенках буксую,
изнемогаю в нем.
И пятку босую
мне жжет огнем.

Если б ты видела!
Равнина без конца,
где намело, где выдуло,
снег пресный, как маца.
Движемся повзводно,
раз такой приказ.
Ветрено и звездно.
Никаких прикрас.
Поле и трупы.
В жизнь не перейти.

Тропы мои, тропы!
Образы?.. Пути?..

Виктор Есипов

* * *

Теперь с трудом припоминаю
Ушедший в прошлое маршрут,
Как от Каляевской трамваи
На площадь Пушкина бегут.

Дрожит вагонная площадка,
Гудит Садовое кольцо,
И замирает сердце сладко
От ветра, бьющего в лицо.

Или, к стеклу прижавшись носом,
Слежу за новизною мест...
Поездки первые без спроса
И без билета на проезд!

Гремел трамвай. А предстояло
Постичь на опыте своем
Огни и мрак ночных вокзалов.
Но это все потом, потом!

* * *

Ах, домик двухэтажный,
Забытые печали!
Меня здесь не однажды
Приветливо встречали.

С меня снимали куртку,
Со мною говорили,
Подбадривали шуткой
И в комнату вводили.

Как выглядел я глупо,
Смущаясь понапрасну.
Сидел, забившись в угол,
Насупленный и красный.

Смущался так нелепо
В разгаре разговора
И комкал два билета
В кинотеатр «Форум»..

Куда же, словно тени,
Уходят годы наши?..
Скрипучие ступени,
Те лестничные марши!

* * *

Деревня, кажется, Сущево —
Туман да ивы у реки.
О, речи дедовской основа!
Попробуй лучше нареки!

Ведь как ни дорог город гулкий,
Досуг столичный и уют —
Нас эти тихие проулки
Сильнее с возрастом влекут...

Дощатый мостик гнил и узок —
Ручей форсируем пешком,
Еще одной машины кузов
Туман скрывает за кустом.

Траву сминая сапогами,
Еще не вникнув в сущность мест,
Идем за белыми грибами —
Их, говорят, полно окрест!

На грани ночи и рассвета,
Когда ни шороха в кустах,
Скользит сигнальною ракетой
Зеленоватая звезда.

Анатолий Жигулин

СЛУЖБА В АВИАЦИИ

За короткую службу свою
В авиации нашей военной
Не был я ни в едином бою,
Не исследовал тайны Вселенной.

На зеленом на старом «ЛИ-2»
И немного на «Ил-28»
Полетал, как дневная сова,
Над вершинами елей и сосен.

Над квадратами ржавых полей,
Над мельканьем оврагов и пашен —
Выше труб, облаков, журавлей,
Выше самых больших телебашен.

И качалась, суглинком пыля,
С золотыми от света лесами
Дорогая до боли земля
С тополями, дождями, слезами...

По сигналу срываясь чуть свет,
Думал я в той небесной дороге,
Что, быть может, и разницы нет
В боевой и учебной тревоге.

И качался простор впереди —
Необычно, зовуще и пусто.
И щемило и пело в груди
Незнакомое сладкое чувство.

* * *

Родина! Белый туман
В черном логу под горою...
Не позабуду, не скрою
Боли, тревоги и ран.

Но в невеселом пути,
В жизни, несущейся скоро,
Ты мне — любовь и опора,
Вечная радость в груди.

Этой тропой из села
К этой дороге чугунной
Матерью нежной и юной
Ты меня в детстве вела.

Каждой зимой и весной
Речкой, прозрачной и чистой,
Ивой, сухой, желтолистой,—
Всюду ты рядом со мной...

От навесного огня
Этой заросшей канавой,
Глиной холодной и ржавой
Ты укрывала меня.

В годы печали и зла
Ты обо мне не забыла.
Поле мое сохранила,
Душу мою сберегла.

Все, чем живу и дышу,
Знаю, а может, не знаю —
Только тебе доверяю,
Только тебе расскажу.

* * *

Послевоенный майский праздник.
Веселый трепет кумача.
И от развалин дымно-красных
Холодный отсвет кирпича.

И солнцем улицы залиты,
Толпой ликующих людей.
Солдаты, вдовы, инвалиды...
Худые личики детей.

Почти забывшаяся горесть.
И ветер вспаханных полей.
И свежая густая поросль
От обгорелых тополей.

Фанфар нестройное звучанье
В лучах нежаркого тепла —
О радости,
Об окончанье
Насилья, ненависти, зла.

И над разбитыми домами,
И над уставшими людьми —
Победой поднятое знамя
Как обещание Любви.

* * *

Цветок земляники в конце сентября
В бору у холодного моря.
И синий вдали силуэт корабля —
Рыбачьего сейнера, что ли?..

Вернусь ли когда-нибудь
Снова сюда,
На этот обветренный берег,
Где горько-соленая помнит вода
О давних
И новых потерях?..

Какая забота:
Вернусь, не вернусь,
Увижусь ли снова с тобою?!
Останется в памяти
Вяжущий вкус
Шумящего в пене прибоя.
И этот кораблик
В седой синеве,
И эти закатные блики.
И тот одинокий
В холодной траве
Осенний цветок земляники.

* * *

Белый мост у Беговой.
Блестки белые кружатся.
И дрожащий голос твой,
Что уже пора прощаться.

Что бежать тебе пора —
Мимо лип и гастронома.
Что опасная игра —
Расставанья возле дома.

Возле дома твоего.
Он вдали —
Такой огромный.
Там не знают ничего
О любви твоей
Бездомной.

О снежинке в волосах,
О нечаянном ненастье.
О запрятанном в глазах
Ненадежном
Кратком счастье...

Помоги ты мне,
Господь,
Не солгать и не обидеть!
Укротить и дух, и плоть,
Но во сне хотя бы видеть —
Этот снег на Беговой,
Это белое круженье.
И любви еще живой
Продолженье, продолженье...

* * *

Игрушечной нашей любви
Слегка не хватало печали...
И синие чайки кричали
И сонные сосны качали
Над нами вершины свои...

А впрочем, была и печаль —
Как это притихшее море,
Как музыка
В Домском соборе,
Когда забывается горе
И кажется:
Жизни не жаль.

А после
Была и тоска —
Глухая, как поздняя осень,
Когда необуздан и грозен
Прибой из волны и песка.

А что еще нужно душе?
— Немного любви
И тревоги,
Немного листвы на дороге
И ветра в сухом камыше.

Но главное — эта печаль,
Как тихое, кроткое море,
Как музыка
В Домском соборе,
Когда забывается горе
И кажется:
Жизни не жаль.

* * *

Закончилось наше прекрасное лето.
Закончилась наша прекрасная осень.
Холодного чистого зимнего света
Полна тишина
Над вершинами сосен.

И замерла флюгера черная стрелка.
И в дюнах пустынных —
Раздолье воронам...
И наша любовь,
Как озябшая белка,
Ушла, ускакала
По розовым кронам...

Тамара Жирмунская

НОВОСЕЛЬЕ

Переехала в новый район...
Эка невидаль! Есть чем гордиться!
Раньше видела Кремль из окон,
а теперь овощные теплицы.

Раньше соли назначенный пуд
с дорогими соседями ела.
А теперь где стучат, где орут,
где танцуют — какое мне дело!

Идеальной не жду тишины.
Лист фанеры — бетонные плиты.
Общежитием закалены
мои нервы, а может, убиты.

Обнаженный, распахнутый вид,
нестесняемый ветер весенний.
Сколько в жизни еще предстоит
новоселий, везений, веселий?

Слева высится башенный кран,
справа тянется лужа за лужей.
Новоселье... Не самообман?
Не одна из привычных иллюзий?

Колеи своей не одолеть,
колеи или узкоколейки,
мир — долготно-широтная сеть,
я все в той же прозрачной ячейке.

Все равно ощущенье рывка.
В новом качестве я существую.
Жизнь сурова, сложна, коротка.
Но спасибо и за такую.

* * *

Год смерти мамы — новоселья год.
Семь лет квартиры ждали — срок немалый.
Все наконец-то есть. Недостает
лишь мамы.

Зачем мне три окна, глядящие черно,
когда домой иду устало?
Ведь было у меня всего одно окно,
но в нем она стояла.

Зачем мне телефон? «Так быстро? Повезло!» —
твердит коммуникабельный товарищ.
Никто не скажет в трубку мне: — Алло,
где, дочка, пропадаешь?

Зачем мне телевизор? Тридцать пять
на пятьдесят — что проку в том экране?
Никто за ним не будет коротать
минуты ожиданья.

Пуста квартира, все в ней «на авось».
Нет ничего живого, как в пустыне.
И сколько бы людей в ней ни толклось,
она необитаема отныне.

* * *

Знаешь, я все время слышу
колокольчик расставанья.
То он громче, то он тише,
но звенит, как в наказанье...
В нашем новеньком районе,
где кино близ ресторана,
где о колокольном звоне
и подумать было б странно,
где открытые пространства,
запах аэровокзала,
где, старайся не старайся,
все равно уюта мало,—
как три выигрышных карты,
три квадратика над крышей,
три летательных снаряда
на пути к луне и выше...
Мы теперь не помним сами,
как умели мы с тобою
застеклить наш дом слезами,
а потом согреть любовью.
Ни один из мудрых зодчих
не слепил такого зданья.
Но трезвонит колокольчик,
колокольчик расставанья.

Леонид Завальнюк

УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ

Повий витре на Вкраину,
Де покынув я дивчину,
Де покынув кари очи...

Как два врага, глаза в глаза,
Ах, как мы пели! Как мы пели!
На выходе из мертвой петли
Сходились наши голоса.
Да! Мы оттуда. Наша кровь
Не так уж сильно изменилась.
Любовь к Днепру? Скажи на милость!..
Но это все-таки любовь.
Но это вот и есть она,
Когда слова как жернова,
Когда души тяжелым жаром
Ты раздвигаешь неба тишь
И словно за воздушным шаром
За головой своей летишь.
Мелькают лица, земли, страны
В невозвратимом далеке,
И страшные, как тараканы,
Сползают слезы по щеке.

КОТ

Уставив на меня холодные шары,
Кот что-то из себя воображает.
То прыгнет на кровать, то лапой по столу пошарит.
Он хочет поиграть. Но он взрослей игры,
И это вводит в грусть и раздражает.
Большой и серый, как помойное ведро,
С слоновьей грацией, с рассудочным кокетством
Он делает все то, что сам я делал в детстве,
Стараясь победить свое не детское нутро.
Я помню лет так в пять иль шесть,
Когда я отдан был в детсад,
Я понял не умом, а жаждой быть пригретым,
Что взрослые за ласки и конфеты
Чего-то требуют смешного от ребят.
Что надо кувыркаться иль орать...

И вот, пытаясь подражать счастливым,
Я стал кривляться и слова перевирать.
Я помню, очень огорчалась мать,
Все спрашивала, силилась понять,
С чего я стал таким несносно суетливым.

Сейчас бы я сказал, да некому, увы,
Мать померла, и умер странный тот мужчина,
Что обратился как-то вдруг ко мне на «вы»
И так сказал:

«Вам хочется халвы, мой жалкий друг?
И в этом вся причина?
Вы отвратительны в кривлянии своем.
Давай-ка лучше выпьем да споем...»
И, глядя с жестким, трезвым отрешеньем
На мой еще кривляющийся лик,
Издал он пьяным сердцем одинокий крик,
В котором были жалость, боль и отвращенье.

Я, кот, люблю тебя.
Но я бы тоже спел,
Как тот двойник мой с яростью утробной,
Чтоб вырвать все конфеты, что когда-то съел,
С куском души своей, на игры не способной.

Натан Злотников

* * *

Взмахнет капельмейстер рукою,
И грянет оркестр полковой.
Зачем же ты смотришь с тоскою?
Ведь я молодой и живой!

Старинные вальсы и марши
Над сомкнутым строем летят.
Все дальше, и дальше, и дальше
За детской слезою твой взгляд.

Все дальше тот шарик воздушный,
Взлетевший над редкой толпой,
Все дальше тот возраст послушный,
Тот шепот, последний такой!..

То выше тот шарик, то ниже,
Покорен судьбе неземной,
По взрослому небу все ближе
Летает, летает за мной.

Чтоб снова ты вдруг да воскресла
Пред строем веселых солдат,
Чтоб гром полкового оркестра
Казался сильнее утрат...

Ты скоро полюбишь другого.
Я писем твоих не отдам.
Плачь, милая! Что тут такого?
Лишь шарик летит по пятам.

За медленным эшелоном,
За быстрой и грозной судьбой...
Плачь, милая! Не суждено нам...
Играет оркестр полковой.

* * *

Небо моей земли
С облаком над дорогой,
С черною птицей вдали,
С песнею одинокой.

Облако стало редеть,
Все истончаясь, как пряжа,
С глаз пропадать, чтобы впредь
Снегом вернулась пропажа.

Может быть, я лишь один,
Может быть, ты лишь повинна
В том, что вдоль этих низин
Тонко блестит паутина?

Птица крылом повела,
Словно плечом недотрога,
Перьев косматая мгла
Вспыхнула, будто тревога.

Прянула вниз сгоряча...
Грудь о стерню уколола...
Охнула... Вверх, как свеча,
Взмыла с сырого подзола...

Песня осталась одна,
Песня одна лишь осталась.
Эту дорогу до дна
Вычерпает усталость.

Песня — залетный мотив,
Звук, хоть и слаб, не натужен.
Вот чем на свете я жив,
Вот где я счастлив и нужен!

Небо моей земли
С облаком над дорогой,
С черною птицей вдали,
С песнею одинокой.

НОЧНЫЕ КАЧЕЛИ

Скрипели натужно качели.
Сначала лететь не хотели.
Но с каждым веселым толчком
Все круче вздымали бочком.
Они забирали все круче —
И стало нам легче и лучше.
Зеленая в небе звезда
Качалась туда и сюда.

Доска и железные тяги
Несли нас в сыром полумраке
На эту, как видно, звезду,—
Лишь дух замирал на лету.
Ну что ты? Не бойся, не бойся!
Ты любишь?.. А это геройство!..
Все то, что обоих нас ждет,
Короче, чем этот полет.

Остались поля и овраги
Внизу, и завод, и бараки,
И трудная жизнь той поры,
Где молоды мы и добры.

Лишь ветер свистает зловеще
Да бедное платье трепещет,
Лишь холод пронзает насквозь —
Мы вместе, и все же мы врозь.
Мы вместе, как легкие птицы
Летящей на север станицы,
Мы врозь: ведь пустячной игрой
Не вправе нарушить весь строй.

Но все же свой шаг бесполезный
Я сделал над темною бездной,
И в грохоте ветра и крыл
Тебя я навеки забыл.
Там, где ты стояла у края,
Дымила звезда, догорая
Зеленым незрелым огнем.
Я понял: мы порознь умрем.

Я раньше... Ночные качели
Ты вспомнишь тогда: «Неужели?..»
И рухнешь, ломая крыло.
Но все наше время прошло.

ДОЖДЬ В ОСТАНКИНЕ

Наши судьбы скрестились некстати,
И душа не спешит рисковать...
Заведу я большие тетради,
Стану лица твои рисовать.

Нарисую деревья, и башню,
И останкинские пруды
С нашей быстрою тенью вчерашней,
С поцелуем над кромкой воды.

В электрическом шорохе листьев
Оживает разряд грозовой,
И порыв твой безумен, неистов,
И немыслим твой взор роковой.

Словно искры в пролете литейки,
Где я был молодым и другим,
Сыплет дождь золотые копейки
К белым ноженькам дорогим.

Ах, не будет ни краше, ни лучше!
Дождь июльский закончит полет,
И волос твоих черная туча
Быстро в небе моем проплывет...

Виктор Завадский

ПАРОДИИ

МАТУШКИ-БАТЮШКИ

Юные, старые, юноши, девушки,
Матушки, детушки, бабушки, дедушки...
— Это все — люди!..
Все они дороги. Все они — любы...

(Михаил Львов)

Милушки-пахарюшки, хлеборобушки,
Животноводушки и птицеводушки,
Плотнички, каменщички и шахтерушки,
Душечки-слесарюшки и вахтерушки,
Лирички, физички и инженерушки,
Пенсионерушки и пионерушки,
Матушки, батюшки, бабушки, дедушки,
Тетечки, дядечки, лапушки-детушки,
Сыночки, доченьки, внучки, внученьки,
Оченьки, ушеньки, ноженьки, рученьки,
Оленьки, Коленьки, Леночки, Людочки —
Все — человечки это! Все — людечки!

В ЖИЗНЬ ИНУЮ!

Лает собака с балкона,
С девятого этажа.
Странно и беспокойно
Вдруг встрепенулась душа.
Что ты там лаешь, собака?..

(Анатолий Жигулин)

Лает собака с балкона.
Надо ее поддержать.
Нету такого закона,
Чтобы собак обижать!

Тошно ей там. Надоело!..
Кошку куснуть — не моги!
И даже малое дело
Делать ей там — не с ноги.

Песик! Ведь это знакомо,
Если подумать, и мне!
Кто-то привязан к балкону,
Кто-то, напротив, к жене...

Друг! Совмещенные блага —
Не для возвышенных душ!

Что же спасет нас, собака,
От вымирания?
Глушь!

Церкви, погосты, березы...
Бабы, сусеки, сверчки...
Тихой поэзии слезы...
Вздохи осенней тоски...

Рвущий мне сердце на части
Плач гусака на лугу...
Едем, собака, сейчас же!
Больше терпеть не могу!..

...Едем! Ну а затоскую
И на ходу соскочу —
Знай: это жизнь городскую
Допрезирать я хочу!

СЕБЯЛЮБИВОЕ

Люби себя на всякий случай.
Бывает: окружают нас
Такою ненавистью жгучей...

(Алексей Марков)

Люби жену. На всякий случай.
Свою. Чужую иногда.
А если ненавистью жгучей
Она ответит — не беда.

Возьмись любить на этот случай
Знакомых, близких и родных.
А если ненавистью жгучей
Они ответят — плюнь на них.

И приступи на этот случай
Своих читателей любить.

А если в ненависти жгучей
Они тебя приступят бить,

Попробуй жить на этот случай,
Все человечество любя.
А если с ненавистью жгучей
Пойдут народы на тебя,

Вообрази на этот случай,
Что это — твой большой успех.
И скромностью себя не мучай:
Люби себя — один за всех.

Александр Иванов

ПАРОДИЯ

ПОКАМЕСТ Я...

...мы будем жить, покамест Пушкин с нами,
мы будем жить, покамест с нами Блок.
...и нищим надо подавать,
покамест есть они на свете.

(Станислав Куняев)

Покамест Пушкин есть и Блок,
Литература нас врачует.
Литература нам не впрок,
Покамест Кобзев есть и Чуев.

Покамест все чего-то ждут,
И всяк покамест что-то ищет.
Покамест нищие живут
И на кладбище ветер свищет.

Покамест жив. А выйдет срок,
То пусть земля мне будет пухом.
И в жизни тот не одинок,
Кто уважает нищих духом.

Покамест жив, цени свой труд,
В бессмертье душу окуная...

А пародисты не умрут,
Покамест не иссяк Куняев.

Егор Исаев

ПРОДОЛЬНЫЙ ГАК

(Из поэмы «Даль памяти»)

А чуть заря —
Ох, как бы не проспать бы! —
Кому что надо и кого куда.
Кого на свадьбу,
А кого со свадьбы,
Кого — и так бывает иногда —
Под бугорок:
Прими, земля донская,
И упокой под заступом,
Сокрой.

Ну, а кого —
Страна-то вон какая! —
Прости-прощай, сторонка за рекой!
И —
Вдоль села
От всех
От колосковых
Родных полей —
В повозке на большак.
Кого с мечтой,
С путевкой от райкома,
Кого и просто
И не просто так.

По ней — вся жизнь.
Дожди ли там, сугробы,
Гроза ли, град, мосты ли, не мосты,
А хлеб вези!
И все бы
Ничего бы,
Когда б не хитрый хвостик у версты,
Когда б не гак.
Добро, когда вершковый
Добавок тот. А что как верстовой?
Про то дорога знает под подковой,
Да небо, что плывет над головой,
Да скрип колес.
Добро, когда опора
Надежная, а глазу — красота!

В такую пору,
Недоступный взору,
Он где-нибудь в принорке у крота
Лежит себе
И хитро так на солнце,
Как нет его,
Глядит одним глазком.
А как дожди — откуда что берется,—
Он шевельнется
И ползком, ползком,
Как змей магнитный, набирая силы,
В присосках весь,
Вползает в колеи
Во всю длину
проселочной
России,

И хоть ты что:
Руби его,
Коли,
Топчи его хоть до ночи —
Он стерпит,
Не прояснит размытые черты
И на одну учетную навертит
Не две, так три
Ухватистых версты,
Собьет с ноги,
По ступицу, по шкворень
Всосет,
затянет —
Жми давай плечом...

Ведь надо ж так:
Царя свели под корень,
А эту контру — темную причем —
Как ни штурмуй,
Расхлябанные хляби
Не выплеснешь вожжой из-под колес.

Приди, приди на выручку, Челябинск,
Ну, не Челябинск —
Каменщик-мороз,
Приди, приди,
Ударь кругло и звонко
С крутой подачи
северных
широт!

А то ведь вон как
Занесло трехтонку:
Не просто вкось, а задом наперед
Поставило.
Шофер, на что бедовый,
И тот
в такой
заносчивый
момент
Никак
с верстой
не справится
кондовой,
Никак она
в ученый
километр

Не лезет вот, сырая-пресырая
И верткая, как лодка на волне.
Она и так-то — с посохом — кривая,
А с гаком, брат,
Она вдвойне, втройне
Кривей себя.
Заносит, лишь бы вышло,
Куда ни шло — не хочет по прямой.
Железо рвет,
Выламывает дышла...

А как ты думал?
Гак, он, брат ты мой,
Не просто гак,
А даль в четыре дали
До наших дней
С допрежнего вчера.
Его, бывало, ямщики мотали
И не смотали. Нынче шофера
Мотают вот —
С поклажей, без поклажи —
На все колеса
Из конца в конец...

Его бы, черта, камешком с Кавказа
И —
Вдоль спины,
Да чтоб торец в торец,
Да чтоб рядком,
Да ровно чтоб,
Да чтобы
Между селом и городом как раз!
Оно бы так,
Оно бы
Хорошо бы:
Газуй, шофер!
Да, говорят, Кавказ
Не ближний свет.
И все,
Что примечталось,
Не сразу, брат, сбывается сполна.
Она ведь нам не с полочки досталась,
Родная наша, кровная страна,
А с-под огня,
С-под шомпола,
С-под пики,
С-под страшного разора-грабежа.

Давно ль, скажи, тут злобствовал
Деникин,
А там — с краев — четырнадцать держав
Давно ль, скажи,
От маковки до корня
Палили нас
И распинали нас.

А год повальный — он, учти,— неровня
Подъемному:
Фугас и есть фугас.
Он рвал и жег
И тут
и там,
Он втрое
Проворней был, чем труженик топор.
И надо было
Строить,
Строить,
Строить
И курс держать на тягловый мотор.
И надо было рублик, что по весу
Потяжелей,
И сельский трудодень
В один котел,
В Магнитку, класть,
В железо,
А ту слезу, которая кремень,—
В булат,
В броню...

Взгляни по горизонту
Туда-сюда: не так уж он и чист.

А гак, он что?
А гак, он хоть и контра,
Но никакой, конечно, не фашист,
Не самурай
И в общем-то не предок
Всех бывших тех
В кокардах и крестах.

Его б в канаву — так его раззтак!
А нет канавы — так его растак! —
В кювет его!
Авось и распрямится,
Авось, глядишь,
Отцедится в репьях...
А там —
Урал ползком на гусеницах.
А там и Харьков,
Тот, что на шипах,
А там «ЗИСы» — трехтонки бортовые,
Полуторки,
В цепях и без цепей.
А там,
как встарь,
угрюмо,
выя к вые,—
Ах, чтоб тебе! —
Все те же цоб-цобе.
А там, а там —
Все тот же конь в упряжке,
Все тот же кнут — последний разговор.
И вот он — вот! —
Как праздник под фуражкой,
На твердом километре — семафор:
Даешь простор!
И лозунг из газеты:
«Дорогу хлебу!» — строго по стене.
И хлеб идет!
В мешках

И под брезентом
И сверх того — с призывом наравне.

Идет, идет...
Сухой идет — не волглый.
И если обнаружится сырца,
Вертай назад.
А там опять же свекла.
А там, а там — опять же в два конца! —

Все тот же гак под дождиком
В бассейне
Распутицы извозно-полевой...
Но этот гак —
Продольный гак,
осенний,
А есть, брат,
Карусельно-круговой,
Метельный гак...

Римма Казакова

* * *

Шли дожди, дожди, дожди —
мокрая махина,
позади и впереди,
безысходно, длинно.

День под моросью ржавел,
прозябая праздно.
Но если кто меня жалел,
то это все напрасно.

Понимала: и следа
не оставят беды.
Поражения — всегда
лучшие победы.

Мокрой горечью дыша,
с приговором споря,
пробивала путь душа
за пределы горя.

Все бывало: плен и тлен,
кончен бой, казалось!
Но земля ее колен
сроду не касалась.

И до широты сердец
своего накала
долгоножка — молодец! —
все же доскакала.

* * *

На баррикадах любви
росковщики и барышники
и толмачи не нужны.
В ход — кирпичи и булыжники...
Только бессильны они
против огня и брони.

На баррикадах любви
драться с тобою нам выпало.
Господа не гневи,—
столько бойцов уже выбыло,
столько — получше нас! — выбило
на баррикадах любви.

На баррикадах любви
проигрыш был или выигрыш? —
враг мой, пора бы понять.

Бросишь оружие? Выпалишь?
В сердце замученном выболишь
или воскреснешь опять?

На баррикадах любви —
сколько досталось там ворону!
Даже и небо в крови.
Но — что волшебно и здорово:
мы по одну были сторону
на баррикадах любви.

На баррикадах любви
горя нам выпало мало ли?
Нас у него отними.
Голенькие, как у Маугли,
руки мои подними,
ими себя обними...
На баррикадах любви.

* * *

И не ребенок, и не муж,
ты, чье так мужественно имя,
освободи меня от мук
терзаться муками твоими.

Переменившись круто вдруг,
подобен стань великим тезкам.
Освободи меня от мук
играть в смятенье не актерском.

Освободи меня от рук
беспомощных, по-детски хилых,
освободи меня от мук
знать меру скрытых, добрых сил их.

Рванись, порви привычный круг,
привычные отторгни лица.
Освободи меня от мук
моею мукой не делиться.

Хитросплетенья всех наук
сердечной превзойди наукой.
Освободи меня от мук
не быть твоею вечной мукой.
Освободи — как косят луг,
как пламя губ после разлуки.

Освободи меня от мук
тоски по счастью — сладкой муке.

С надеждой этой совпади
всем, что сегодня тускло, туго.
Освободи, освободи
себя, меня, нас друг для друга!

Освободи меня от мук
не жить, не быть, а слыть, казаться,
единственных на свете рук
строкой, а не рукой касаться.

Всем братством общего пути,
всем рабством страсти, плен мой, муж мой,
освободи, освободи
от мук свободы никчемушной!

От дней, где — так, житье-бытье,
где пусто, как пуста скворечня,—
зеленоглазое мое,
любимое Замоскворечье!

А я за все тебе воздам,
любя — батрачкою — поденно,
за той чертой, в том мире, там,
где мы вздохнем освобожденно.

Инна Кашежева

НОВЫЕ РАЙОНЫ

Островки нетронутого леса
среди новых голубых домов.
А наверно, лесу очень лестно
изменять течение дорог?

Плавно устремляясь к повороту,
огибая гордую листву,
вновь дорога чествует природу
по ее святому старшинству.

Почему, уставшие донельзя,
скоростью зажатые в тиски,
мы порой пешком дойдем до леса,
а потом садимся на такси?

Просто люди мы, и оттого-то —
сколько нас в машинах ни вози —
так нужна нам вечная природа
посреди внезапной новизны.

* * *

Какая-то на сердце смута,
а вот отчего, не пойму...
Как будто ты нужен кому-то,
да вот неизвестно — кому.

Какая-то на сердце тяжесть,
но я не пойму — отчего?
Как будто из пропасти тянешь,
да только совсем не того.

Но вот наступает минута,
внезапной догадкой слепя:
ты нужен себе, не кому-то,
и вытянуть хочешь себя.

И благодарение богу,
что совесть покуда жива,
что бить начинаешь тревогу,
о ком-то подумав сперва!

Людмила Копылова

В ПОЕЗДЕ

Эту долгую муку называют поездкой.
Меня
волокут
от тебя.
Голова моя бьется по огненным рельсам,
за мягкие шпалы цепляются руки.
Будь теперь лето,—
    спутать с травою мой тонкий развеянный
                                волос
    (трава дорастет до тебя),
     с песней дрозденка схлестнуть мой карта-
                                вящий голос
    (дрозд допоет до тебя).
Осень расставила стражу:
    ни трав, ни дрозденка —
нравится ей волочить мои руки по шпалам,
голову бить об холодные долгие рельсы,
сверху глядеть в меня
    северной жидкой звездой.

* * *

Опять душа чего-то просит —
дитя болезное в слезах.
И снова снег с пригорка сносит
и наметает на низах.

А воздух снежен, свеж и сладок,
как родниковая вода.
Природа свой первопорядок
не нарушает никогда:

все чередом — метет и сносит
и оголяет косогор...
Зачем душа чего-то просит
и нарушает уговор?

Михаил Квливидзе

* * *

Когда под вечер замыкают звенья
Боль отчужденья и тоска времен,
Я набиваю дробью вдохновенья
Своей души отстрелянный патрон.

* * *

То — в тишине волнения пора,
То — в страсть движенья миг покоя вкраплен,
Но наша жизнь всегда чернильной каплей
Висит на самом острие пера.

МОНОЛОГ РЕМЕСЛЕННИКА

Продав перо и позабыв при этом
Свою причастность к рифмам и поэтам,
Родной язык на клей переваря,
Открыл я мастерскую кустаря.
Я склеиваю разные безделки:
Разбитые кувшины и тарелки,
Стекло, фаянс, пластмассу и металл,
И кажется, что сам я клеем стал!

Стараюсь я, чтоб снова были святы
Обычаи, надежды и мандаты,
Нарушенные клятвы и сердца,
Разбитые еще не до конца.
Над грудой этих неотложных дел
Я, словно старый Гамлет, поседел
И сгорбился, наладить торопясь,
Времен и душ разорванную связь.

* * *

Я не глупец и не хвастун
Перед моей страной.
Как мне ее коснуться струн
Своей души струной?

Как оправдать и соль и хлеб,
Как стать «одним из тех»,
Чтоб жил в судьбе ее судеб
Моей судьбы успех?

ВЫХОДЯТ ЗАМУЖ АНГЕЛЫ

Знать, посходили ангелы с ума:
На нашу Землю, в грешные дома,
По светлым струям дождика с небес
Спускаются страстям наперерез,
Обменивают крылья на фату,
И свадьба славит новую чету!
Выходят замуж ангелы. Пора
Земной любви, любовная игра
Им по душе. Скушны им и пусты
Молитвы, песнопенья и посты
Строжайшие. И — гвозди из креста
Идут на каблуки. И неспроста,
Хозяйками войдя в семейный храм,
Толстеют наши ангелы. А нам
Что остается делать, если нас
Любовь испепеляла блеском глаз,
И мы готовы были за нее
Лететь на небо и в небытие?!

Перевод с грузинского М. Дудина

Дмитрий Ковалев

ИЗ ВОЕННЫХ ТЕТРАДЕЙ

* * *

Оказалось, что моря суровей:
В черноте — пожары цвета крови,
И в кромешной тьме —
Ни голубинки.
Рвутся в глубине,
Глуша, глубинки.

Из противолодочных тенет
Вырваться...
Но веришь почему-то...

Никаких чудес там,
В море, нет,
Есть одно —
В живых остаться —
Чудо.

И чтоб мысли лишние не лезли —
Гонят их. Одна лишь дорога:
Что в живых остаться можно,
Если
Не останется в живых врага.

* * *

Не красота важна здесь —
Высота.
Важней всего обзора высота.
Пространство сопок,
Неба и воды,
Открытый взору
Круговой обзор,
В гранитах —
Брызги синие озер.
Висит под тонким месяцем скала,
Июльский снег в морщинах,
Солнца круг
Ночного,
Ледяные зеркала...

И — как заломленных тростинки рук —
Березок карликовых белизна...
И в зыбях блика медная блесна...
Подводной лодки корпус
Там, внизу,
Напоминал без крыльев стрекозу.
Так крохотна,
Беспомощна она...
Земле,
Обросшей каменной корой,
За нею —
Как за каменной горой.

Эльмира Котляр

СОМНЕНЬЕ

Сомненье —
с краями истин
соприкосновенье.
В тиши глубоко —
недремлющее око.
Сомнения не бойся,
не гони,
оно прозрению сродни.

* * *

Перевалила я хребет
своих потерь,
своих побед.
Теперь с далекой стороны
вернулась, как солдат с войны,
спускаюсь медленно с холма
и вижу мирные дома.

РУЧНЫЕ ЧАСИКИ

Тикают часики, тикают часики,
тикают жизни моей соучастники.
Тикают, такают, мне потакая:
— Такая-такая-такая!..

* * *

В голос громко не рыдаю
и на картах не гадаю.
Залила огонь водой,
справилась сама с бедой.

Григорий Кружков

БОЛЬШОЙ РАЗЛИВ У СЕРПУХОВА

Знобило от весенней заварушки!
Автобус по дороге насыпной
Скользил канатоходцем над водой,
Столб телеграфный черною макушкой
Едва торчал; тонули провода;
Не снова ли, как в давние года,
Потоп всемирный? Дело было темным!
И старожилы говорили: «М-да...
Такого половодья не упомним!»

А Серпухов гудел как балаган,
Играли лужи в море-океан,
Девчурка плачет: промочила боту...
А шофера врезалися с налету!
Летели брызги, что лебяжий пух,
Шел пар от стен, и теплый банный дух
Мешался с острым запахом апреля...
Загадывал хотение Емеля
И зажмурял глаза: считал до двух.

Но щекоталось! Право, невдомек,
Что там такое? Думать было впору,
Что по щеке нахальный паучок
Прогуливался как по косогору
И золотую пряжу из брюшка
Вытягивал, как фокус из мешка,
Ошеломляя блеском, и, в зените
Соединясь, пульсировали нити
От век прозрачных лишь на полвершка!

Нашатыря чудовищные дозы
Шибали в нос, но не могли уже
Волшебной отвратить метаморфозы:
Окно в полуподвальном этаже
Открылось (словно высохшие слезы —
Потеки и разводы на стекле),
И старикашка Ной, педант сердитый,
Наружу глянул, бледный и небритый,
И вглубь отпрянул, и исчез во мгле.

Все по веленью щучьему сбывалось,
Мелькало, и смеялось, и свивалось
В орнаменте облезлом и цветном,
Грязно-зеленом, розовом и пегом!..
И голуби кружили над ковчегом,
Над юным, самодельным кораблем,—
И не прельщались бездной, над которой
Плескалось солнце рыбой красноперой
В аквариуме светло-голубом!

ГЛИНЯНАЯ КОШКА

Мир — еще мальчик, и мальчика ради
Пишут поэты поэмы в тетради.
Рифма аукнет, другая поддакнет —
Словно копейка в копилочку звякнет.

Если копить так до взрослости мира,
Сколько купить тогда можно пломбира!
То-то заладится пир на весь мир!
Да не про нас тот грядущий пломбир.

Разве в мечте, да и то лишь украдкой,
Можно лизнуть его краешек сладкий:
Мир — еще мальчик, а всякий поэт —
В сущности, старый всезнающий дед.

...Глиняной кошечки глазки-подсказки,
Рот искривленный трагической маски...
То ли ей праздники не веселы,
То ль ее денежки так тяжелы?

То ли ей видится: каши полопал,
Вырос мальчонка, и кошечку — об пол,
На сто кусков!..

Только бы вырос он жив и здоров!

Татьяна Кузовлева

* * *

О, мое неуклюжее чадо,
Покоренное сельским крыльцом!
Так играют щенки и волчата:
В снег с разбега и в небо лицом.

Только детям грохочущих улиц
Эта редкая радость дана.
Как деревья под снегом согнулись,
Как синицы снуют у окна!

Как, готовые к ласке и драке,
Чуя зуд в пропотевших боках,
По-весеннему скачут собаки,
Утопая по брюхо в снегах!

Но дневные окончатся сроки,
Но изба потемнеет с угла,
Но крыло запоздавшей сороки
На мгновенье мелькнет у стекла.

И звезда затеряется в соснах,
И, мороз пронося на весу,
Запоет остывающий воздух
В непроглядном высоком лесу.

И под песню неспешную эту,
Разметавшись при свете огня,
Разрумянена, полуодета,
Ты заснешь на руках у меня.

И, тебя отдавая постели
Из расслабленных тающих рук,
Я застыну: смирить ли метели,
Удержать ли беспечности круг?

И за дальностью лет сохранить ли
Тот огонь, что с младенчества нас
Наполняет восторгом открытья,
Озаряет свечением глаз?

В нем живет безудержность порыва
И смятенье слетающих фраз.
В те минуты, когда мы красивы,—
Это он загорается в нас.

* * *

Жить бы да жить, тебя целовать.
Наших детей миловать, баловать.
В праздник
Внося пироги с курагой,
Дверь прикрывать осторожно ногой.

Весело белой посудой звенеть,
Чистить до блеска старинную медь.
Слушать приемник, когда, например,
Песни народов СССР.
Слушать — не слушать, совсем приглушать,
Чтобы работать тебе не мешать.
И, на доске нарезая лапшу,
Чувствовать: снова под сердцем ношу.
Радостно, ловко, спокойно, легко
Детям ко сну наливать молоко.
Верить, что все будет ясно и впредь.
Вечером сесть телевизор смотреть.
Спать на руке твоей до петухов.
И, как отравы, бояться стихов.

Станислав Куняев

* * *

Мать пьет снотворное за то,
что столько лет недосыпала,
ее уводит в забытье
шальная доза нембутала.

Жизнь опостылела вконец,
а золотые сны — отрада.
Чтобы приснился мой отец,
она не просыпаться рада.

Но снятся ей госпиталя,
ее кровавая работа,
бинты и язвы, гной и рвота —
война, короче говоря.

Она не покладая рук
кромсает, режет, шьет и пилит...
Один без ног. Другой без рук,
а третий, раненный навылет,
кричит... Спаси его, хирург.

А сын ей говорит: — Вставай!
Что жить искусственными снами?
Волнуйся! Радуйся! Страдай!
Дыши весенними ветрами!

Но ничего не знает он
о том, что знает только старость...
— Мой сын, отстань. Я вижу сон,
и это все, что мне осталось...

Они идут в шумящий бор
сбирать цветы на солнцепеке...
— Мать, подыми потухший взор,
послушай, как шумят потоки!

Взгляни на голубую гладь —
ты столько бед перемолола,
еще настанет время спать...—
А мать в ответ ему ни слова.

Прогрелась в солнечном тепле.
Молчит. Рукой устало машет,
склонясь к оттаявшей земле.
Не шьет. Не стряпает. Не вяжет...

А мать-и-мачеха цветет,
и сон-трава мохнатым зевом
росу мерцающую пьет...
Но никогда под русским небом
трава забвенья не взойдет.

* * *

От Великой ГЭС до Усть-Илима
вечных сосен черная гряда,
красная строительная глина,
светлая байкальская вода...

Я люблю тебя, большое время,
но прошу — прислушайся ко мне:
не убей последнего тайменя,
пусть гуляет в темной глубине.

Не губи последнего болота,
загнанного волка пощади,
чтобы на земле осталось что-то,
от чего щемит в моей груди.

Пусть оно живет счастливой болью
и, прочтя свой жребий в небесах,
всю земную волю и неволю
должный час благословит в слезах...

День и ночь грохочут лесовозы.
День и ночь в пустынный небосвод
сладкий дым ангарской целлюлозы
величавым облаком плывет.

* * *

Горит бурьян на вешнем берегу,
зажгли костер — ушли не затоптали,
и сизый дым, клубящийся в логу,
струясь ползет в темнеющие дали.

Горит трава... Пусть новая взойдет
на тех местах, где, помнится, когда-то
на высоте стоял разбитый дот —
могила неизвестного солдата.

Уже вовсю работают кроты —
буравят землю в поисках добычи.
Куда ни глянь — их влажные ходы
взрезают дерн... А в небе — крики птичьи!

И вылетает бабочка на свет —
родные твари перезимовали.
Опять весна, а значит, смерти нет,
мы зря с тобой об этом горевали.

Раздался выстрел. Местный браконьер,
от радости и страха беспощаден,
сорвал ружье с плеча, не утерпел,
ударил влет — не потому что жаден,

а просто закружилась голова...
Хлестнуло эхо выстрелу вдогонку,
и снова шорох: юная трава
рвет полиэтиленовую пленку.

Светлана Кузнецова

* * *

Выше узкие брови!
Вот и сбылось пророчество.
Глаза светлей и рисковей
Ради тебя, одиночество.
Колечко сверкнет на блюде,
Погадаем, что с нами будет.
Родина будет.
Работа будет.
Горя убудет.

Счастья прибудет.
Только какого счастья?
Может, дождя да ненастья?
Может, снега да града?
...Я и такому рада.
Родина моя громкая,
Песенка моя ломкая,
Светлый мой леденец,
Мой ледяной венец...

•

* * *

Вот сидишь, чья-то боль и потеря,
От неверной судьбы вдалеке,
Невезучая птица, тетеря,
На своем золоченом шестке.
Птица гордая с важной повадкой,
Не идешь у меня из ума...
Ах, какою приманкою сладкой
Ты себя обкормила сама?
Голубикою или брусникой?
Как такое случиться могло?
Над какою обидой великой
Надломилось и сникло крыло?
Где она, твоя быль-небылица?
Что глядишь на меня свысока?
Очень русская, серая птица,
Очень близкая сердцу тоска...

Леонид Латынин

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ПЛАЧЕТ ВО СНЕ

Перемен ли бояться на свете
И тревожиться по пустякам,
Если солнце легко на рассвете
Протекло по озябшим рукам.

Если все еще нижется слово,
Если женщина плачет во сне,
И звонок в половине шестого
Предназначен, конечно, не мне.

Все равно она плачет, где стены
Стали тем, что зовется судьбой.
Мне ль бояться теперь перемены,
Если я не оставлен тобой.

Все пройдет, мы с тобой не случайны,
Темным счастьем болей до конца,
Не коснусь даже помыслом тайны,
Ни печалю глаза и лица.

Спи, любимая, бедная птица,
Солнце выше и ярче в окне.
Как прекрасно и больно и не спится,
Если женщина плачет во сне.

ВРЕМЕНА ГОДА

Пока с тобой мы шубу шили,
Двенадцать лыжников спешили,
Мелькая в розовом окне,
И робко, тихо и не сразу,
Одну-единственную фразу,
Одну таинственную фразу
Ты, просветлев, шепнула мне.

Пока мы шли лесной дорогой,
Казалась ты прохожим строгой,
И только плавали ресницы
В слезе набухшей наяву
Да в синеву стремились птицы,
Взлетев с пушистой рукавицы,
Домой стремились в синеву.

Пока леса в огне горели,
Пока мы дом озябший грели,
Пока гадали по руке,
Двенадцать лыжников кружили,
Мгновенье нам мешая, жили
И пропадали вдалеке.

Когда, глотая дым набрякший
В избе под сонной Кандалакшей,
Решилась ты меня обнять,
Любить друг друга было рано,
Лишь в небе благостно и рьяно
Учились голуби летать.

Пока с тобой мы шубу шили,
Деревья ветви распушили
И в зиму бросили играть.
Так ничего и не решили,
Шутили, даже не спешили.
И поздно выбирать.

СТИХИ О ДОМЕ, В КОТОРОМ ЖИЛ

Живу не там, где дом и ели,
Овраг, поросший лебедой,
И где наездники метели
Летят над выцветшей трубой.

Живу не там, где тополь сохнет,
Вчера и зелен и могуч,
Где гром раскатится и грохнет
И снова грянет из-за туч.

Живу не там, где спит светелка,
Где покосившийся забор,
Где куры, птицы без умолку
Ведут беспечный разговор.

Где все забыто и знакомо,
Где меньше дней, чем было встреч,
И крыша голубого дома,
И безыскусственная речь.

Живу не там, но звук сторожкий
Пугливой птицы, поздний чай,
Другого контуры окошка
Вдруг обозначит невзначай.

Напомнит мне, как пахнут травы,
Как рыба в омуте плеснет,
И лодок рой у переправы,
И ненадежный перемет.

Как там за плесом кличут галки,
Гудки фабричные гудят.
И бабы в вечной перепалке
Опять на пристани галдят.

Семен Липкин

СВАДЕБНЫЙ ПОЕЗД

Снова свет плодоносен,
Снова красок и звуков игра.
Азиатская осень
Словно свадебный поезд пестра.

Вновь деревья танцуют
И поют, как друзья жениха,
А невесту кольцуют,
И она в это время тиха.

Вскинув руки и ветки,
Пляшут старцы и пляшут стволы,
И кусты-малолетки
Необычно и ярко смелы.

Понимаешь яснее,
Что деревья и люди — родня.
Наши связи древнее
И прочнее мгновенного дня.

Для меня в этой пляске —
Обновляющий праздник огня,
Будто звуки и краски
Заиграли в душе у меня.

СЕЗАНН

Опять испортил я картину:
Не так на знойную равнину
Карьер отбрасывает тень!
Пойду, стаканчик опрокину,
Трухлявый, старый пень.

А день какой заходит в мире!
У землекопов, в их трактире,
Неспешно пьют и не хитрят.
Я с детства не терпел цифири,
И вот — мне шестьдесят.

Нужна еще одна попытка:
Свет обливает слишком жидко
Два яблока, что налились.
Художник пишет, как улитка
Свою пускает слизь.

Сын пекаря Иоахима
Мне говорит: «Непостижимо
Полотен ваших колдовство».
Я, дурень, плачу... Мимо, мимо,
Нет рядом никого!

Ко мне,— прости меня, Вергилий,—
Как слезы к горлу, подступили
Все неудачи долгих лет.
«Довольно малевать мазиле!» —
Кричат мне дети вслед.

Я плачу. Оттого ли плачу,
Что не могу решить задачу,
Что за работою умру,
Что на земле я меньше значу,
Чем листик на ветру?

Жизнь — штука страшная. Но
в кисти
Нет рабства, низости, корысти.
Взгляни, какая вышина,
Каким огнем бушуют листья,
Как даль напряжена!

Михаил Львов

* * *

Из войны
мы красивыми вышли,
Молодыми —
и в блеске,
и в силе.
Нам сражения
души не выжгли,
Только лица
в боях
заострили.
Так и жили мы
в воинском стиле.
Мы войне
ничего
не простили.
Мы врагам
ничего
не простили.
С мирной жизнью
мы шпаги скрестили.
Продолжали
мы в воинском стиле
И дороги,
и дружбы,
и стили.
А теперь вот
к врачам зачастили.
Жизнь проходит,
и время проходит,
По-другому
оно половодит,
И другие понятия
вводит,
И собою довольно
вполне,
В юбилейные
даты нас сводит.
И теперь —
как ни странно —
приходит
Благодарность
почти что —
войне...
За свое
воспитанье
в огне,
За предельно жестокую
школу,
За свое
несгибание долу,
За свою
за особую долю.
И — как юноши
в вольность и волю,
Мы теперь,
в облачках седины,—
Не снимая с войны
и вины,
В те далекие дни
влюблены.

* * *

Насорить стихами в голове ближнего...

М. Горький

Кто — за меня
и тем, кто против,
Скажу
и тем,
кому не мил:
Я
дело жизни
не испортил
И людям
жизнь
не осложнил —
Мировоззреньем
негуманным,
Обманным
лозунгом лихим,
Иль хитрым обликом
туманным
Не вышел
из воды сухим...
...Приобретенья
и потери —
Со всеми
вместе — наравне.
И в цехе
вместе мы потели,
И вместе были
на войне.
Одни дороги
и истоки.

Лишь в силу
склонности
души
Я рифмовал
свои восторги,
Свои пути
и рубежи.
(Не знаю,
то ли
мной сказалось,
Но —
неподдельная строка
Порою
душ
друзей
касалась,
Как шелестение
флажка...)

А то бывает
с нашим братом —
Придет,
богато насорит
(Эстрадной музы
фаворит —
«Нагородит»,
наговорит...),
А вы же
ищете
добра
там...
А что до истины —
куда там!
И только души
разорить.

Новелла Матвеева

СВОД СОМНЕНИЙ

В роще белье
на сучьях
сушится.
Дозором
Жук
Обошел простыню...

Музы меня перестали слушаться.
Уж, верно, скоро я их прогоню!

Мне и перо теперь помешало бы
(Между рукой и травой — ничего),
Лжет,
превращает восторги в жалобы...
Почто терплю самодурство его?!

Стих уже сам по себе нескромен.
Тем, что не проза,
И тем, что стих.
Греки еще нескромней устроили,
Исповедь с музыкой совместив.

Ибо для скрытного исповедь — мука.
Стыд (или ложь — любопытным назло).
А болтуну откровенность — не штука.
Так... Развлечение. Ремесло.

Гордо загнав излияния в клетку,
Станешь спартанец, но вряд ли — певец.
Тот же, кто в общую плачет жилетку,
Вроде и лирик, да жалок, подлец!

Что же есть лирика?
Нежности мякоть?
Повод собраться — и вместе поплакать?
Или — сверкающая броня,
Оберегающая, звеня,
Меня от вас,
А вас — от меня?

Или... Таинственный
исповедальный
Шепот,
еще не коснувшийся губ,
А уж распищенный
Славой скандальной,
Глотками
Иерихонских труб?

...Сохнет белье на свету сквозное,—
Божьи коровки ползут в рукава...
Купы дерев разбрелись по зною...
Лень... Полутень... Ветерок, трава...

Слуг — и правдивых и лживых — выгоню!
Штат рифмовой разгружать примусь!
Да распахнется мне бездна выгоды —
Просто помалкивать. Жить без муз.

Но если... Так... Подчас... Для смеха...
И пальцы — сразу болят без пера.
Я есть помеха
Для нимфы Эхо.
Но... в то же время — я ей сестра.

* * *

С начала дней своих сонет был недотрогой;
Того не делай с ним, а этого не смей.
Скачи прямой-кривой, своей-чужой дорогой
На связанном коне. Сухим пройти сумей

Под ливнем проливным. Движением бровей
Медведя разбуди — и завладей берлогой,
Короче, — ляг живьем в гробницу формы строгой,
И — станок внутренних одеждой не овей.

Пасует сам Шекспир под этой пыткой школьной!
Сам Пушкин — крестится! И рифмою (глагольной!)
Скрепляет наскоро четырнадцать венцов,

Как ласточка — слюной... Но кончим песню эту!
Кто меньше подпевал и потакал сонету,
Чем Пушкин, Дант, Шекспир — творцы его творцов?

ЭДГАР ПО

Не думаю, что мрак его души — чрезмерен.
Рисуя грозный цех, где сера и смола,
Он краски не сгущал, а был натуре верен,—
Ведь преисподняя и впрямь не весела.

Но, сам спускаясь в ад, он брал с собой, как веер,
Как нежный лед ко лбу,— прохладу ремесла.
А нам? Все корни зла. Всей скорби адский ревень,
Всю тьму и ужас... Но... поклясться бы могла,

Что это наш заказ, хоть мы не признаемся!
А разве свой кошмар мы рассказать не рвемся?
Как?! — разве ускользнуть позволим мы ему?

Э, нет! Как протокол мы разбираем сказку,
А страшным снам даем такую же огласку,
Как преступлениям, свершенным наяву.

* * *

Где-то, в далеких краях,
Есть одинокий маяк.
Старенький сторож на нем обитает,
Серые волны, скучая, считает...
Знаю: встречает,
потом — провожает
Все уходящие вдаль корабли.

Знаю: пучина морей
Скрыла троих сыновей.
Верю, уж верно по этой причине
Старенький сторож перечит пучине,—
Пальцем грозит океанской пустыне,
Бурю встречая, трясет головой...

Есть у маячника пес.
Верный, но старый до слез:
Чайку пугает да на ветер лает
(Благо, что на море ветра — хватает!),
Коврик соломенный оберегает,—
Нечего больше на башне украсть.

Но временами маяк
Весь расцветает, как мак;
Лодка подходит к нему с провиантом.
Сторож зачем-то нарядится франтом,—
Шапку с коричневым кожаным бантом
Держит рукой, чтобы ветер не снес...

Все же в конце-то концов
Лодка увозит гребцов.
Не оттого ли с такою тревогой
Вдруг просыпаюсь я ночью глубокой?

...Только помыслишь о дали далекой —
Кругом от грусти идет голова...

Леонид Мартынов

ВЫХОДЯ ИЗ МЕТРО

Что прошло, то прошло,
Что старо, то старо.
Выходя из метро, мы не крикнем извозчику:
— Эй, подавай!—
И не сядем в трамвай. Только ветер шальной
Прилетит к окружной кружевной многовьюжной
дороге:

— Что угодно вам?
Туч?
Дач?
Солнечный луч?
Русскую печь, куб дров?
Кулич? Калач?
Или все-таки нужен толмач?

Нет, отнюдь не нужны ни бирюч, ни толмач,
Вот как ясно звучать будет русская речь
На устах неустанного ветра у входа в метро,
Где в цветочном киоске в продаже имеется Роза ветров.

КИОСКЕРША

Мечтает! Но неведомо о ком.
Мы, будто бы не видно наших лиц ей,
Проходим только смутной вереницей,
А в частности никто ей не знаком.

Хотел я заменить ее цветком,
Девчонкой, точно в клетке певчей птицей,
Рыдающей кристальным голоском
Над каждою чувствительной страницей...

Кричала бы: — Читатель, подивись!
Ах, что за удивительная мысль!
Невыразима книжки этой ценность!

Но нет! Таким не может поручать
Сокровищниц своих Союзпечать.
И царствует по-прежнему надменность.

НАМЕДНИ

А что
Так медово
Плывет?

Не звезда ль?

Нет!
Медное слово
Звенит, как медаль.

Ушли
Дни былые,
Они далеки —
И злыдни, и злые на зло добряки,
Их складни,
Их бредни,
Их бродней ремни —
Все было намедни, намедни, намедни...

Намедни!
Похоже на мед и на медь.
Поет это слово, успев онеметь
И кануть в такую глубокую даль,
Что помнят о нем только Фасмер и Даль
И Преображенский.
Настолько стара
Суть слова, чей смысл означает:
Вчера!

Александр Михайлов

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ СЕГОДНЯ

(К 70-летию со дня рождения поэта)

Прекрасно все-таки сохранить молодость души и живость воображения до преклонных лет. Это и есть, наверное, главное условие творческого состояния. Иногда мы наблюдаем, как наигрывается это свойство натуры: тогда поэт похож на немолодую уже, но сильно молодящуюся и теряющую при этом представление о реальных возможностях омоложения даму. Форсирование голоса, неестественное бодрячество еще больше выдают постарение души, делают человека смешным.

А вот пример органического поведения — поэт вступает в спор с Будничностью:

Я шел, как в фантастическом романе,
А Будничность стояла у крыльца,
И я сказал ей:
— Обрати вниманье:
Гуляют в космосе два храбреца,
Топча ногами лунное сиянье.

Это естественное состояние души для Леонида Мартынова, всегда столь чуткого к открытиям науки, к дерзким свершениям человека. Тут он с годами не меняется, только, может быть, становится мудрее, но не той мудростью, которая свойственна Будничности («А что смотреть? Отсюда их не видно!..»; «Ясней покажут на экранах их поздней»), которая целиком подчинена здравому смыслу и выражает собою только трезвый практицизм, не больше. В житейском смысле она, наверное, и права, и поэт готов признать это. *Он вступает с ней в спор как поэт*, его мировидение не укладывается в формулу элементарного правдоподобия. И мудрость его — в ином, во все более глубоком понимании процесса омоложения мира, в связи времен — прошлого, настоящего и будущего.

Старый лунный диск в сиянье новом
Снова юн и не стоит спиной
К романтическим обновам,
Пахнущим глубокой стариной.

В споре с обыденностью Мартынов опирался на превосходство своего опыта и мудрости: «Я о тебе гораздо больше знаю, чем о себе ты ведаешь сама, о милая обыденность земная, стучащаяся пальчиком в дома». И тогда, давая волю воображению, он может представить себя пришельцем из «звездной бездны», возделавшим хлебные поля на земле. А потом оказывается, что и о земле, и о небе он знает больше, чем они сами. И как вершина знания (сумма опыта и дар предвидения) — собственная судьба, которая тоже не является загадкой для поэта.

Мартынов был и остается романтиком в поэзии. Он остается романтиком в наш довольно рационалистический и прагматический век. Он остается романтиком несмотря на то, что пристально следит за развитием науки и техники и, может быть, как никто другой стремится осмыслить их открытия и завоевания. Он остается романтиком, несмотря на трезвое понимание ситуации в целом мире и сложностей, противоречий нашего внутреннего развития. Мартыновский романтизм проистекает от его глубочайшей веры в человеческий гений, в победу доброй воли, от его глубочайшей веры в идеалы, начертанные на знамени революции.

Если мы вспомним, как суров и порою жесток в своих суждениях о жизни бывает Мартынов, то его романтизм еще более поднимется в цене. Вспомним хотя бы это: «Богатый нищий жрет мороженое... Пусть жрет, пусть лопнет! Мы — враги!» Какая жесткость и непримиримость! И — никаких иллюзий. Грубая реальность жизни, ее отвратительная изнанка.

Пусть это было еще в конце сороковых. Но ведь и в «Гиперболах» мы найдем строки достаточно жесткие и определенные в отношении к негативным сторонам жизни («Мир завистников и злыдней все ехидней, все опасней...»). Ведь и здесь поэт напоминает себе: «Жестокость жизни,— думал я,— осмысли: любой ее источник заражен...»

Мартынов трезво относится к жизни, и в отношении к ее обыденности он — аналитик, реалист. Романтиком его делает приверженность к теме обновления мира.

Если бы все было, как и было,—
Я бы за перо и не брался!

Но и здесь он не теряет ощущения реальности и, обращаясь к жизни, к ее живой натуре, замечает: «...никаких прикрас не допускаю, тебя сгущеньем красок не ласкаю...» А уточняя позицию, в другом уже стихотворении, высказывается так: «И в обыденность земную неправды вовсе не внесу я, коль белым мелом тьму ночную я вам умело нарисую».

Последнее замечание касается поэтики (стихотворение названо «Изобразительные средства»), оно как бы предупреждает читателя насчет того, чтобы он не принял необычные краски на

палитре художника за попытку приукрасить обыденность, выдать черное за белое. Предупреждение, может быть, и не так уж необходимое, но мы его возьмем на примету, ведь поэт уверяет, что если это нужно, то он может *углем изобразить полный зноя день, озаренный солнцем круглым.*

И уж чтобы окончательно уверить вас, читатель, в земных привязанностях Леонида Мартынова, в его серьезной озабоченности важнейшими современными проблемами, сошлемся на стихотворение «Земные блага». В нем ощущается даже некоторое противопоставление «межзвездным нашим судьбам» сегодняшних насущных забот, которые квалифицируются как *величайшая задача.* И в самом деле: восстановить вырубленные леса, обилье рыбы и дичи, «привольный чистый воздух», очистить лик земли от синяков, язв и коросты — разве это не величайшая задача всех нас, живущих на земле?!

И рядом с этим скромное, совсем, кажется, бытовое, по крайней мере выраженное в бытовом контексте, желание, чтобы родина, отчизна оделась «не в романтические тучи, а попросту — и в ситцы и в шелка», чтобы она омывалась «самым освежающим дождем» («Отчизна»).

Вот видите, что получилось: начав с утверждения, что Леонид Мартынов — романтик, пришлось показать его как реалиста, обуреваемого всеми теми заботами, которыми обуреваемо множество людей, отнюдь не являющихся романтиками.

Для чего это? Да для того, чтобы выявить органическую, теснейшую привязанность его романтики к реальной действительности, ее земную, жизненную первооснову. Показать, что перед нами не прекраснодушный мечтатель, а человек, твердо сознающий свои человеческие обязанности в этом мире. Ну а без романтики искусство становится пресным. В особенности — поэзия.

Внимательные читатели могли и раньше заметить, с каким нетерпением Мартынов всегда ждал, например, весну — время обновления природы. Вспомним хотя бы стихотворение начала пятидесятых — «Примерзло яблоко...». Все приметы зимы, которые показал поэт,— и открытие катка, и снега по колено, и снеговые облака на небе,— оказывается, есть не что иное, как прелюдия весны («Все это значит, что весна близка!»).

Так и в «Гиперболах», в одном из стихотворений этой книги: еще не ясно, что происходит в природе,— весна ли начинается, просто ли оттепель,— а поэту уже не терпится, романтическая мечта влечет его вперед: «О, в эту ночь перед весною давно пора желаньям сбыться...» («Ночь перед весной»). А с наступлением лета он ждет, чтобы «всякие тревоги потонули в мерном гуле...».

И в любовном сюжете — на фоне зимнего пейзажа, когда «мороз жесток, снежок скрипуч»,— происходит чудо преображения:

> Но корку льда над родником
> Ты пробиваешь сапожком,
> И брызжет под его носком
> Не ключ, не буровая скважина,
> А целый гейзер, о каком
> Я только грезил взбудораженно.

Мартынов придает своей мечте сказочный колорит — это излюбленный прием всех романтиков, но сказка его часто самым неожиданным образом сопрягается с конкретными приметами современности, причем отнюдь не сказочными. Любопытен в этом плане сюжет стихотворения «Летопись». Это стихотворение — диалог, спор о прошлом и настоящем, спор о красоте с элементами сказки, фантастики, который заканчивается таким четверостишием:

> И, в седую древность глядя глазом,
> Что-то пишешь ты, но знаю я:
> Пахнет нефтью и природным газом
> Летопись и зимопись твоя.

Эта тема занимает поэта в связи с дискуссиями последних лет, в связи с увлечениями патриархальной стариной, коснувшейся и поэзии. Позиция у него четкая. Перечисляя аксессуары патриархального быта, поэт замечает: «Все это мы храним, не пряча, и в старине души не чаем»,— но главным для него остается задача уже *нашего наследства для потомков*, «чтоб нас они не поносили перед музейною витриной, в своей уверенные силе и в нашей слабости старинной». Особенность его позиции, пожалуй, лишь в том, что он, учитывая характер споров, попытался представить потомков оценивающими наши деяния под этим же углом зрения. Такой взгляд, естественно, больше отвечает задачам современности, чем тот, который обращен затылком к будущему.

Воспоминаниями, самыми разнохарактерными, пронизаны все книги Мартынова, в том числе и «Гиперболы». Недаром же вслед за «Гиперболами» вышла книга воспоминаний поэта «Воздушные фрегаты». Воспоминания в его временно́й триаде — прошлое, настоящее, будущее — играют важную связующую роль. Однако все они подчинены одной внутренней задаче — службе новому времени: «Пусть уж трактористы, сидя у руля, перепашут чисто памяти поля, чтоб с лицом эпохи слить природы лик».

Но возвратимся к романтическим краскам на палитре Леонида Мартынова. По-видимому, он убежден, что само творчество как проявление талантливости человеческой натуры уже содержит в себе элемент романтики. Разве не романтично преображение мира при помощи

слова! Стоило, например, алтайцу запеть о родном крае («Алтай») — «И стал Алтай мгновенно нов — Алтай старинных колдунов, Алтай шаманских диких гор, Алтай автомобильных фар, Алтай воздушный, как ангар...».

В «Гиперболах» вновь, правда несколько обезличенный, мелькнул знакомый нам мартыновский образ волшебника («Волшебники»), чтобы напомнить о себе и напомнить о том, как скучна и однообразна жизнь без сказки, без волшебства, без романтической мечты, поднимающей человека над обыденностью, дающей ему крылья для полета.

Реальная, сегодняшняя романтика теперь связывает Мартынова с юностью, с молодым поколением. Он любуется юной парой, женихом и невестой, слегка корит их за то, что «не разбираются детально во всем, что было прежде них...», хотя это прошлое воссоздается для них в виде Триумфальной арки, Суздаля, творений Рублева. Зато поэту глубоко импонирует их романтическая мечта о покорении Севера, о пересечении радиального пояса.

И вот
В костюмах со скафандрами,
Хватая Солнце под уздцы,
Соперничая с саламандрами,
Летят зеленые юнцы —
В воображении пока еще,
Еще в мечтах, конечно, но —
Летят они неунывающе,
И кажется — все решено,
Как некогда и нам в Семнадцатом
Казалось ясно, что уже
Должны мы завтра оказаться там,
На беспредельном рубеже!

Вот характерный пример мартыновской романтики, характерный точно обозначенной связью с ее истоками. Мечте поэта, его нетерпеливому желанию приблизить будущее, положил начало 1917 год. От этой точки ведется отсчет времени к «беспредельным рубежам», к идеалу.

В аллегории «Мы плыли по отчаянным волнам...» поэт сказал, какие трудности пришлось преодолеть, чтобы обрести чувство товарищества, чтобы идти «плечом к плечу к одной и той же цели!». А цель эта обозначена масштабами свершений в стихотворении «Гиперболы», давшем название книге. Причем гиперболизация относится как раз к недостаткам, к склонности людей иногда преувеличивать их: «И чудится, что трудностей не счесть, и кажется — нет силы, что могла бы все одолеть...» Вот ее, гиперболизацию недостатков, и опровергает поэт, видя перед собой *идеал*, *цель*, ее масштабы: «Но сила эта есть, и уж творятся, так творятся здесь событья грандиозного масштаба!»

Неистребима в Леониде Мартынове вера в необычайное, что еще «никогда не бывало!». Поэтому он с такой страстностью отвергает скучную и неподвижную обыденность, видит ее в образе дворняги, ищущей конуру, чтоб добровольно сесть на цепь... «А Непредвиденность — другое дело!» Ее в клетку не посадишь, от нее происходит все необыкновенное на свете, «она в котельных вызывает взрывы и потрясает лестничные клетки». «Непредвиденность» для мироощущения Мартынова всегда ожиданна и желанна, когда она несет благо людям.

Мартынов поэт неожиданный, он относится к тому типу художников, которые могут извлечь поэзию, как говорится, из ничего, он программно оправдывает это свойство: «Поэзия не ребус, но вольна звучать с любого белого пятна, как длинная и средняя волна, и на волне короткой весть и повесть!»

Честолюбивая мечта движет пером поэта: «Все выразить пришла моя пора...» А без честолюбия — возможна ли поэзия, творчество?!

Пафос творчества Леонида Мартынова — от первых юношеских опытов и до стихов 70-х годов — познание мира, устремленность в его завтрашний день, бесконечные вопросы, ответы и снова вопросы, загадки, отгадки и снова загадки... Так, наверное, будет продолжаться до последней строки.

Будет это, будет это —
Новый ветер налетит,
Но и ясные ответы
Для кого-то он и где-то
Вновь в вопросы превратит,
Этот вечный, ежечасный
Голос бури, голос гроз,
Чтоб нежданно перерос
Снова в некий день прекрасный
Тот ответ в другой вопрос.

Владимир Микушевич

ДОРОГА В ПРОВАНСЕ

Холод, блеск, мистраль...

И. Бунин

Тяжелей твоей слезы
Не твоя звезда.
Цвета завтрашней грозы
Вечером вода.
Только тополь над рекой —
Звездная спираль.
Безвоздушный твой покой.
Лучше бы мистраль!

Лучше бы в последний путь,
Если не во мрак.
Человеческая суть —
Этот первый шаг,
Чтобы ночью со стыдом
Кланяться звезде,
Потому что отчий дом
Неизвестно где.

Там, где, краски замолив,
Повстречаться мог
В тусклом зареве олив
С Буниным Ван Гог,
Безысходный вертоград,
Гробовой ночлег
Там, где столько лет назад
Плакал человек.

КУРСИВ

Олений след, неизгладимо четкий,
Когда стрела вибрирует в крови,
И после смерти будет мучить жажда,
И в замкнутой долине тоже больно,
И не парализует, окрыляет
Боль, поставщица перьев, лучших в мире,
Чтобы типограф некий дальновидный,
Скопировав неуловимый почерк,
Адресовал потомкам шрифт летучий,
В котором страх перед заразой черной
И перед белой магией забвенья.
И всю-то жизнь боишься не успеть!
Хоть начерно в последнюю минуту
Неизгладимые инициалы...

Примечание: Шрифт «курсив», примененный впервые в шестнадцатом веке венецианским издателем Альдом Мануцием, копирует почерк Петрарки.

СОНЕТ

В Европе соловьиные каноны.
Век междометий: возгласы и вздохи.
Не говорят — щебечут скоморохи.
И для души строжайшие законы.

И в лирике невидимые троны
Колеблются, когда в переполохе
На площадях внимательной эпохи
Сонетами сменяются канцоны.

В пустыне, в пустоте, в толпе народа,
В изгнании, как в собственной отчизне,
И без обиняков и без отсрочек

Такая нестерпимая свобода,
Что для твоей многоголосой жизни
Достаточно четырнадцати строчек.

Сергей Мнацаканян

ДЫМ

Над заводской трубой, над кленом
витает спозаранья дым
с таким осмысленным наклоном
к страстям и радостям моим...
И в час, когда светла заря,
намеками без основанья
рисует в небе вензеля
о бренности существованья.
Я, молвит, вскорости растаю:
ещё немного поживу —
и перейду в воронью стаю
и в яростную синеву...
Уйду в родные небосводы
и в биохимию ветвей,
останусь в чистом кислороде
и в горькой памяти твоей.
Так все на свете остается,
когда уходит навсегда,—
и следом новый дым взовьется,
присвистнут новые года.
И поперхнется высота,
и задохнутся небосводы —
как будто паром изо рта
расписываются заводы...
И снова мир необъясним,
по горло занесен снегами,
когда над пригородом дым
танцует белыми мохнатыми ногами.

ЯБЛОНЕВАЯ ИСТОРИЯ

Рубили яблоневый сад,
скрипели пилы,
свистал последний листопад
что было силы...
Хрустя коричневой корой,
ложились наземь
деревья, с глиною сырой
сливаясь разом.
Поставив на шершавый ствол
сапог кирзовый,
прораб, приземистый как вол,
смотрел сурово,
как падал розовый ранет
в развал бетона,
определяя ход планет,
закон Ньютона...
И поднимался в небеса
дым над кострами,
как крона яблони — вися
над пустырями...
Коренья выдирал потом
бульдозер дымный.
На кальке рос грядущий дом
любви взаимной.
Зарей, как яблоневой той
горячей кровью,
отмечен в 5 утра густой
мрак Подмосковья.
Прощайте, Яблоневый Сад,
прощайте, милый,
последний взмах, последний взгляд,
как над могилой.
Прощайте, Яблоневый Сад
и сумрак синий,
прощайте, окна на закат —
невыразимый...
Бывало, выйдешь на порог —
в ресницах колет,
сентиментальность — не порок:
бездымный порох!
Отголосили соловьи,
и тьма ночная
глазные яблоки твои
запеленала...
Расплакаться бы, мой дружок,
да не заплачешь,
и ты свой взгляд отводишь вбок
и в землю прячешь.
Над вырубленным садом — кран
застыл подъемный,
как крест над котлованом ран
природы темной...
Над головою — свист ворон,
а под ногою —
микрорайон, микрорайон! —
кричит живое!
Он жил на свете сотню лет,
и вот, как чудо,
сад, коего в помине нет,
зовет — откуда?
Сквозь тени, шорохи, штрихи
забытых яблонь
проносятся грузовики
с домашним скарбом...
Ночами яблони скорбят,
подъемля лапы,
и словно яблоки — горят
ночные лампы.
Столбы топорщатся черно,
сквозняк витает,
как знак, что в мире ничего
не пропадает.

И в час, когда спокойно спят
все новоселы,
Дымится Яблоневый Сад
на месте школы!
Вылазят ветви из окна,—
разросся кабель?!
И веет, шелушась, стена —
не лепестками ль?

Сквозь белый железобетон,
почти что вечный,
кричат из будущих времен
живые ветви...
Дрожит Земля на сквозняке
звездой нетленной,
как яблоко на черенке
ночной вселенной...

СЕНТЯБРЬ

Юность свою до последнего вздоха
вам отдаю в тишине сентябрей,
милая Родина,—
от Владивостока
до белорусских полынных полей...
Радости — общие, горести — личные.

Юность моя, золотые года,
вся миновала она, горемычная,
но — ничего... не грусти... не беда.
Милая родина — дали осенние,
ваши тревоги и воскресения,
северный ветер, соленый как соль,
наши совместные счастье и боль.

Людмила Мухина

* * *

Как часто видим мы не труд,
Что вложен в краткое творенье,
Не груз потраченных минут,
А только четкость и паренье.
Так просветленность простоты,

Отточенность и завершенность,
Которую несут листы,
Иль чистой капли закругленность
Своей привычной красотой
Нам не кричат — любуйся! Стой!

ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Отзывчивость — сестра любви.
Тверды ее рукопожатья.
Она объятия свои
Не раскрывает для участья,
Но колебания чужды
Ее делам, ее поступкам,
И подкрепляется рассудком
Движенье светлое души.

* * *

Так вышло: выросли рядком
Осина стройная и елка
С наклонным темным козырьком
Чуть растопыренным и колким.
Внизу у елки веток нет,
Со стороны осины тоже.
И только тянется на свет,
Не задевая светлой кожи

Своей подруги, елка вверх,
И тонкий ствол осины тянет
Развилки веток в свет прорех
И темной кожи не поранит
Своей соседки.
Сколько лет
Они идут под белый свет,
Своим содружеством сильны,
Как две натянутых струны.

Юнна Мориц

УТРОМ

Если проснуться — действительность видно
сквозь иней,
Сквозь кристаллически синий осадок оконный.
Дождик осенний играет на лире на синей,
Женщина в парке бренчит на гитаре зеленой.

Мысленный взор за пределами зримого мира
Быстро включает метафор передние фары —
Мимо проносится дождика синяя лира,
Женщина в ботах и с гирей зеленой гитары.

Хруст неизвестности слышен и рядом, и выше.
В сердце — прохлада и жуткая тишь снегопада,
Кто-то оркестрам вселенной скомандовал:
«Тише!
Если не можете тише — так вовсе не надо!»

Замерли черные галки в небесной прогулке,
Позами Гамлета выстолбив ярусы сосен.
В цинке рассвета, как прачка, синя переулки,
Желтое с синим вгоняет в зеленое осень.

Сердце, взломай глухоту герметической тары,
Хором судьбы разразись на линейках клавира!
Женщина держит зеленую гирю гитары,
Мимо проносится дождика синяя лира.

Женщина в ботах бренчит на гитаре зеленой,
Дождик осенний играет на лире на синей.
Сколько же можно давиться слезою соленой
И, холодея, разжевывать утренний иней!

Женщина в ботах и с гирей зеленой гитары,
Дождик осенний с голубенькой лирой
в обнимку,—
Я выключаю метафор передние фары!
Я не хочу до поры превратиться в травинку.

ПЧЕЛА

Пылает роза над кустом
И пахнет веселящим газом.
Теряя под наркозом разум,
На ней пчела лежит пластом.

В пчелином брюхе золотом
Жужжит струна о жизни сладкой,
Где водонос грохочет кадкой
И Дафнис нежен со скотом,—

Там голубь свеж, как вербный прут,
Там правда прет из каждой почки,
С кинжалом бродит мальчик Брут
И на богине нет сорочки.

Пчела в беспамятстве своем
Стремится в жуткое изгнанье —
С невинной вечностью вдвоем
Она сосет из розы знанье.

Вздыхает сытая душа,
И, хоботок из бездны вынув,
Она, по воздуху шурша,
Идет, как сфинкс, на лапах львиных.

Потом, выплевывая мед,
Во мраке сладком, в круговерти,
Она, как сфинкс, подруге врет:
— Как мало знаем мы о смерти!

ПРИСУТСТВИЕ ВЕСНЫ

Из-за моря в скворешню скворец прилетел.
Жизнь и смерть на зеленой скамейке сидят.
Кто проплыл надо мною мгновенье назад,
Парусиновым облаком прошелестел?

В твердокаменной чаше бурлит водопад,
На лугах раскрошился подснежников мел.
Кто вздохнул надо мною мгновенье назад,
Но ни слова при этом сказать не посмел?

Пожирает ручьи ботанический сад —
В летаргическом сне он не пил и не ел.
Кто расцвел и запел? Кто мгновенье назад
Лопнул? Кто же терпел, но другим не велел?

От какого Орфея апрель ошалел,
Все пружины завел на лирический лад?
Кто в простор накачал этот воздух баллад,
Чтоб язык заплетался и ветер свистел?

Нет, Поэзия — это не дьявольский блат,
Оформляющий визы в духовный предел!
Кто в игольное ушко мгновенье назад
Свет вечерней звезды, не колеблясь, продел?

Это кто в темноте превратить захотел
Ботанический сад в ботанический ад?
Нет, Поэзию не назначал Гиппократ
Панацеей для всех человеческих дел!

Кто же выпустил, поднял на щит, завертел
Облака и ручьи? Кто мгновенье назад
Чем-то в сердце кольнул мне три раза подряд?

На Остоженке — вечный сквозняк! Затвердел
Свет ручья под луною. И двор опустел.
Жизнь и смерть на зеленой скамейке сидят.

* * *

Еще Петрарка страшно молод,
Сыт Авиньон, Неаполь пьян,
Казна полна заморских золот
И в моде жемчуг и сафьян.

Торчит бурьян в руинах Рима,
Где семихолмие гниет
И дух Вергилия незримо
В огонь заката масло льет!
Но как Флоренция богата!
И как Венеция поет!

Богат убитый и убийца,
Богат ограбленный и вор,
И флорентиец флорентийца
Копытом конским гонит вон!

Но цыкнул громом ерихонским
Из царства мертвых Цицерон!

Смесив разгул и прилежанье,
Студенты хлынули волной.
От их пирушек горожане
Страдают болью головной.

Но обожанье — вот источник,
Который все позолотит!
И в ларчик вечности летит
Лауры крохотный платочек —

Пушинка, перышко, вопрос:
Жизнь, сон, воображенье чувства?
Щепотка, классика трех доз,
Поваренная соль искусства!

Ієв Озеров

МОСТ

Мост — удлинение прыжка.
Мост — это путь ученика
Из дома ежедневно в школу.
Мост — облегченье новоселу
И старожилу благодать.
Два одиночества связать!
Свести две жизни воедино!
Мост — это прочно, лебединно
Двух берегов красу и стать
Соединить и сочетать.

* * *

Пять студентов пировали
Поздней ночью в феврале.
Пять бутылок цинандали
Не скучали на столе.

Деревянные хибары.
Старый парк. Парашин пруд.
Тары-бары-растабары.
Годы, знать, нас не берут.

...Нас не пятеро, а двое.
Возле парка ресторан.
Подмосковный джазик воет.
Стонет тенор-ветеран.

Воет джазик. Любо-мило.
Мы сидим над бездной лет.
Все как было, все как было,
Только той пятерки нет.

Мы вдвоем. Что день вчерашний!
Сноп лучей летит из тьмы,
И Останкинская башня
Там стоит, где жили мы.

Анатолий Преловский

НА ПРОСЕКЕ

(Из хроники
Байкало-Амурской магистрали)

На развороченном лугу,
где Киренга прямит теченье
и оставляет на бегу
лишь неподъемные каменья,
стояла техника вразброд,
а за осинником — палатки
(там не жил с осени народ).
А дальше шли — домов порядки,
столовая, фундамент клуба,
коттеджи в сетке теплотрасс,
как основательно и грубо
их сколотил рабочий класс.

В Сибири первогорода
все щитовые. Магистральный
о людях думал — холода
под крышей встретил капитальной.

Не то что нам на Братской ГЭС
романтики хватить досталось —
брезентовый латать навес,
буржуйкой разгонять усталость,
едва простой — бежать к кострам,
сушиться на печной заглушке
и отдираться по утрам
от индевеющей подушки.

Но к делу!.. Пел в тайге движок,
шныряли «МАЗы» по дорогам —
вершился труд. И я не смог
стоять, как говорится, боком.

С бригадой удалых парней
в брезентовых стандартных робах
ступил на просеку. По ней,
купаясь в молодых сугробах,
пошел — и тяжесть топора
плечо забыто оттянула.
Несло соляркой от костра,
и просека в дыму тонула.
Багульник. Березняк. Лесок
был сорный. Но не в этом дело:
когда топор наискосок
вел по стволу, душа не пела,
не радовалась как тогда,
когда налево и направо
я под моря и города
леса валил не ради славы,
но ради будущего... Вот
оно: опять рублю деревья,
на них надеясь, как народ
на них надеялся издревле
и возводил без лишних дум —
не с камня начинал дороги,
но с дерева. Ах, сосен шум,
такой живой, такой далекий!

Как поредели вы, леса,
как измельчали ощутимо,
когда не то чтобы слеза,
но что-то жжет глаза... От дыма?
О, память красоты лесной
и мощи дерева в отчизне —
на протяжении одной
и не такой уж долгой жизни.

Я разогнулся и глядел,
как парни стаскивают в кучу
сырой прутняк и, чтоб горел,
кропят соляркою вонючей.
И рвется пламя до небес,
картинно овевая дымом
людей, и просеку, и лес.
В костре осинка встанет дыбом,
взлететь пытаясь. Пламень злой
вдогонку деревцу взовьется —
и рушится оно золой
под сапоги землепроходца.
А тот, присевши возле пня,
который сковырнуть забыли,
прикуривает от огня
дымящей на весь мир Сибири.

Подъехал важный лесовоз,
и парни занялись погрузкой:
стволы, обхвата в два, берез
и сосен, ахая по-русски,
швыряли с дружных плеч своих
на тракторную волокушу
и тросом так терзали их,
как будто вынимали душу.
Рывок, шажок, разгиб — и вздох
освобождения от ноши,
и сеются снежок и мох
со спин подобием пороши.
Но здесь все тот же человек,
что только что кострище ладил,
оббил с комлей налипший снег
и нежно дерево... погладил.
Вот так. Ладонью. Как плечо
или как голову ребенка.
Ревнул мотор. А тут еще
погладил, прежде чем в сторонку
отпрыгнуть...
Я рубил, рубил,
костры палил и пел беспечно,
но думал: «Наш народ любил
свои леса всегда. Извечна
в России доброта к живому
и вера в дерево жива.
Чтоб нежность одного другому
передалась — нужны ль слова
для этого? Накоротке
мы стали с будущим. Как боги.
Дай бог бессмертья ей, тайге.
Дай бог удачи ей, дороге.
Дай бог, чтоб дальше в ногу шлось
с добром, с умом, не только с веком»,—
и насыпи стальную ось
подошвой ощущал под снегом.

пос. Магистральный,
ноябрь 1974 г.

Юрий Панкратов

* * *

Вы ездили зимою на возах
в озябшем сене, затаившем запах
июльских трав и августовских злаков?
Ночь. Воздух розовеет на глазах,
и звезды опускаются на запад.

Обоз. Скрипят полозья на морозе,
и снежный наст в искрящихся слезах.
Похрустывает иней на березе,
как яблоко на молодых зубах.

А в ранний час, когда указом ночи
Стожары станут в утренний зенит,—
вдруг зазвенит далекий колокольчик,
то ль наяву, то ль в сердце зазвенит.

Звенит, родной, звенит... Не скоро кончит—
то серебро, то бронзовая медь...
Он долго будет, милый колокольчик,
издалека, сквозь жизнь твою звенеть.

Ты, странствуя, окажешься в окольном
заокеанском сумрачном краю —
и вдруг услышишь этот колокольчик,
как нежный зов на родину твою...

ОЗЕРО

Знаю я озеро
с глубью звучащей
в вещем лесу,
где на весу
держит сосна
свой навес шелестящий.
Светится озеро,
в хвойной оправе
звезды тая...
Где оно?
Я рассказать вам не вправе —
это моя
тайна.
В стране ли оно заповедной,
в сердце ль моем?
К озеру путь
по тропинке заветной —
только вдвоем.
В заводях озера,
там, где излука
важно поет,
как озаренье,
нежно,
без звука
лебедь плывет.
Вскинуты гордо
белые крылья,
перья вразлет —
в плавной воде
между трепетных лилий
лебедь плывет.

Тихо касаясь
крылом поднебесья,
в пламени вод,
словно весна,
как любовная песня,
лебедь плывет.
Будто стрела
из кленового лука,
только вперед —
через века,
как мечта и разлука,
лебедь плывет.
Реет ли ветер,
веет ли вьюга,
буря ль ревет,
как вдохновенье,
грозно без звука
лебедь плывет...
Где он —
сказать не просите об этом
тот водоем.
В песне ль?
А может, в печальном и светлом
сердце моем.
Снова один.
А туда, где звучащий
спит окоем,
можно пройти
по березовой чаще
только вдвоем...

Николай Панченко

* * *

Мой Пегас, как прежде, в мыле.
Дым клубится из ноздрей.
Мы ли, милый, не любили
Наших смелых егерей!

Но когда приходит время
Изменить величину —
И нога не лезет в стремя,
И забрало ни к чему.

И сраженье как прогулка.
Где-то гончие вопят.
Белка рыжая как булка.
В балке ржавчина опят.

То ли осень, то ли лето?
Век двадцатый ли, иной?
Все, как видно. было это
В малой капсуле земной.

И душа скорбеть готова.
Только старость начеку:
Все, что внове — с полуслова! —
Ловит в легкую строку.

ЭПИКУР

Простые истины добыты Эпикуром.
Положены фламандцем на холсты.
Но кажутся не истинно просты
тяжелые и прочные фигуры,
раскормленные птицы, как амуры,—
под ними изгибаются кусты.

Не истины — он гений доброты! —
он хочет вас во что бы то ни стало,
хотя и не пристало мудрецу,
утешить,
чтоб тревога по лицу,
что кожу морщит, словно ветер воду,
не пробегала...
Тихую погоду,
где душный полдень и холодный квас,
он мужественно делает для вас.

Ему потом придется одному
по всем счетам платить за это блюдо.

И кто-нибудь подумает:
«Не худо
придумал парень... Ай да Эпикур!
Придумал... Ай да гений доброты:
все отдал,
а имел поди как мало».

И, если не хватало, говорил,
что больше — нет! —
не у него, но — нет! —
ни у кого:
положена граница.
Хоть раз испивши кожицею свет —
да будут счастливы, как листья, лица...

Григорий Поженян

СЕВАСТОПОЛЬ 1855

В ночь четвертого числа
Нас нелегкая несла...

Л. Толстой

1

Как ходили на «уру!»
Отбирать Сапун-гору.
Ночь и цельный день.
На Федюнины высоты
нас пришло всего три роты,
а пошли полки.
Бомба лопалась, шипела,
всех дубасили «Маркела».
Всех не перебьешь.
А мы шли, как при параде.
С нами генерал Липра́нди.
Ох уж и хитер!
Как осталась половина,
повелел сбоков идти нам,
чтоб иметь обход.
А француз картечью шпарит,
пуля свищет, солнце жарит.
И бежать невмочь.
Кто с понятьем в этом деле,
Стали скидывать шинели.
Все равно — жара.
Жар страшнее, чем мортиры,
Стали скидывать мундиры —
все равно жара.
Уж как сбросили рубахи,
как схватились в рукопахе,
как взошли на вал —
всех кололи без разбору.
Отобрали свою гору.
Сколько полегло.
В ночь четвертого числа
Нас нелегкая несла
выполнить приказ.

2

На четвертом бастионе
третий раз луна в штыках.
Кровь на седлах,
на попоне,
кровь на стертых каблуках.
На французских киверах
и на отворотах пылких.
Только на штабных коврах
ни кровинки, ни пылинки.
А на Графской,
как на Графской
закружился в вальсе бант.
Настигает даму в красном
стройный флигель-адъютант.
В эту ночь пойдет и он
на четвертый бастион.
В чинной свите,
с генералом,
чтоб проведать ложемент,
чтоб познать
большое в малом,
в ожиданье новых лент.
В дни баталий,
как ни странно,
бесы путают судьбу:
кто с «Владимиром»,
кто с «Анной»,
а кто — в розовом гробу.
Но земля и небеса
уравняли всё по праву:
лжи и правды голоса,
и забвение, и славу.

СЕВАСТОПОЛЬ 1942

I

Когда Инкерманские
каменоломни дымились.
И море, как небо,
и небо, как море,
горело.
Когда от снарядов и бомб
облысели высоты
и воду в полки
даже ночью
с трудом доставляли.

Мы спали в тепле.
Мы немецкие книги читали.
Мы пили компот
и лежали весь день
на матрацах.
И было мне стыдно
не спать,
а в тепле просыпаться.
И было мне тошно
весь день притворяться
спокойным.
И было мне жарко,

и тесно, и душно,
и страшно
ждать, ждать
это слово желанное, жесткое:
— Нынче! —
Две группы захвата,
минеры с радистом Володей,
почтовые голуби
(голуби — наши связные),
и сам капитан-лейтенант —
вышли ночью на шлюпках.
А немцы их ждали.
Чудес никаких —
так бывает.
Я ранен был.
Я был убит под Одессой.
Из горьких известий,
печалей, обид
и наветов
я мог бы построить корабль,
чтоб он утонул в океане.
Но не было горше
семи человеческих криков:
— Сюда не высаживаться...—
Мы все убиты.
Володя...
И голуби тоже —
(они-то при чем?) —
не вернулись.
Они расплатились —
крылатые —
просто за верность.

Так что ж они, глупые,
нынче зимой улетели
погреться в Испанию
или в Трансвааль.
Оставались бы
дома...
Со мною...

2

Когда война приходит в города,
они темней становятся и тише.
А он казался мне светлей и выше,
значительней и строже, чем всегда.
Он был почти что рядом,
где-то тут,
за сопкой,
за спиною,
за плечами.
Бомбят его —
и мы не спим ночами.
Так боя ждем, как только боя ждут.
Шел сотый день,
сто первый,
сто второй.
Под нами с ревом оседали горы.
Но только почта покидала город
и только мертвый смел покинуть строй.
Он весь пылал,
и с четырех сторон
от бухты к бухте подползало пламя.
А нам казалось, это было с нами,
как будто мы горели, а не он.
А он горел,
и отступала мгла
от Херсонеса и до равелина.
И тень его пожаров над Берлином
уже тогда пророчеством легла.

В МОИХ УШАХ, КОНТУЖЕННЫХ ВОЙНОЙ

С. Рассадину

В моих ушах,
контуженных войной,
не гул, не звон,
а чей-то позывной.
Но чей он
и который это год —
я все забыл:
и ключ, и гриф, и код.
В моих ногах
осколки прежних лет.
Они со мной
покинут этот свет,
и вместе с ними
выйдут из огня
тот, кто стрелял,
и тот, кто спас меня.

В моих зрачках
(не я тому виной,
что жив остался,
просто я связной
меж теми, кто живут
и кто мертвы) —
в моих зрачках
зеленый цвет травы.
...Я все, что смог,
скребком годов соскреб.
Я не берег,
не подставлял свой лоб.
Не коротал
в чужой рубахе дни
и был в окопах
всем другим сродни.

В предчувствии
начала и конца —
светлее день
спокойного лица,
уверенней разжатая рука,
добрее уходящая строка.

Иду на дно
и не иду ко дну...
Так две реки
сливаются в одну,
чтоб, растворившись в море навсегда,
плыла освобожденная
вода.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Если б душа
отделялась от тела,
сколько бы чаек
ко мне прилетело.
Сколько бы ласточек
в окна влетало.
Сколько б коней
в дом тропу протоптало.
Если б душа
отделялась от тела,
я не ходил бы тайком
на Пастера,
в дом, где живут
все друзья неживые.
Где не лежат
и цветы полевые.
Может, потом
и случится такое,
там, за неслышной
подземной рекою,
на перевозе,
где лодочник желтый
знает, зачем
и откуда пришел ты.
Но на земле
не случается чуда.
Тот, кто погиб,
не приходит оттуда:
Были юнцами.
Не стали старее.
Тех, что погибли,
считаю храбрее.
Может, осколки их
были острее?
Может, к ним пули
летели быстрее?!
...Дальше продвинулись.
Дольше горели.
Тех, что погибли,
считаю храбрее.

Я СТАРЕЮ, И СНЯТСЯ МНЕ ТРАВЫ...

Я старею, и снятся мне травы,
а в ушах то сверчки, то шмели.
Но к чему наводить переправы
на оставленный берег вдали!
Ни продуктов, ни шифра, ни грязи
не хочу ни сейчас, ни потом.
Мне сказали:
— Взорвете понтон
и останетесь в плавнях для связи.—
...И остался один во вселенной,
прислонившись к понтону щекой,
восемнадцатилетний военный
с обнаженной гранатной чекой.
С той поры я бегу и бегу,
а за мною собаки по следу.
Все — на той стороне. Я последний
на последнем своем берегу.
И гудят, и гудят провода.
Боль стихает. На сердце спокойней.
Так безногому снится погоня,
неразлучная с ним навсегда.

Валентин Проталин

* * *

Старина под Псковом
сказочная, древняя,
жизнь былая — возле нового села.
Снова ждет колосьев пашня за деревнею,
что намного старину пережила.

Раскачались три березы в чистых платьицах.
В такт их танцу сердце гулкое стучит.
А земля за поворотом неба прячется.
Лишь наружу гребешок леска торчит.

Есть в ней что-то незагаданное, дикое.
Не расчешет все земные пряди сталь.
Повидавшая, зеленая, великая...
Все люблю я, и со всем расстаться жаль.

Травяная и распаханная — вот она.
Наш автобус чемоданом тащит тень.
И деревья, как домашние животные,
молчаливо сбились к избам деревень.

Нет, бездомностью я попусту не мучаюсь.
Все мне родина — и город, и село.
А волнение — дитя любви и случая —
снова судорогой душу мне свело.

* * *

Я вспоминаю: странным был
тот первый случай в детстве раннем,
когда я время, как дыханье,
растерянный, остановил.

День нежился на солнцепеке.
Бревенчатой гармонью дом,
к своей тени прижавшись боком,
дремал. И ни души кругом.

Я помню в тот далекий миг
все сразу ощущал я вместе:
шуршанье трав, случайный крик,
томление нагретой жести...

Мгновение, как перевал,
что рушишь, что даешь взамен ты?
Себя и позже заставал
я в эти редкие моменты.

И время замирает вдруг.
Защитные одежды спали
с души... Окно, трамвайный круг
и грохот, как из дальней дали.

И все ошибки прощены,
полезность дел в расчет не взята,
и свет, не повстречав стены,
задев меня, сквозит куда-то.

Мир, недоступен и велик,
встает безмерностью смущая.
Но, как ни странно, в этот миг
я весь его в себя вмещаю.

* * *

Из чаши города отпей
случайных взглядов откровенность,
невольных,
длящихся мгновенье
и пропадающих в толпе.

И все расскажет женский взгляд —
свет,
вырванный из недр планеты,
и все желания раздеты,
и этот грех невольный свят.
Но не поспеешь за мгновеньем,
не надо вздохов и речей.
Взгляд этот слишком откровенен
и смел,
а потому — ничей.

И ты проходишь в том огне,
и проклятом,
и так воспетом.
И горьким и счастливым светом
все озаряется во мне.

Юрий Ряшенцев

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛИТВУ

Вот я снова в стране, той, где хлеб называют «дуона».
Как ты хлеб ни зови, а его не возьмешь без поклона...
Экий дом-то забавный какой!
И на крыше небось жемайтийского этого дома
Дуло к дулу все свищет пустыми стволами солома —
Отголосок тоски хуторской.

А уж вот он и город, который расчерчен на плиты —
Силуэты тюльпанов историей в каждую вбиты,—
Что за чувство он будит во мне?
То ли просто тоску по готическим призракам детства.
То ль к оседлости ревность — татарского предка наследство —
Что за воля забыть о коне!

Что за воля забыть кочевую свободу туркмена,
Журналиста, монгола, геолога, гунна, спортсмена,
И прожить целый век в городке,
Только службу служа, только милый очаг раздувая,
Только милым друзьям вечера наобум раздавая,—
Жить легко, а не так, налегке...

Легкий профиль тюльпана клеймом обронили на плиты.
Ах, отцы-исповедники, местные иезуиты,
Каково-то вам нынче в раю,
Если, стройно и тяжко неся благолепье ботинка,
Столько тайн мимо исповедален проносит литвинка,—
Я в ней юность свою узнаю.

Узнаю поворот, до которого был я не вправе
Ни другого судить, ни себя же подвергнуть облаве,
Узнаю эту встряску души,
Узнаю этот ветер, наполненный липовым цветом,—
Если хочешь, вдохни его третьей декадою, летом,
А не хочешь — совсем не дыши...

УТРЕННЯЯ БАЛЛАДА

Московское скользкое утро
текло и дымилось.
Февраль, а землей-то как пахнет,
скажите на милость!
На мокром бульваре,
в ажуре ветвей и решеток,
Запутался ветер
и слег, обессилен и кроток.
Машины ползли вдоль бульвара
ни валко ни шатко —
Казалось,
у каждой в моторе от силы — лошадка.

Казалось,
Москва зареклась от заботы и спешки.
Казалось,
свисают с ветвей золотые орешки.
Но в медленном,
правильном,
праздничном,
розничном ритме
Была острота,
как в открытой и правленой бритве.
Природа давала понять,
что спешить бесполезно,
Что нынче резина скользит
и что плоть не железна.
Но двое
с двух разных концов ледяного бульвара
Летели друг к другу:
и врозь, но заведомо — пара,
Летели,
как будто и впрямь не прибыток державный,
А всплеск их душевный —
и первый в столице, и главный,
Как будто бы
некий скупой, но догадливый гений
Шепнул на ушко им
жестокую цену мгновений,
Летели,
как будто важнее, чем речь, бормотанье,
Как будто
свершенье прекраснее, чем ожиданье...
Вот он пролетел
мимо ангельской тихой семейки,
Она —
мимо праздного пса на садовой скамейке.
Он — мимо киоска,
она — мимо тумбы афишной,

Столкнулись, прильнули,
обмолвились фразой неслышной...
И стало заметно,
что в юности все изменилось:
Самих-то себя не узнали,
скажите на милость!
И стало понятно:
на старость надежда плохая —
Кто волен дышать,
тот не волен дышать, не вздыхая.
И где раздобудешь себе
дорогую остуду,
Когда
беспощадное счастье грозит отовсюду.

Владимир Савельев

* * *

Мы всегда от непогоды
словно бы чего-то ждем.
...И сады, и огороды
зашнурованы дождем.

Мокнут глинистые кручи,
тополя, кирпичный клуб.
А у тучи бас могучий
и на молниях тулуп.

Расточительно пируя,
туча движется ползком.
Мы под скрученные струи
выбегаем босиком.

Мы подкатываем брюки,
и ручьи, чеканя слог,
словно длинные гадюки,
извиваются у ног.

Мостовой гроза в охотку:
влага, павшая с высот,
как вино по подбородкам,
по булыжникам течет.

Желоба рычат по-волчьи.
Где ты, отдаленный год?
Где ты, знойное Поволжье?
Где ты, судоремзавод?

Где ты, низенькая пристань?
В небе полукруг цветной —
как прошедшие сквозь призму
вид и сущность проходной.

Гром ссыпается устало.
Но извечно дремлет тишь
под лоскутным одеялом
тесно сдвинувшихся крыш.

ПАЛАШ

Чего уж больше и куда уж дальше?
Стремясь добро отсеивать от зла,
меня немолодая комендантша
навечно в черный список занесла.

А тут еще бывалый участковый
с цигаркою, прилипшею к губе,
то на ходу, то в новенькой столовой
беседовал со мною о себе.

О трудной службе, о ее невзгодах.
Но, сдержанно презрев металлолом,
палаш войны двенадцатого года
висел у нас в бараке над столом.

Он был с моею тенью перекрещен,
с косым лучом, тускневшим на стене,
с лукавой стайкой потолочных трещин,
с дорогой, истончавшейся в окне.

И с горизонтом. И с любою далью,
которая пришлась на острие.
Палаш своею золингенской сталью
пронзал воображение мое.

И видел я, смиряя междометья,
и ощущали сердце и рука
самой России полтора столетья,
засевшие в зазубринах клинка.

Не потому ли, обходя помехи,
шагал я после смены не спеша
от жаркой стали, грохотавшей в цехе,
к немой и хладной стали палаша?

Не потому ли я, снося удушье,
клепал котлы и сваривал не раз?
Трезубец — слава, мужество, оружье —
щекочет горло каждому из нас.

И пусть, величье обретая в малом
или скользя от сути к мелочам,
мы всей душой верны своим штурвалам,
теодолитам, скальпелям, клещам.

Мы изменились — есть на то причины.
Но и сегодня, и через века
в любом мужчине вскинется мужчина
на стылый посвист старого клинка.

Д. Самойлов

СТРУФИАН

(Недостоверная повесть)

1

А где-то говорят — в Сахаре,
Открыл рисунки Питер Пэн:
Подобные скафандрам хари
И усики вроде антенн,
А может, маленькие роги.
(«Возможно — духи или боги»,—
Писал профессор Ольдеррогге...)

2

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Многообразные тревоги
Томили русского царя.
От неустройства и досад
Он выходил в осенний сад
Для совершенья моциона,
Где кроны пели исступленно
И собирался снегопад.
Я, впрочем, не был в том саду
И точно ведать не могу,
Как ветры веяли морские
В том достопамятном году...
Есть документы, дневники,
Но твердым фактам вопреки
Есть данные кое-какие.

3

А эти данные гласят
(И в них загадка для потомства),
Что более ста лет назад
В одной заимке возле Томска
Жил некий старец непростой,
Феодором он прозывался.
Лев Николаевич Толстой
Весьма им интересовался.
О старце шел в народе слух,
Что, мол, в пример земным владыкам,
Царь Александр покинул вдруг
Дворец и власть, семейный круг
И поселился в месте диком.
Мне жаль всегда таких легенд —
В них запечатлено движенье
Народного воображенья.
Увы! Всему опроверженье —
Один престранный документ,
Оставшийся по смерти старца.
Так называемая «тайна» —
Листы бумаги, в виде лент,
На них — цифирь, и, может статься,
Разбросанная не случайно.
Один знакомый программист
Искал разгадку той цифири
И сообщил: «Понятен смысл
Ее, как дважды два — четыре.
Слова «а крыют струфиан» —
Являются ключом разгадки».
Он описал в каком порядке
И как случилось, что царя
С отшельником сошлись дороги.

4

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Топталось море, словно гурт,
Захватывало дух от гула.
Но почему-то в Петербург
Царя нисколько не тянуло.
Себе внимая, Александр
Испытывал рожденье чувства,
Похожего на этот сад,
Где было сумрачно и пусто.
Пейзаж осенний был под стать
Его душевному бессилью.
...Но кто же будет за Россию
Перед всевышним отвечать?
...Неужто братец Николай,
Который хуже Константина?
...А Миша глуп и шалопай.
...Какая грустная картина!..
Темнел от мыслей царский лик
И делался melancolique.
...Уход от власти — страшный шаг.
...В России трудны перемены.
...И небывалые измены.
Сужают душный свой кушак...
Одиннадцатого числа
Царь принял тайного посла.
То прибыл унтер-офицер
Шервуд, ему открывший цель
И деятельность тайных обществ.
...О да! Уже не только ропщут!..
Он шел, вдыхая тонкий яд
и грусть осеннего убранства.
...Цвет гвардии и цвет дворянства...
А знают ли, чего хотят?
...Но я им, впрочем, не судья.
... У нас цари, цареубийцы
Не знают меж собой границы
И мрут от одного питья.
...Ужасно за своим плечом
Повсюду чуять тень злодея!

... Быть жертвою иль палачом...
Он обернулся, холодея.
Смеркалось облачно, туманно
Над Таганрогом. И тогда
Подумал император: странно,
Что в небе светится звезда!..

5

«Звезда? А может, божий знак?» —
На небо глянув, думал Федор
Кузьмин. Он пробрался обходом
К ограде царского жилья
И вслушивался в полумрак.
Он родом был донской казак.
На Бонапарта шел походом.
Потом торговлей в Таганроге
Он пробавлялся год за годом.
И вдруг затосковал о боге.
И перестал курить табак.
Торговлю бросил. Слобожанам
Внушал Кузьмин какой-то страх.
Он жил в домишке деревянном
Близ моря на семи ветрах.
Уж не бесовское ли дело
Творилось в доме Кузьмича,
Где часто за полночь горела
В окошке тусклая свеча?
Кузьмин писал. А что писал
И для чего — никто не знал.
А он под вечный хруст прибоя,
Склонясь над стопкою бумаг,
Который год писал «Благое
Намеренье об исправленье
Империи Российской». Так
Именовалось сочиненье,
Которое, как откровенье,
Творил задумчивый казак.
И для того стоял сейчас
Близ императорского дома
(Где было все ему знакомо —
Любой проход и каждый лаз)
Феодор неприметной тенью,
Чтоб государю в ноги пасть,
Дабы осуществила власть
«Намеренье об исправленье».

6

Поскольку не был сей трактат
Вручен (смотрите нашу повесть),
Мы суть его изложим, то есть
Представим несколько цитат.
«На нас, как ядовитый чад,
Европа насылает ересь.
И на Руси не станет через
Сто лет следа от наших чад.
Не станет девы с коромыслом,
Не станет молодца с сохой.
Восторжествует дух сухой,
Несовместимый с русским смыслом.
И эта духа сухота
Убьет все промысла, ремесла.
Во всей России не найдется
Ни колеса, ни хомута».
«Дабы России не остаться
Без хомута и колеса,
Необходимо наше царство
В глухие увести леса —
В Сибирь, на Север, на Восток,
Оставив за Москвой заслоны,
Как некогда увел пророк
Народ в предел незаселенный...»
«Необходимы также меры
По возвращенью старой веры.
В никонианстве есть порок,
Который суть — замах вселенский.
Руси сибирской, деревенской
Пойти сие не может впрок...»
В провинции любых времен
Есть свой уездный Сен-Симон.
Кузьмин был этого закала.
И потому он излагал
С таким упорством идеал
Российского провинциала.
И вот настал высокий час
Вручения царю прожекта.
Кузьмин вздохнул. И, помолясь,
Просунул тело в узкий лаз.

7

Дом, где располагался царь
И вместе с ним императрица,
Напоминал собою ларь,
Как в описаньях говорится.
И выходил его фасад
На небольшой фруктовый сад.
От моря дальнобойный гул
Был слышен — волны набегали.
Гвардеец, взяв на караул,
Стоял в дверях и не дыхнул,
В покоях свечи зажигали.
Барон Иван Иваныч Дибич
Глядел из кабинета в сад,
Стараясь в сумерках увидеть,
Идет ли к дому Александр.
А государь замедлил шаг,
Увидев в небе звездный знак.
Кузьмич шел прямо на него,
Готовый сразу падать ниц.
Прошу запомнить таково
Расположенье было лиц —
Гвардеец, Дибич, государь
И Федор, обыватель местный,—
Когда послышался удар
И вдруг разлился свет небесный.

8

Был непонятен и внезапен
Зеленоватый свет. Его,
Биясь как сердце, источало
Неведомое существо
Или скорее вещество,
Которое в тот миг упало
С особым звуком вроде «пах!»,
Напоминавшее колпак,
Или, точнее, полушарье,
Чуть сплюснутое по бокам,
Производящее шуршанье,
Подобно легким сквознякам.
Оно держалось на лучах,
Как бы на тысячи ресничин,
В нем свет то вспыхивал, то чах
И звук, напоминавший «пах!»,
Был страшноват и непривычен.
И в том полупрозрачном теле
Уродцы странные сидели.
Как мог потом поклясться Федор,
На головах у тех уродов
Торчали небольшие рожки.
Пока же, как это постичь,
Не зная, завопил Кузьмич
И рухнул посреди дорожки.
Он видел в сорока шагах,
Как это чудо, разгораясь,
Вдруг поднялось на двух ногах
И встало, словно птица страус.
И тут уж Федор пал в туман,
Шепча: «Крылатый струфиан!»
В окно все это видел Дибич,
Но не успел из дому выбечь.
А выбежав, увидел — пуст
И дик был сад. И пал без чувств...
Очнулся. На часах гвардейца
Хватил удар. И он был мертв.
Неподалеку был простерт
Свидетель чуда иль злодейства,
А может быть, и сам злодей.
И больше не было людей.
И понял Дибич, сад обшаря,
Что не хватало государя.

9

Был Дибич умный генерал
И голову не потерял.
Кузьмин с пристрастьем был допрошен
И в каземат тюремный брошен,
Где бредил словом «струфиан».
Елизавете Алексевне
Последовало донесенье.
Тут слез был целый океан.
Затем с фельдъегерем в столицу
Послали экстренный доклад
О том, что августейший брат
Изволил как бы... испариться.
И Николай, великий князь,
Смут или слухов убоясь,
Велел словами манифеста
Оповестить, что царь усоп.
Гвардейца положили в гроб
На императорское место.

10

А что Кузьмич? Куда девался
Истории свидетель той,
Которым интересовался
Лев Николаевич Толстой?
Лет на десять забыт в тюрьме,
Он в полном здравье и уме
Был выпущен и плетью бит
И вновь лет на десять забыт.
Потом возник уже в Сибири,
Жил на заимке у купца,
Храня секрет своей цифири.
И привлекать умел сердца.
Подозревали в нем царя,
Что бросил царские чертоги.

11

Дул сильный ветер в Таганроге,
Обычный в пору ноября.
Он через степи и леса
Летел, как весть, летел на север
Через Москву. И снег он сеял.
И вот декабрь уж начался.
А ветер вдоль Невы-реки
По гладким льдам свистал сурово.
Подбадривали Трубецкого
Лейб-гвардии бунтовщики.
Попыхивал морозец хватский,
Морскую трубочку куря.
Попахивало на Сенатской
Четырнадцатым декабря.

12

А неопознанный предмет
Летел себе среди комет.

Егор Самченко

* * *

Гроза гуляет по Днепру!
Срывается чердак
И дверью машет на ветру —
Усиливает мрак.

А я не вижу дачных крыш,
Сосновый стол разбит,
И срезан молнией камыш —
В грозу он не горит.

И гром гремит над головой...
Но пристально тиха
Земля сырая под водой —
Темна и глубока.

Она молчит и смотрит в нас,
Молчит, грозой дыша,
И смотрит тысячами глаз
Сквозь дырки камыша.

ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

В строке еще чернила
Просохли не совсем,
А мне перевалило
Уже за двадцать семь.

И сердце бьет тревогу —
За возрастом слежу,
И снова на дорогу
Один я выхожу.

Какая это мука,
Когда рука молчит,
Когда звезда ни звука
Звезде не говорит.

Владимир Семакин

* * *

Ты так прошла — пичуги не вспугнула,
птенца не потревожила — прошла,
примятый кем-то ландыш разогнула —
пускай сюда пожалует пчела.

Ты так прошла — с тропы не соступила,
прошла
почти на цыпочках
по ней,
босой ноги в росе не утопила,
чтоб не гасить причудливых огней.

Ты так прошла опушкой чернолесья,
как будто впрямь
шаги твои могли
нечаянно нарушить равновесье
реки и луга,
неба и земли.

* * *

Отпуржила зима-белоснежица —
ни пушинки в ее рукаве.
Кто-то шустрый резвится и нежится,
копошится в траве-мураве.

На лугу он сегодня главенствует,
знать не зная про зимнюю грусть.
Пусть погреется, пусть поблаженствует,
пострекочет, потешится пусть.

Пусть насытится медом по горлышко,
если проголодается вдруг,
он, пока что не знающий горюшка,
как заласканный бабушкин внук.

Михаил Синельников

МАЗАР [1]

Перекрестившийся тушканчик,
Осматривая небосвод,
Живой воды живой стаканчик
К подножью поезда несет.

Но эта жалкая водица
Плодится на груди холма,
Где жаждой сумрачной томится
Тысячелетняя тюрьма.

Бутылка, брошенная метко,
Туда не может долететь.
Мазара глиняная клетка
Степей оглядывает клеть.

Смешались щебень, соль и сода,
Земля похожа на змею.
И степь до края небосвода
Шипит, меняя чешую.

А ветер плотный и смоленый
Приносит сладкие следы
Печальной, синей, несоленой,
Всеисцеляющей воды.

И это нищее кладбище,
Где свищет смерч песчаных гроз,—
Извечной мысли пепелище
И неисчерпанный вопрос.
Прозрачно светятся могилы,
Мерцают фосфор и барит.
И птица с черепом Атиллы
Над сонным поездом парит.
Но жажда вещая миражей
Страшнее ужасов земли.
И волны Солнца
Красной стражей
Кричат и мечутся
Вдали.

...Пылают розовые травы.
Поет пастушеский курай.
И лишь верблюд, как пес трехглавый,
Безмолвствует у входа в рай.

[1] Мазар — степное кладбище.

ГРАБАР [1]

Слово предков вернулось в природу,
Словно в кварц превратился народ.
Не дано удержать переводу
Огнекрылое пение вод.

И на камнях, на розово-красных,
Словно первая явь языка,
Сотрясаясь от рева согласных,
Громогласно грохочет река.

[1] Грабар — древнеармянский язык.

Валентин Сидоров

* * *

Затихает далекий транзистор.
Мгла бесшумно в овраг улеглась.
Небо звездное влажно и чисто
И открыто для слуха и глаз.

И, приветливо щурясь и морщась,
Словно мастер иль инженер,
Ночь включает на полную мощность
Голос чисел и музыку сфер.

* * *

Разве небо безгласно и немо?
Ощутимое даже на слух,
Снова звездное творчество неба
Заключает в свой огненный круг

Воду, тихо застывшую в реках,
Цепь холмов неподвижных, луга
И космический путь человека,
Не разгаданный нами пока.

* * *

Нам все понятней год от года,
Что с синевой душа срослась.
Глубинна наша связь с природой.
Нерасторжима наша связь.

Не только небо голубое,
Дыханье снега иль тепла,
Она, природа, нам с тобою
Дарует жертвенно тела.

Дарует нам тела, в которых,
Являя жизни торжество,
Гудят безбрежные просторы
Души и духа твоего.

Нам всем, нам всем, как кровным
братьям,
Дары великие даны.
Но чем — скажите — мы отплатим
За те великие дары?

Неужто тем, что, встав из праха,
Глотая едкий горький дым,
Мы срубим дерево с размаха
То, на котором мы сидим?

Борис Слуцкий

САМЫЙ СТАРЫЙ ДОЛГ

Самый старый долг плачу:
с ложки мать кормлю в больнице:
что сегодня ей приснится?
Что со стула я лечу?
Я лечу, лечу со стула.
Я лечу,
лечу,
лечу...
Ты бы, мамочка, соснула.
Отвечает: — Не хочу.

Что там нынче ни приснись,
вся исписана страница
этой жизни.
Сверху — вниз.
С ложки
мать
кормлю в больнице.

Но какой ни выйдет сон —
снится маме утомленной:
это он,
это он,
с ложки
некогда
кормленный.

В СОРОК ШЕСТОМ

Крестьяне спали на полу.
Их слышно сквозь ночную мглу
в любой из комнатенок дома.
А дом был — окна на базар,
и всюду постлана солома
для тех крестьянок и крестьян.

Пускали их по три рубля
за ночь. Они не торговались.
Все пригородные поля
в наш ветхий дом переселялись.

Сложивши все мешки в углу,
постлавши на сенцо дерюги,
крестьяне спали на полу,
под голову сложивши руки.

Картошку выбрав из земли,
они для нашего квартала
ее побольше привезли,
хотя им тоже не хватало.

Победа полная была.
Берлин — в разрухе и развале.
Недавно демобилизовали
того, кто во главе угла.

Еще шинель не износил,
еще подметки не стоптались,
но начинают братья Даллес
очередную пробу сил.

Не долго пребывать в углу
освободителю Европы!..
Величественны и огромны,
крестьяне спали на полу.

МЕЛОЧЬ ПОД НОГАМИ

Хорошо заработать деньги.
Большущие!
Еще лучше — просто найти в траве
эти гривенники, терпеливо ждущие,
эту бронзу — по копейке, по две.

Если под ноги взглядываешь умеючи
и при этом больших новостей не ждешь,
ни за что не пройдешь мимо медной мелочи!
Никогда не пройдешь.

Замечаешь сначала, орел или решка.
Все равно, орел или решка!
Усмешка
от подарка не столь уж щедрой судьбы
проползает меж верхней и нижней губы.

В регулярном, как Петербург петровский,
мире
людям хочется и рублей,
и случайной мелочи, звонкой, броской,
и викторий гром,
и блеск ассамблей.

В мире жесткой плановой необходимости
и бредущих по расписанью ракет
хорошо из-под шкафа метлою вымести
запропавший век назад брегет.

Хорошо, что еще не списан случай
со счетов, не сброшен со стола,
хорошо
в традиции самой лучшей
иногда сказать:
была — не была!

ОБЛАСТНОЕ

Бетонная будка
автобусной остановки,
покрытая плиткой
дешевенькой глазуровки.
Фанерная будка
с большой распродажей обновки.
А также киоск
с сатуратором для газировки.

Сюда вечерами
приходят суровые битлы,
и здесь вечерами
центр местной культуры и быта.
Под звуки гитары,
традиционные звуки,
здесь долго танцуют
и девушек держат за руки.

Сверкнет мимолетом
мимо идущий автобус,
собьет самолетом
звезду с небосклона ночного,
и снова танцует
младая Московская область
и в круге фонарном
гуляет все снова и снова.

Последние дачники
дачи свои покидают,
а парни и девушки
на зиму здесь остаются.
Из школы придут,
и задачники все покидают,
и тихо танцуют,
и громко смеются.

Сергей Смирнов

АЛЬЕНДЕ И НЕРУДА

Мне боль и скорбь
радируют оттуда,
Что Чили
Не растоптана врагом.
И не ушли
Альенде и Неруда,
А держат строй
И действуют кругом.

Их ни террор, ни смерть
не разлучили.
Они в строю,
Бессменны и нужны.
И с ними —
вся непокоримость Чили,
Как меч,
до срока
спрятанный в ножны!

МОЙ ПЛАТАН

Мне Ялта — родиной, а там
В саду, почти у моря,
Стоит, красуется платан
В торжественном уборе.

Платану лет, пожалуй, сто,
А может быть, и двести.
Он грандиозен, как никто,
На том прибрежном месте.

Он светит сердцу моему,
Красой своей блистая.
И я особые к нему
Симпатии питаю.

Он весь как памятная весть,
Как мысленная Мекка:
Отец встречал рассветы здесь
Еще в начале века.

Платан до святости родным
Мне стал определенно,—
Я, вместе с матерью, под ним
Играл во время оно.

Под ним сидел, придя с войны,
И слушал гул прибоя.
И даже в «творческие сны»
Впадал само собою.

И я ему признался там
Однажды ясным летом:
«Ты, персонально,— мой платан,
Хотя и наш при этом.

Ты — мой,
в душевном смысле мой,
Могучий да хороший!..»
А он, до этого немой,
Принялся бить в ладоши.

Платан, живое существо,
Ты мой подшефный вроде...

Я в честь красавца своего
Кричу самой природе:

«Природа, будь к нему добра.
Он рыцарь по натуре!

Кипите, ливни и ветра,
Неистовствуйте, бури,
Бушуйте, грозы, в вышине,
Сверкайте неустанно...

Но —
Сохраните друга мне,
Не трогайте платана!»

Валентин Сорокин

ДУЭЛЬ

(Отрывок из поэмы)

Науськанные прихвостни,
Прищурю
Я взор,
И вот он, ваш поганый след!..
Не дуновенья прихоти,
А бурю
Пошлет поэт!
Наивных граждан нет:
Вчера — секрет, сегодня — вторит свет!
...Окно.
Пальба орудия.
Обед.

Николай

У государства — цели государства.
Под корень истреблю я вольтерьянство,
Радеет за республику дворянство,
Россия мудрых прадедов забыта!

Пушкин

Неуваженье опытом добыто!..

Николай

Мошенники,
И воры,
И пираты —
Зачислены по тюрьмам в демократы!..
Длинны в речах, да в деле коротки.

Пушкин

Спасение — винтовки и штыки?

...А зал сверкал озерами зеркал,
На площади Сенатской возникал
Александрийский столп,
И ангел томный,
Эпохи муштровой свидетель скромный,
Крылами верноподданно плескал,
И град Петра
Из парков и оград,
Из мостовых,
Острогов
И соборов
Рос над Невой,
И даже тень «Авроры»
Плыла к огням грядущих баррикад.
Свистел жандарм,
В дверь колотил приклад,
И в трапы, каменно-береговые,
Река швыряла гребни штормовые!

Меж тем, поэта привезя в чертог,
Царь продолжал неравный диалог.

Николай

Сановникам не перенесть конфуза!

Пушкин

Сановники-то немцы и французы,
По-русски написать не могут фразы,
А издают законы и указы!..

Николай

Восстать — удел раба, его недуг,
Слепая плата
За повиновенье,
Не мыслит он, по чьему ж мановенью
Хозяин новый явится, как друг?
И раб на троне — тот же гнусный раб!
И там, где вечность для него открыта,
Он приникает к свинскому корыту!

Пушкин

Ну, а сатрап в короне?

Николай

Есть сатрап!
Париж, Париж!..— И медленно поднялся:
«Свободопроповедник!
И бунтарь!
Молва гуляет!..»
И заулыбался,
Но Пушкин строг:
«Спасибо, государь!»

Царя ли дипломатии учить?
Соображает: как бы приручить,
Конфликты, эпиграммы исключить,
И притереться, и поладить как?
И на столе сжимается кулак!..

...Дуэль!
Пронзит сознание кому-то
Трагическая нации минута.

* * *

«Детей,— простонет Пушкин,— приведите!»
Жуковский впустит — малых, четверых...

П у ш к и н

Вы Сашу без меня благословите!
Вы Гришу без меня благословите!
И Машу без меня благословите!
Наташу без меня благословите!
Жену Наталию!
И остальных,—
Друзей незабываемых!..
Родных!..

Ж у к о в с к и й

В России лучше не родись поэтом,
Не травлею убьют, так пистолетом,
От чужеземцев
Нам защиты нет!
А власть взирает вскользь на сей предмет.

«К барьеру! — бредит Пушкин.—
Пистолет!...»

О, Русь моя,
Твой величавый гений
Отчаянье и муки отметет
И молвит для безвинных поколений:
«Жизнь кончена!
Я слышу: смерть идет!..»
И сразу на подушку упадет.

...Умолкнет резкий грохот пистолета.
За каждого опального поэта,
За каждого распятого поэта,
За каждого казненного поэта
Отечество потребует ответа!..

Санкт-Петербург.
И — Пушкин.
Мгла рассвета.

Дмитрий Сухарев

ИЗ СТИХОВ О ТЫЛОВОМ ДЕТСТВЕ

1. Двор

А ташкентский перрон принимал, принимал, принимал эшелоны,
Погорельцы и беженцы падали в пыль от жары,
Растекались по улицам тихие эти колонны,
Горемычная тьма набивалась в дома, наводняла дворы.

И на нашем дворе получился старушек излишек,
Получился избыток старух, избежавших огня,
И старухи старались укрыться под крыши домишек,
Ибо знали такое, что вряд ли дошло б до меня.

А середкой двора овладели, как водится, дети,
Заведя, как положено, тесный и замкнутый круг.
При стечении лиц, при вечернем и утреннем свете
Мы, мальчишки, глядели на новых печальных подруг.

И фактически, и фонетически, и хромосомно
Были разными мы. А вращательный некий момент
Формовал нас, как глину, и ангелы нашего сонма,
Просыхая на солнце, все больше являли цемент.

Я умел по-узбекски. Я купался в украинской мове.
И на идиш куплетик застрял, как осколок, во мне.
Пантюркизмы и панславянизмы и все горлопанства, панове,
Не для нас, затвердевших до срока на дворе, на великой войне.

Застарелую честь да хранит круговая порука!
Не тяните меня, доброхоты мои, алкаши,—
Я по-прежнему там, где, кружась и держась друг за друга,
Люди нашего круга тихонько поют от души.

2. *Менуэт*

Ах, менуэт, менуэт, менуэт,
К небу взлетающий, будто качели!
Ах, эта партия виолончели!
Годы минуют, а музыка — нет.

Мамка доходит в тифозном бреду,
Папка в болоте сидит с минометом,
Я, менуэт раздраконив по нотам,
С виолончелью из школы иду.

Гордо гремят со столба имена,
Золотом полнится ратная чаша!
Встану как вкопанный: бабушка наша!
Бабушка наша — при чем тут она?

Чем же ты бабушка, как Ферапонт [1],
Обогатила наш Фонд обороны?
Что за червонцы, бублоны и кроны
Ты отдала, чтобы выстоял фронт?

Бабушка скалкою давит шалу,
Дует в шалу, шелуху выдувая,
Тут ее линия передовая —
Внуков кормить в похоронном тылу.

Бабушка, пальцы в шале не таи,
Имя твое прогремело по свету!
Нет перстенька обручального, нету —
Знаю я, бабушка, тайны твои!

...Что за война с тыловой стороны,
С той стороны, где рыщет каратель?
Все же — скажу про народный характер
И про народный характер войны.

В том и характер, что дули в шалу
Или под пулями падали в поле,
Только бы в школе порхали триоли
На приснопамятном школьном балу.

Ах, этот бал, эта быль, эта боль,
Эти занятья по классу оркестра,
Нежные скрипки, прозрачный маэстро,
Музыка цепкая, как канифоль!

Ах, этот Моцарт, летящий вдали,
Эта тоска по его менуэту!
Бабушки нету и золота нету,
Нового золота не завели.

[1] Ферапонт Головатый — саратовский колхозник, бывший в годы Великой Отечественной войны одним из зачинателей движения по сбору средств в Фонд обороны.

ДВЕ ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ «ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ»

1

Нам тоже выпала редкая удача
Провести осень в Сигулде.
Кроме удачи выпал дождь,
Вернее, он выпадал то и дело,
И нам оставалось слушать,
Как хозяйка ледяным голосом
Выговаривает дочери —
Голубому цветку младшего школьного возраста.

Когда в дожде случались просветы,
Мы торопливо дышали,
Даже спускались к реке.
Несмотря на стужу, всюду росли грибы —
На улице у кромки домов
И у кромки воды на реке.
Мы сносили грибы в холодную комнату
И любовались и чистили и отделяли шляпки от ножек.
И хозяйка ледяным голосом напоминала,
Что сдавала нам койки,
Но вовсе не право
Варить, сушить или, упаси боже, жарить
Грибы.

Однажды на Гауе
Я отвернул камень
И увидел, что он облеплен планариями.
Обилие планарий — вот что меня поразило,
Такого не было даже на Балатоне,
Где их отнюдь не мало.

Говорят, глупые планарии умнеют,
Если их накормишь умными планариями.
Мы кормились в столовой хлебным супом,
Это сносно для желудка,
Но вряд ли хорошо для ума.

Я набрал планарий в банку
И привез их в Москву аспирантке Ирине.
— Какой это вид? — спросила Ирина.
— Не знаю,— ответил я.

2

Гадали: что выпадет нам впереди?
Нам выпала осень.
В тот год из нее выпадали дожди,
Как зубы из десен.

Дожди одолели, и все-таки год
Не выпал из ряда,—

Конечно, не в смысле дождливых погод,
Но в смысле наряда.

В ту осень наряд отсыревших осин
Пылал неуклонно,
И клен только к вечеру пламя гасил
Водой небосклона.

Я так и не понял: гасил по нужде
Иль просто со скуки?
Была ли нужда, чтобы гасли в дожде
И краски и звуки?

Была ли нужда, чтобы ветер листву
Крутил каруселью?
Какому он этим платил божеству?
Какому веселью?

И все-таки осень свой срок прожила —
Хотя б и во мраке,
Где ей не хватало в тот год для тепла
Детей и собаки.

Глушила дождями и краску и звук
И душу томила.
(Уедем!..) И все выпадало из рук
И было немило.

Арсений Тарковский

* * *

И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь приснится,
И повторится все, и все довоплотится,
И вам приснится все, что видел я во сне.

Там, в стороне от нас, от мира в стороне,
Волна идет вослед волне о берег биться,
А на волне — звезда, и человек, и птица,
И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне.

Зачем считать меня? Я был, и есть, и буду.
Жизнь — чудо из чудес, и на ладони чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу,

Один среди зеркал в ограде отражений
Морей и городов, лучащихся в чаду.
И мать в слезах кладет ребенка на колени.

* * *

Я тень из тех теней, которые, однажды
Испив земной воды, не утолили жажды
И возвращаются на свой кремнистый путь,
Смущая сны живых живой воды глотнуть.
Как первая ладья из чрева океана,
Как жертвенный кувшин выходит из кургана,
Так я по лестнице взойду на ту ступень,
Где будет ждать меня твоя живая тень.
А если это ложь, а если это сказка,
И если не лицо, а гипсовая маска
Глядит из-под земли на каждого из нас
Камнями жесткими своих бесслезных глаз...

* * *

С безымянного пальца кольцо
В третий раз поневоле скатилось,
Из-за каменной двери светилось
Искаженное горем лицо.

Никому, никогда ни при ком
Ни слезы, средь людей как в пустыне,
Одержимая вдовьей гордыней,
Одиночества смертным грехом...

Но стоит над могильным холмом
Выше облака снежной колонной
Царский голос ее, просветленный
Одиночества смертным грехом.

Отпусти же и мне этот грех,
Отпусти, как тебе отпустили.
Снег лежит у тебя на могиле,
Снег слетает на землю при всех.

Николай Тарасов

ИЗ ЦИКЛА СТИХОВ «СТАДИОН»

1. ВОСПОМИНАНЬЕ О ФУТБОЛЕ

Небо снизу
и небо сверху.
Перевернутый небосклон.
Из потоков
дождя и света
вырывается стадион.

Как на глянцевом мокром фото,
довоенный идет футбол.
И совсем молодой
Федотов
забивает свой первый гол.

Я смотрю на него
как на бога.
Мяч позвякивает и трава.
И оранжевая футболка
с солнцем, спрятанным в рукава.

Все исканья
оставив втуне,
стадион замыкает круг.
На Восточной его трибуне
я болею
за «Металлург».

Довоенные стынут дали.
Довоенный оркестр гремит.
Довоенный футбол в ударе.
Штанга крестится и гудит.

У истории на довольствии
от далеких ворот ключи.
И качаются, как в авоське,
все федотовские мячи.

2. БРАТЬЯ ЗНАМЕНСКИЕ

Между таймами
тайной бора
просквозив стадион до дна,
за высокой волной футбола
шла их яростная волна.

И когда они —
брат на брата —
налегке огибали век,
выраженьем
годов тридцатых
был их нервный
и длинный бег.

Помню ветер
и помню флаги
в самом дыме сороковых.
И, как в бронзе,
в летящем шаге —
два их имени роковых.

Был в их беге железный стимул,
горький привкус
и славы дым.

В «Красном спорте» —
их вечный снимок.
И текстовка моя под ним.

3. МАРСЕЛЬ СЕРДАН

Я помню Марселя Сердана —
подчеркнуто белый ринг! —
За далью, что нас связала
и вывела напрямик.

Неведомый луч слеженья
и точный, как мысль, удар.
Осеннего самосожженья
холодный боксерский дар.

Еще предстоят победы.
Еще предстоит любовь.
Смятенье ее и беды.
И камни ее и кровь.

Газетная мелодрама.
И аэродром Орли.
Кричащая телеграмма.
Все это еще — вдали.

Все в будущем.
А покамест
он жизнь выдает сполна.

И, медленно передвигаясь,
покачивается спина.

Дмитрий Ушаков

ЦВЕТЫ ИГАРКИ

Когда бы смог я — не для подарка,
А в память дальней той широты,—
Тебе привез бы цветы Игарки...
Но так не праздничны здесь цветы.

Они ютятся меж кочек рыжих,
В соседстве с вечною мерзлотой,
Они гуденья пчелы не слышат,
Здесь не гнездится пчелиный рой.

Здесь от рассвета и до заката
Счет на минуты порой идет.
Тепла и солнца здесь маловато.
Дождя и ветра — невпроворот.

Поблекли стебли, захолодали,
И лепестковый не ярок цвет...
С других планет мы цветов не знали,
А эти вроде с других планет.

ТРЕВОГА

Как наяву, я вижу издалека
Тот белый пляж, спокойную реку.
Восходит солнце, вспыхивают стекла
Домов, что тихо спят на берегу.

Родные наши, счастья и покоя
Мы вам желали, покидая порт,
Но до сих пор волнение такое,
Как будто вы на пирсе до сих пор.

У острова Колгуева, в тумане,
Мы медленно ползем, по миле в час.
И только на локаторном экране
Мы видим берег. Он не видит нас.

В календарях, помеченных июлем,
Здесь мало проку. Здесь иной отсчет...
Вы зонтики от солнца развернули,—
Над нами снова мокрый снег идет.

Над нами вновь захолодали выси,
Быть может, оттого такой туман?
А впереди, по курсу, льдины высек
И высветлил локаторный экран.

Я не про то, как трудно или страшно,
Хотя в судьбе морской все может быть...
Но мы переживем тревогу нашу,
Нам вашу бы тревогу пережить.

Евгений Храмов

* * *

Посмотрите, как красиво эта женщина идет!
Как косынка эта синяя этой женщине идет!

Посмотрите, как прекрасно с нею рядом я иду,
Как и бережно, и страстно под руку ее веду!

Посмотрите, как пленительно улыбается она,
Посмотрите — удивительны эти плечи и спина!

Посмотрите, посмотрите — пусть порадуется глаз.
Больше вместе нас не встретите, это мы в последний раз.

* * *

И вниз головою бросается трещина
к подвалу,
хвостом зацепив за чердак.
И рушится дом.
И какая-то женщина
стоит, подбородок уткнувши в кулак.
Дом кончен.
Разрушен. Растащен. Развален.
И вчуже мне жалко его,
но зато
из ванных и кухонь, передних и спален,
из дышащих нафталином пальто,
из узкой отдушины,
душной каморки
встает, отрясая обрывки цепей,
тот воздух, что заспанным был и прогорклым,
а должен быть братом морей и степей.
Ему теперь знаться с листвою древесной,
он влажным дыханьем апреля намок,
он соединяется с твердью небесной...

Не сразу каркас возведут здесь железный,
не сразу упрячут его под замок.

Варлам Шаламов

ГЕФЕСТ

В ущелье пышут горны,
Я раздуваю мех,
Ворочаюсь проворно
И слышу грома смех.

Любая спецзакалка
Доступна кузнецу,
Слюны ему не жалко,
Лесному мудрецу.

Все качества азота
Он знает там без книг,
Кипит его работа,
Заполнен каждый миг.

Добавит в воду масло
И выльет молоко,
Чтоб пламя не погасло
И сталь ковать легко.

Молотобойца место
Я в кузнице достал,
Кувалдой у Гефеста
Машу, мягчу металл.

Волшебным молоточком
Стучит хромой кузнец,
Оттяжка и отточка
Подков, Гвоздей, Сердец.

Звенит, дымит подковка
Стучит кузнец-мудрец.
Железо свито ловко
И стынет наконец.

* * *

Поэзия — не дело вкуса!
Квалифицированнейший труд
В наисегодняшнем искусстве,
Представленный на строгий суд

Сегодняшних, а не грядущих
Искателей живой воды,
Что ловят впереди идущих
Меняющиеся следы,

И — не имеющая тайны,
Открытая себе самой,
Приподнятая мощной дланью
С постели бога огневой,

И сунутая в повседневность,
В заботы светской суеты,
Где ищут мертвую царевну
И клена падают листы.

Ее тавро и иероглиф
(Частотный попросту словарь),
Случайно пущенный в дороге
Простой садовый инвентарь.

Возделывающая те же нивы,
Что и Вергилий и Назон,
Выращивающая те же сливы,
По многу раз в один сезон!

* * *

Своими, своими руками
По Питеру в пятом году
Блок нес это красное знамя,
Что после воспето стихами
В поэмы метельном чаду.

Он сам — тот Христос с красным флагом,
Двенадцать матросов за ним
Патрульным размеренным шагом,
Стихию смиряющим шагом
Прошли через вьюгу и дым.

* * *

Коктебель невелик. Он родился из книг,
Из проложенной лоции к счастью,
Кормчий Кафы поймал ослепительный миг
И причалил, ломая ненастье.

Он направил корабль по осенней луне,
Уловив силуэт Кара-Дага,
Он направил корабль по осенней волне
С безмятежной, бесстрастной отвагой.

Этот профиль луны на земле засечен
При создании нашей планеты,
Магматическим взрывом в науку включен,
И на лоции пойман, и людям вручен,
Словно дар фантазера поэта.

Пусть потом за спиной и бурлит океан
И волнуется нетерпеливо,—
Гаснет боль от телесных, душевных ли ран
В этом светло-зеленом заливе.

И пускай на луне уж давно луноход,
А не снасть генуэзского брига,
И в историю вложен ракетный полет —
Космографии новая книга,

Никогда, никогда не забудет земля,
Что тогда, в штормовую погоду,
Лишь по лунному профилю ход корабля
Он привел в эту малую воду.

* * *

Планерское — мое названье,
А не долина синих скал,
Я не платил татарской дани
За звук арабских придыханий,
Когда мечту свою искал.

Все Коктебели, Коксагызы
Отступят пред тобой, планёр,
Что ищет путь воздушной визы
В волне феодосийских бризов,
Воздушных ям, воздушных нор.

Важней завета Магомета
Природы новое лицо
И притяжения планеты,
Что душит нас с начала света
Разорванное кольцо,

Не «Королева»,— *Королёва*
Назвать хотелось бы утес:
Топонимической основой,
Топонимической обновой
Поправки век двадцатый внес.

Игорь Шкляревский

* * *

Звенели дни голодным роем.
В бездонном небе таял дым.
Нахимовцы шагали строем.
Друзья завидовали им.

Я начал труд тяжелый рано.
Окрепла честная рука.
Свободный ветер океана
плескался в горле рыбака.

Стреляли флаги парохода.
И я увидел много стран.
Что перед вечностью свобода?
Что перед небом океан?

Как бы ужаленный из бездны
лучом мерцающей звезды,—
вопрос бессмертный, бесполезный
скользнул по зеркалу воды...

ПРОРОК

Дышала буря! Край плаща светился.
Я в глубине асфальта раздвоился,
размножился в струях бегущих я...
И к вам, мои далекие друзья,
толпой своих подобий устремился!
И тысячью дорог — тысячелик —
я к вам пришел в один и тот же миг.
Зарницы воздух жгли, крутилась пена!
И стон, и вздох, и ликованья крик —
все ваши чувства сразу я постиг!
И обнял я всех вас — одновременно...
И сотни женщин предали меня!
И сотни язв нутро мое терзали!
И сотни ваших мыслей возвышали
мой бедный ум. Пустыни и моря
песок и пену мне в лицо швыряли.
И жгло меня, и било, и трясло!
Не для веселья, видно, я родился.
Но я с веселым другом веселился.
И слабому я оправлял крыло.
И хворый звал меня, изнемогая...

Я был все время около него.
Секундная ползла, как часовая.
И в первый день я прожил тыщи дней,
не помня жизни собственной своей.
И я забыл, что за других страдаю.
Но тварь дерзала в спину закричать:
— Ты равен мне! И за меня страдать
как смеешь ты, когда я процветаю? —
Ей злая радость ослепила ум,
как будто сзади накатился гул,
и грузовик тяжелый, многотонный
задел меня! И хрустнул череп тонкий.
Кровь полилась из носа, из ушей.
Но боли я не чувствовал своей.
Очнулся я... Вокруг леса сияли
И птицы жадно пищу добывали.
Бурлил ручей, и оползал овраг.
Пила с водой косуля аммиак.
Вдали асфальт сливался с небосводом.
И спутник сделал тысячный виток.
И никому не нужен был пророк!
Все шло своим неумолимым ходом.

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ВО СНЕ

Стук топора встревожил тетерева,
стряхнул небесную росу.
Лесник срубил прямое дерево
в кривом лесу.

Связало время болью кровною
отца с днепровскою сосной.
А роща сразу стала стройною,
забыла, что была кривой.

И воцарила в ней гармония!
А с мачты юноша-матрос
кричит:— Япония! Япония...—
И в небе плачет альбатрос.

* * *

Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
Ну вот мы и встретились после разлуки!
Не вечной разлуки земной...

•

Над жизнью, в которой мы прочно забыты,
над синим холодным Днепром,
над кладбищем, где мы не рядом зарыты,
сегодня мы рядом плывем.

Два облака белых. Одно розовеет,
в лазури приветствуя день.
Другое опять отдалиться не смеет,
лежит на нем первого тень.

Нам встретится дым. И о юности милой
ты вспомнишь и нежно взгрустнешь.
Я ливень пролью над твоею могилой...
А ты над моей не прольешь.

Ты первой иссякнешь в пылающем небе,
рванусь за тобою, звеня!
Но в клевере, в глине, в полыни и в хлебе
ты разве дождешься меня?

Два облака белых плывут по лазури.
Стоит ослепительный зной.
А может, и не было вовсе разлуки,
не вечной разлуки земной?

СЛУЧАЙ НА КИНОСЪЕМКАХ

Шли съемки. Сотни телеграмм,
массовки, купля и продажа.
И заказали егерям
добыть волчат для антуража.
Добыть волчат, чтоб, веселясь
секунды три или четыре,
их обласкал угрюмый князь,
затравленный в своей твердыне.
Ушел надежный человек.
И вскоре на слиянье рек
далеких — Немана и Шчары —
орешник просквозили фары.
Он здесь! Зажглись глаза у волка,
негромко хлопнула двустволка.
На иглы легкий зверь упал.
И люди крикнули: «Попал...»
Зияла рана в тощем горле.
И слезы по облезлой морде
текли... Волчицу отогнали.
Где логово — шепнул душок.
Замкнули круг. И побросали
волчат двухмесячных в мешок.
Удачно, быстро съемки шли.
Волчат кормили и ласкали.
И всех заочно разобрали
и по-собачьи нарекли.
Но в реках воды просветлели,
поля тревожно опустели,
текла по листьям желтизна.
И сердобольная шпана
вдруг полюбила поговорку:
«Вовек не стать собакой волку!»
И в пору первых холодов,
когда трясло речную веху,
полусобак, полуволков,
уже привыкших к человеку,
поспешно выпустили в лес.
Наверно, он ласкаться лез
к тому охотнику, который
о съемках ничего не знал...
И долго зимние просторы
звук выстрела одолевал.

ВДВОЕМ

Игорю Печеневу

Хорошо на душе, не спокойно.
Лодку черная крутит река.
Надвигаются мрачно и стройно
думы, горы, леса, облака.

Мы вдвоем привыкаем к бездонью.
Вот сиянье над нами взошло!
Как свечу заслоняют ладонью,
с моря туча ползет тяжело.

Окружила нас тундра ночная.
Породнили нас звезды и мрак.
Третий, рот в пустоту открывая,
захрапел! Он здоровью не враг.

* * *

Я знаю радость — не дойти до цели,
каких-то десять верст не дотянуть
до водопада, где стоят форели,
тяжелые и скользкие, как ртуть.

Цвели луга, я корчился от боли.
И зной звенел, но тряс меня озноб...
Я пропадал, как лодка на приколе,
как в городе осеннем — хлебороб!

О, водопады синей Калевалы,
желанных встреч небесный холодок
и юности восторженные планы...
Владею всем, чего достичь не смог!

* * *

Чертополох цветет во рву.
И жадно пес облезлый рыщет.
Одну из тысячи траву
свою спасительную ищет!

Мне повезло. В свой грустный план
меня больница не вписала.
Быть может, ночью в мой стакан
лесная бабочка упала...

Владимир Цыбин

* * *

Качавший пчел и гнезда птиц качавший,
с корою, раскаленной до огня,
еще зеленый,
вдруг тяжелым ставший,
упал и умер ясень возле пня.

И вместе с ним
в нем умер мир укромный,
его начало и его предел,
что, притаившись, тихо жил у кроны,
вливался в корни и в листве гудел,

мир, замкнутый в бушующие грозы,
в себя вобравший осени металл,
качал в своих ладонях теплых гнезда
и шелестом округу обсыпал.

Я не успел к нему прийти живому,
когда стоял он, празднично звеня,
не прикоснулся к каждому излому,
и умер он для всех
и для меня.

Тропинки стерты, зноем травы смяты,
и луч погас у родника на дне,
несу непоправимые утраты,
когда свет гаснет
в дереве и дне.

Пускай в былое отнесет мгновенье,
щегол умолкнет,
лист угаснет, тих,—
но мир, звучавший шелестом и звенью,
без них не полон
и бедней без них.

Встречай, земля, и шорохом и пухом,
чтоб я спешил
и к дереву и к дню,
чтоб слышал в каждом я свою родню,
я в этот мир и зрением и слухом
впечатаюсь —
и все в нем сохраню!

ТИШЬ

Вся в инее хрусткая тишь,
застыли снега, перевернуты,
и кажется только:
как стриж,
качнешься — и в снежные омуты
вдруг вниз головою слетишь.

Пусть замкнут я тишью, а все ж
все зимы, все весны, все годы,
отторгнув безличье, как ложь,
вбирал я молчанье природы
в себя,
как звучащую дрожь.

Но паводки звонко пришли
в долины, в лога и излучины,
и только с безгласной души
прозрачную каплю тиши
тебе
уроню я измученно...

* * *

А я живу одним
надежней и прямей,
что до сих пор храним
я нежностью твоей.

Когда в душе разор,
когда на сердце ложь,
я знаю с давних пор:
ты все равно спасешь.

Не мной ты спасена,
а я спасен тобой —
к тебе пригвождена
и грусть моя, и боль.

Да, я просил: согрей!
У твоего костра —
в бессоннице твоей
пребывший до конца.

Ничем не укорю
тебя за эту власть —
разящему копью
без промаха попасть.

Навылет ты прошла
в сумятице, в огне
прошла,
словно сожгла
неверие во мне.

Смогла ты оправдать,
смогла ты воскресить —
и стало горше ждать,
и стало проще жить.

Так в мире снеговом
под ветра вой и свист
на дереве прямом
звенит всю зиму лист...

ТРИБУНА КРИТИКА

Леонард Лавлинский

ЯЗЫК ЕДИНОМЫСЛИЯ И ДРУЖБЫ

Мировая поэзия звучит на бесчисленном множестве языков, но никакого воспарившего над людской речью «языка богов» на свете не существует. Иначе для общения с поэтами простым смертным пришлось бы сначала изобрести специальные небесно-земные словари. Однако поэтическое слово — сложнейший концентрат человеческого духа, оно живет и светится лишь в том случае, если прочно подключено к энергетической сети собственной эпохи. Вне этой связи оно гаснет и умирает. От древнегреческого поэта Архилоха, жившего почти три тысячелетия назад, до нас дошло несколько небольших стихотворных отрывков. Но даже по ним можно определить, что это была яркая личность, человек львиного темперамента. Вспомните хотя бы одну короткую фразу: «Пью, опершись на копье». В одном скульптурном жесте — образ целой жизни. Образ профессионального воина-наемника, отчаянного, бесшабашного, резко насмешливого (вызов судьбе и — тоска по иному бытию). Но одновременно эта строка — и характеристика своей эпохи.

Не случаен в нынешнем советском обществе возросший и продолжающий расти интерес к античности. У нас издают и переиздают Гомера и Геродота, Платона и Эврипида, Тацита и Вергилия. И эти книги читатели берут нарасхват, вместе с произведениями лучших современных писателей. Почему? Мы рассчитываем, что коммунистическая культура, фундамент которой сегодня закладывается, будет существовать не один день или год, а века и тысячелетия. Сбывается научное предвидение великого В. И. Ленина, еще на заре советской власти сказавшего, что истинным коммунистом можно стать, лишь овладев всей суммой, всем богатством знаний, которые накоплены человечеством. Для любого советского литератора этот вывод — одна из незыблемых аксиом, а если в 20-е годы кое-кто из наших поэтов грешил упрощенными представлениями о преемственности в искусстве, то никто не любит повторять своих позавчерашних ошибок.

Однако после бурного формотворческого половодья 20-х и нового широкого разлива в начале 60-х годов русская лирика постепенно возвращается в русло классической метрики. Быть может, такой поворот объясняется тем, что у сегодняшней поэзии, как правило, отсутствуют внутренние мотивы для демонстративных отречений. С традицией всенародно порывают, когда она в чем-либо себя скомпрометировала. Но даже В. Маяковский, полагая, что его ритмы ломают «ямб картавый» всей прежней лирики, на деле протестовал и бунтовал против тогдашней эпигонской лжепоэзии. Полувековой опыт показал, что классическая традиция не мешает, а, напротив, помогает новаторству, и, скажем, ямб Ф. Тютчева и ямб А. Твардовского — это, в сущности, разные стихотворные структуры.

Вообще, русская поэзия — женщина суровая и не терпит от автора вольного обращения. Правда, мои представления о вольности весьма относительны, ибо слишком зависят от музыкального строя родного языка. И еще — от исторического момента, им переживаемого. Однако в советской поэзии звучат многие языки, попросту исключающие строгую силлаботонику и вовсе не знающие явления рифмы. Естественно, у поэтов, пишущих на этих языках, представления о нормах обращения с музой существенно отличаются от моих. Но главное — не в этих внешних различиях. Ведь если говорить серьезно, значительность любого художественного творчества определяется не общим типом формальной структуры. Соотношение средств и цели в поэзии дано открыть самому автору и никому иному. А стало быть, глубина его произведений в конечном счете зависит от масштабов личной одаренности.

Русскому языку исторически повезло — он служит в нашей стране средством межнационального общения. Всесоюзная известность приходит к поэту обычно после переводов на русский. Это не значит, что стихи ничего не теряют при таком перевоплощении. Даже пересадка растения удается при условии, что сохранена вся его многосложная корневая система. А внутренний мир человека куда сложнее, чем жизнь растительная. Правда, художественная проза легче приживается на иноязычной почве, но стихи... Я, например, не без трепета думаю о трудностях, которые встанут перед переводчиком, пожелавшим озвучить на ином языке такую миниатюру А. Твардовского:

В случае главной утопии,—
В Азии этой, в Европе ли,—
Нам-то она не гроза:
Пóжили, водочки пóпили,
Будет уже за глаза.
Жаль, вроде песни той,— деточек,
Мальчиков наших да девочек,
Всей неоглядной красы...
Ранних весенних веточек
В капельках первой росы.

Неумелый перевод может низвести это десятистишье до уровня неглубокой прозы, до констатации факта, не более. А на родном языке — это живой вздох тревоги и боли. Дойдет ли до иностранного читателя глубина гражданского беспокойства, с которой ветеран Великой Отечественной войны думал о судьбах нынешней молодежи и всего живого на Земле?

Но не для того я указываю на языковые барьеры, чтобы беспомощно развести руками и признать непереводимость поэзии. Ведь пишет же латышская поэтесса Велта Калтыня: «Преодолеваем. Барьеры звука и света преодолеваем...» К ее словам я лишь добавлю: трудность задачи обычно пробуждает желание ее разрешить.

Самобытные лирические решения предлагает Ярослав Смеляков, которого я рискнул бы назвать крупнейшим (за последние пятнадцать—двадцать лет) из русских певцов и выразителей идеи социалистической государственности. (Кстати, именно стихи Смелякова — поэта, прочными узами связанного с духовной жизнью нашего рабочего класса, явились прямым историческим ответом на вопросы, поставленные зачинателями пролетарской поэзии 20-х годов. И вдобавок — резкой отповедью любым вульгаризаторам и сектантам от искусства.) Насквозь полемичная, бойцовая по темпераменту «газетная лира» Я. Смелякова чужда архаики, но поэт умело пользовался всеми речевыми красками, сообщая своим изображениям историческую объемность. Радуясь духовному родству с великими предшественниками, автор предостерегал от крайностей в увлечении национальной стариной:

Но в этих радостях искомых
Не упустить бы, на беду,
Красноармейского шелома
Пятиконечную звезду.

Чтобы оценить здесь внешне неброское мастерство Я. Смелякова, читатель должен вспомнить о сдвигах и изменениях, происшедших в русском литературном языке после Октября. Я имею в виду даже не возникшие тогда бесчисленные неологизмы (этот лексический пласт был блистательно использован В. Маяковским), а переосмысление многих старинных слов и оборотов. Например, слово «шлем» когда-то означало кованный из железа защитный головной убор — его надевал ратник, идущий в сечу. Этот убор имел заостренную кверху форму. Однако во время гражданской войны с контрреволюцией «шлемами» стали называть по сходству суконные красноармейские шапки — в то время тоже остроконечные. Позже название закрепилось за головным убором воина. Мы знаем шлем танкиста, шлем летчика. Металлический звон ушел из слова, и, чтобы его вернуть, Смеляков избрал очень древнюю корневую форму — «шелом». Это сразу указало на национальную принадлежность революционного бойца. Более того — на духовную преемственность между героическими защитниками древней Руси и нами. Краснознаменный Октябрь вырос из народных недр, как бы говорит здесь поэт, и это есть лучшее, главное наследие, завещанное нам пращурами. Таково смелое и почтительное обращение Я. Смелякова с отчим словом.

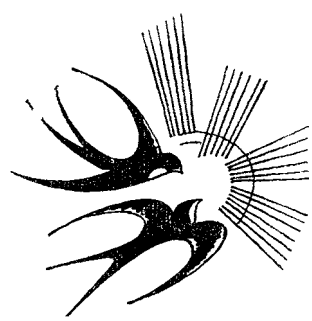
Разумеется, художественный перевод внутри нашей страны все-таки значительно облегчен единой системой нравственных координат и точек отсчета. У украинца Бориса Олейника и русского Олега Чухонцева, у латышки Велты Калтыни и армянина Юрия Саакяна детство прошло примерно в сходных условиях: оно так или иначе опалено минувшей войной. Не мудрено, что у каждого из этих поэтов мы находим стихи об утратах и пожарищах, о трагедии и бессмертии ратного подвига. И хотя они пишут на разных языках и используют самые различные выразительные средства, главная направленность творческих поисков задана единым строем духовной жизни.

К примеру, П.-Э. Руммо пишет привычным для эстонского слуха верлибром и на много строк размахивает феерическую метафору — высказывает желание «быть пейзажем, быть пейзажем грандиозным». Жаждет вобрать в себя все краски мира. Но все-таки он заключает свой необъятный пейзаж в раму, висящую на стене районного музея. Прикрепляет изображение к конкретной географической точке на карте родины. И, условно воплощаясь в вещь, желает погибнуть оттого, что кто-то спутает иллюзию искусства с действительностью. Такая самоотверженность — фамильный знак серьезного художника. О. Чухонцев — резко отличная от Руммо, но тоже яркая индивидуальность. Он пишет строго классическим стихом, символически переосмысляя пластические вещные детали локального изображения. Хотя и не высказывает столь неосуществимого (в буквальном смысле) желания — «стать пейзажем», мы улавливаем сходство его мыслей с раздумьями сверстника. Останавливаемся перед отражением «дрожащей бездны мироздания» в простой кадке с дождевой водой. Та же

сложная взаимосвязь мимолетного и вечного, местно-бытового и космически-неоглядного, не правда ли? Только связь, совсем по-иному выраженная. О. Чухонцев с бережливой опаской касается прекрасной тайны жизни — боится, что от сверкающего чуда на пальцах останется лишь «тальк с мотылька». Однако и он высказывает готовность к любой творческой участи — вплоть до поражения. Вплетая в свою лирическую мелодию строки бессмертного «Слова о полку Игореве», он сообщает стихам тревожную и печальную тональность. Ведь эти строки в тексте древнего памятника предшествуют картине гибели княжьего войска в битве со степными кочевниками. Поэт тоже готов и к безвестности, и к гибели. Его отрада не в успехе — в чувстве духовного родства с соотечественниками. П.-Э. Руммо обладает более дерзким и наступательным темпераментом, чем его собрат по перу. Но оба — тонкие лирики, достойно преданные своему призванию. И оба свободно мыслят философскими категориями.

Конечно, по тем именам, что здесь упомянуты, можно лишь очень приблизительно судить о широчайшей панораме нашей многонациональной лирики. Но хочется верить, что и зарубежные читатели оценят их по достоинству: друг обычно понимает друга. Ведь можем же мы хотя бы в общих чертах вообразить ископаемые времена Архилоха и его, такой отличный от нашего, внутренний мир! Советскую поэзию понять, право же, легче: она созвучна всем тревогам и болям преображающейся планеты.

Вечер одного стихотворения



Зинаида Александрова

СЕРЕБРО

В той речке, где я утопила ведро,
Однажды мальчишки нашли серебро.
Меж камушков чистых и черных улиток
Лежал потемневший серебряный слиток.
Веками таился он в грунте сыром
С тех пор, как рубили рубли топором.
Еще допетровский, еще не орленый
Серебряный рубль, под корягой зеленой
И доброй находки таинственный след
Дразнил мое сердце с девчоночьих лет.
Как снова хотелось войти в эту речку,
Себе серебра поискать на колечко,
Где в омуте небо до самого дна
И черная банька на круче видна.
Лечу я с гусями на север,
на север,
Меня там не ждут ни золовка, ни деверь,
А ждут, если живы, подруги карелки
И с рыбой речной пироги скороспелки.

Знакомой дорогой, серебряной ранью
С ребячьей мечтой я спешу на свиданье.
И сразу,
с дороги,
с рассвета,
с утра
Я вижу в сетях водопад серебра.
Над каждой избою, за каждой калиткой
Туман из капрона с серебряной ниткой.
На серых камнях серебро чешуи,
На елках серебряные лишаи.
Полно серебра у старух под платками,
В скатерках суровых,
во щах со снетками...
С покрытых щепою серебряных крыш
Нисходит на речку блаженная тишь.

От юности бедной, от горького детства
Я все серебро получила в наследство!

Олег Алексеев

* * *

Всегда тяготит расставанье,
Ведь сердцу не скажешь: «Терпи!»
Хакасские изваянья
Застыли в полдневной степи.
Забытый художник великий
Отважно работал резцом.
Прекрасны хакасские лики
И солнце с хакасским лицом.
Грустят ли, домой уезжая?
Но что-то случилось со мной:
Земля ветровая, чужая
Мне вдруг показалась родной.
Оплавленные веками,
Далекие тайны храня,
Корявые хмурые камни,
Как люди, глядят на меня...

Белла Ахмадулина

ДАЧНЫЙ РОМАН

Вот вам роман из жизни дачной.
Он начинался в октябре,
когда зимы кристалл невзрачный
мерцал при утренней заре.
И тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
был зренья моего добычей
и пленником души моей.
Недавно, добрый и почтенный,
сосед мой умер, и вдова,
для завершенья жизни бренной,
уехала, а дом сдала.
Так появились брат с сестрою.
По вечерам в чужом окне
сияла кроткою звездою
их жизнь, неведомая мне.
В благовоспитанном соседстве
поврозь мы дождались зимы,
но, с тайным любопытством в сердце,
невольно сообщались мы.
Когда вблизи моей тетради
встречались солнце и сосна,
тропинкой скрытой в снегопаде,
спешила к станции сестра.
Я полюбила тратить зренье
на этот мимолетный бег,
и длилась целое мгновенье
улыбка, свежая как снег.
Брат был свободней и не должен
вставать, пока не встанет день.
«Кто он? — я думала.— Художник?»
А думать дальше было лень.
Всю зиму я жила привычкой
их лица видеть поутру
и знать, с какою электричкой
брат пустится встречать сестру.
Я наблюдала их проказы,
снежки, огни, когда темно,
и знала, что они прекрасны,
а кто они — не все ль равно?
Я вглядывалась в них так остро,
как в глушь иноязычных книг,
и слаще явного знакомства
мне были вымыслы о них.
Их дней цветущие картины
растила я меж сонных век,
сослав их образы в куртины,
в заглохший сад, в старинный снег.
Весной мы сблизились — не тесно,
не участив случайность встреч.
Их лица были так чудесно
ясны, так благородна речь.
Мы сиживали в час заката
в саду, где липа и скамья.
Брат без сестры, сестра без брата,
как ими любовалась я!
Я шла домой и до рассвета
зрачок держала на луне.
Когда бы не несчастье это,
была б несчастна я вполне.
Тек август. Двум моим соседям
прискучила его жара.
Пришли, и молвил брат:— Мы едем.
— Мы едем,— молвила сестра.
Простились мы — скорей степенно,
чем пылко. Выпили вина.
Они уехали. Стемнело.
Их ключ остался у меня.
Затем пришло письмо от брата:
«Коли прогневаетесь Вы,
я не страшусь: мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.
Зачем, простак недальновидный,
я тронул на снегу Ваш след?
Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился,— еле видный,
доныне излучает свет
ладонь...» С печалью деловитой
я поняла, что он — поэт,
и заскучала...
Тем не мене
отвыкшие скрипеть ступени
я поступью моей бужу,
когда в соседний дом хожу,
одна играю в свет и тени
и для таинственной затеи
часы зачем-то завожу
и долго за полночь сижу.
Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе
зайдется ставня. Видно мне,
как ум забытой ими книги
печально светится во тьме.
Уж осень. Разве осень? Осень.
Вот свет. Вот сумерки легли.
— Но где ж роман? —
читатель спросит.—
Здесь нет героя, нет любви!
Меж тем — все есть! Окрест крепчает
октябрь, и это означает,
что тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
идет дорогою обычной
на жадный зов свечи моей.
Сад облетает первобытный,
и от любви кровопролитной
немеет сердце, и в костры
сгребают листья... Брат сестры,
прощай навеки! Ночью лунной

другой возлюбленный безумный,
чья поступь молодому льду
не тяжела, минует тьму
и к моему подходит дому.
Уж если говорить: люблю! —
то, разумеется, ему,
а не кому-нибудь другому.
Очнись, читатель любопытный!
Вскричи: — Как, намертво убитый
и прочный, точно лунный свет,
тебя он любит?! —
Вовсе нет.
Хочу соврать и не совру,
как ни мучительна мне правда.
Боюсь, что он влюблен в сестру
стихи слагающего брата.
Я влюблена, она любима —
вот вам сюжета грозный крен.

Ах, я не зря ее ловила
на робком сходстве с Анной Керн!
В час грустных наших посиделок
твержу ему:— Тебя злодей
убил! Ты заново содеян
из жизни, из любви моей!
Коль ты таков — во мглу веков
назад сошлю! —
Не отвечает
и думает: «Она стихов
не пишет, часом?» — и скучает.
Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.

Антонина Баева

СТАРОДУБКА

Ты видел маленькое солнце —
Венок из ярко-желтых лепестков
Вокруг живой глазастой сердцевины?
Оно проклюнулось
Из недр земли,
Как маленький утенок из скорлупки,
И, встав на ножку,
Удивленно смотрит
На синий май,
Раскрасивший наряды
Лесных подснежников и сладких медуниц.
Оно взбежало
На пригорок теплый
И будет там теперь цвести до лета
И удивлять всех тонким ароматом,
Живущим в гибком стебле и в листках...
Что может быть прекрасней назначенья
Быть и самим собой
И в то же время
Быть солнышком —
Хотя бы
Муравью?..

Эдуард Балашов

ВОСПОМИНАНИЕ О СУВОРОВСКОМ УЧИЛИЩЕ

Памяти Валерия Попенченко

Друзья мои, я вас не забываю.
Простите, что имен не называю.
Хотя какие могут быть секреты.
Не сохранились в памяти приметы.
Поверьте мне, за столькими годами
Себя узнать бы не смогли вы сами,
Как я себя теперь не узнаю.
Я вижу вас, суворовцы, в строю.

Замечу кстати: так уж получилось,
Что слово «строй» на рифме очутилось,
Строфу традиционную венчая.
Не в моде нынче форма строевая.
Но как тут быть, когда слова со мною
Шагают в ногу, подчиняясь строю.
А я, друзья, иду за вами вслед.
Дистанция меж нами — двадцать лет.

Под пыльным солнцем, под ташкентским небом,
Вскормленные послевоенным хлебом,
Мы верили, что мы нужны отчизне
(Погибшие отцы нас звали к жизни).
Сплоченные навязчивым сиротством,
С легко ранимым дерзким благородством,
Со всех концов страны, сошлись на том:
Училище теперь нам отчий дом.

Уроки танцев, выправки и лоска.
Уроки фехтования и бокса.
В готовность приведенные порядки.
Мундиры черные. Как снег — перчатки.
Подрезанные козырьки. Лампасы
На брюках клеш. И блеск, и запах ваксы.
А на погонах знаков мишура.
Мурашки славы — в воздухе «Ура!».

Сыны полка на нашем правом фланге.
Идет парад. Шумят знамена, флаги.
Гремят оркестры. Движутся «коробки».
Клубится пыль. Жара. Пустыня в глотке.
Уже зовет команда: «К повороту!»
Упал один. Позор для первой роты.
«Сомкнуть ряды!» И новый запасной
Спешит счастливый встать во фронт со мной.

Листала жизнь параграфы устава.
Забилась в угол школьная забава.
От малого и до большого чина
Нам диктовала волю дисциплина.
Все — по часам. В строю быть как из пушки.
И сон мечтал добраться до подушки.
Но в краткие минуты перед сном
Мечтали мы, но каждый о своем.

Каникулы. Коричневое лето.
Сгорает ночь, как порох. Гарь рассвета
Летит в вагонное окно. И поезд
Дает гудки. Пыхтя и беспокоясь,
Сбавляет ход. И вот, умывшись паром,
Встает как вкопанный. И всем базаром
Спешит к дверям торговля воевать.
А я приехал: «Мама! Здравствуй, мать!»

В училище взрослела наша дружба.
Все тяжелей тянула лямку служба.
А за стенами — вольный, необъятный
Гражданский мир, чужой и непонятный.
И любопытству рядом с вероломством
Обязаны мы радостным знакомством
С девичьим взглядом, с дракой удалой
И с карцером — недаром ты герой.

Неделя прочь. Воскресное волненье.
Блестящий строй идущих в увольненье.
И город нам распахивает двери.
Цветет аллея встреч в центральном сквере
Нарядами, улыбками, смущеньем,
Восторгами, притворным возмущеньем.
Везучим — танцы, невезучим — тир.
Хохочет платье. Пыжится мундир.

О девочки, моих друзей подруги!
Вы, словно вальса ветреного звуки,
Легко кружась, нам головы кружили.
Как мы любить и ссориться спешили!
И часто обижали вас невольно,
Но целовали робко и не больно,
А засыпая, думали о вас.
И сон кружил нам головы, как вальс.

«Ро-та-а в ружь-е!» И сна как не бывало.
Под потолок, как птицы,— одеяла.
Казарма на ногах — всего минута! —
Стоит в строю, одета и обута,
Навытяжку, сжимая карабины.
Торопятся дотошные старшины.
Осмотр, поверка, рапорты, приказ.
И марш-бросок: «Бегом! Шагом!» — раз в раз.

Последний бал. Всю ночь мы танцевали
Под духовой оркестр в спортивном зале,

Под тот оркестр, чьи строевые марши
Вошли в размеренные будни наши,
Вели нас на обед в пары «овсянки».
Друзья, споем «Прощание славянки»!
«Не плачь, не горюй...» — пел чуть не плача
хор.
Вставай, трубач! Играй нам «общий сбор»!

Дай руку, друг! Прощай, шестая рота!
На свете нет надежнее оплота.
Всегда, везде и всюду — только вместе.
Ни шагу против совести и чести.
Все поровну: и радости, и беды,
И пораженья в спорте, и победы.
«Один за всех и все за одного!»
Всего не вспомнить, не забыть всего.

Друзья мои! Семья моя большая!
Нас не забыла почта полевая.
С ее отважным штемпелем конверты
Приветы шлют нам через километры.
Суворовцы! Мы носим имя славы.
Нам жизни пограничные заставы
Доверены отечеством, судьбой.
Уходит вдаль разомкнутый наш строй.

Кто ныне мы: морские офицеры,
Вожди пехоты, волею карьеры
Штабные львы? С какого полустанка
Пришло письмо? (Я вышел на «гражданку».)
Оно нашло меня в толпе проворной,
Запечатлелось в памяти просторной.
И я, друзья, на миг вернул вас в строй,
Что был и жизнью нашей, и игрой.

Михаил Беляев

АВГУСТ

Зачем кончаться августу погодой,
На склоне лета унимать дожди?
Короче отдых...
До того короток,
Хоть в дом порой
Совсем не заходи.
Она вершится, осень!
Ближе видишь,
Как в норы забирается зверье.
Горит рябина.
И не хочешь — выйдешь
И запоешь
Под гроздьями ее.
Зачем так тихо,
И тепло, и нежно?
И шум шагов —
Как будто крыльев взмах
Перед большим
Простором белоснежным,
Перед большими звездами в ночах.
И никакое горе не утишить,
И никакой печали не уйти.
А солнце ярче,
Словно стало выше,
И далеко

Развиднелись пути.

Виктор Боков

* * *

Собираю грибы и орехи —
Для забавы и для потехи,
Собираю бруснику в лесу,
Расписной кузовочек несу.
Может, Нестеров мне попадется?
Может, Чехов пройдет, улыбнется?
Может, встретится Гоголь с клюкой
Или даже Бетховен глухой?
Я свирельку беру и свирелю,
Не играл, почитай, всю неделю,
Как соскучился без нее,
Люди! Музыка — счастье мое!
Люди! В музыке помысел чистый,
В ней скрывается истина истин:
Надо мир одарять добротой,
Бескорыстием и красотой.
Ой, да, лю-ли, пою, напеваю,
Кузовок целый день наполняю —
То брусникой, то белым грибом,
То рябиною — вот мой альбом!

Анатолий Брагин

НОЙ

(Из цикла «Легенды и мифы»)

Был капитан на славу
Наш прародитель Ной,
Он сорок суток плавал
Под бурей проливной.
И всякой божьей твари
От мошки до слона
Возил с собой по паре,
Берег на семена.
«О люди-человеки!
Вот век вам золотой —
Вся фауна в ковчеге,
А флора под водой!»
Утих всемирный ливень,
И воды снизошли,
И с ветками оливы
Два голубка пришли...
«Сыны! Начнем сначала»,—
Промолвил патриарх
И к берегу причалил
Плавучий зоопарк.

Лариса Васильева

* * *

Да, это страшное блаженство —
все допустить и все простить,
поняв земли несовершенство,
бессильно руки опустить
и наблюдать, как мимо мчится,
пугая грохотом подков,
наполненная колесница
всех человеческих грехов,
а ты, уже ничем не связан,
увы, не ведаешь о том,
что равнодушием наказан
сильней, чем грешники костром.

Герман Валиков

СТАРИННЫЕ МАРШИ

Как старый снег, забытый, прошлогодний,
Вдруг заявился б, ожив наяву,
Кавалергардский строгий, благородный
Старинный марш морочит всю Москву.
Такой, по сути, церемониальный,
Такой фанфарно-праздничный и все ж
Такой туманно, про себя, печальный,
Что ничего на свете не поймешь.

Весна и та запнулась на подходе,
Ее навряд ли радует прием,—
Сей форс-мажор, что чуть ли что не в моде,
Ей неуместным кажется старьем.

Но лишь вздохнут кларнеты и валторны,
Труба шагнет навстречу небесам,
И ты — за ней!.. Все возрасты покорны
Неукротимым этим голосам.

И дела нет — какую чтя заслугу
И на кой ляд соблаговолено,
Но в жизнь пуститься по второму кругу
Ему, свое отжившему, дано.
Дано опять греметь во все кимвалы,
Во имя прежних ратуя химер,
Во славу тех, что как один, бывало,
Лишь помани — за ним во весь карьер...

А тех ничто вовеки не поднимет,
Уж не всполощут с клекотом в ветрах
Ни те орлы, что реяли над ними,
Ни треколеры, стоптанные в прах...

А он не верит, яростен до крика,
Зовет... Живых вгоняя в забытье,
И в грезь, и бредь... И вся эта музы́ка
Совсем как дело гиблое мое.

А дело худо. Никакого слада.
Дела табак и полная труба.
Весна нейдет, не хочет, и не надо,
Чему помогут цветики, трава?
Ну что трава, коль сам Преображенский,
Где флейта льется звонче соловья,
И тот не в руку... Слушай да блаженствуй,
Ее движенья искоса ловя.

Сиди да слушай, как опять, балуя,
Свое коленце выкинет фагот:
— Пора, пора, пора напропалую! —
Чем черт не шутит в странный этот год...
О вертопрах, не напускай туману!
Года идут, но где ты был вчера?
Уймись, мошенник!.. Слышу, да не встану.
Хоть и давно откланяться пора.

К чему спешить, пока крещендо вьется,
Идет на взлет, и, может, в этот миг
Сама весна стоит, не шевельнется,
Не в силах шагу сделать напрямик.
И может быть, она еще в начале
Лишь оттого свою забыла прыть,
Что, внемля маршу, сникла от печали...
Да, может, чтоб меня не торопить.

Петр Вегин

СБОР ЯБЛОК

Сбор яблок —
торжество осени за счет трудолюбия
лета. Люди с корзинками напоминают
картинки из учебника истории, где
древние египтяне несут на плечах
камни для пирамид.
Сбор яблок —
смена певчих птиц на деревьях
ловкими мальчишками, под которыми
ветви не гнутся. В каждом яблоке —
воспоминание о белом цветке,
которым он был. А если бы Ньютон
лежал под яблоней в мае и на него
осыпался бы яблонев цвет?..
Сбор яблок —
так маркер в биллиардной собирает
шары, мечтая вырваться из прокуренной
залы туда, где ненумерованный
биллиард яблок катится по зеленому
сукну травы и запах яблок сильней,
чем азарт игроков.
Сбор яблок —
где властолюбец, положив на ладонь,
ощущает яблоко как скипетр и на миг
видит себя монархом, а сластолюбец,
сжимая тугой белый плод, испытывает
ощущения Казановы.
Сбор яблок —
он предвещает сбор журавлей. Пальцы
сборщиков еще долго будут помнить
форму яблока и с трудом распрямляться.
Художник будет долго елозить
кистью, придавая изображению
сходство с натурщицей-яблоней,
но запах яблок останется только
в нем — его на холст не выдавить,
как из тюбика. Но однажды зимой
он прорвется, как правда прорывается
из терпеливого человека,—
запах собранных яблок — и тогда
всё, от женщины, лежащей рядом,
до редких огоньков предместья,
вбирает в себя этот запах и снежное
пространство превращается
в праздничный сад, где начинается
сбор яблок, и с ветки падает три
яблока:
первое — тому, кто рассказывал,
второе — тому, кто слушал,
третье — тому, кто понял...

Владимир Высоцкий

ИЗ ДОРОЖНОГО ДНЕВНИКА

Ожидание длилось,
а проводы были недолги —
Пожелали друзья:
«В добрый путь! Чтобы — все без помех!» —
И четыре страны
предо мной расстелили дороги,
И четыре границы
шлагбаумы подняли вверх.
Тени голых берез
добровольно легли под колеса,
Залоснилось шоссе
и штыком заострилось вдали.
Вечный смертник, комар
разбивался у самого носа,
Превращая стекло
лобовое
в картину Дали.
И сумбурные мысли,
лениво стучавшие в темя,
Всколыхнулись во мне —
ну попробуй-ка останови!
И в машину ко мне
постучало военное время —
Я впустил это время, замешенное на крови.
И сейчас же в кабину
глаза из бинтов заглянули
И спросили: «Куда ты?
На запад?
Вертайся назад!»
Я ответить не мог:
по обшивке царапнули пули.
Я услышал: «Ложись!
Берегись!
Проскочили!
Бомбят!»
И исчезло шоссе —
мой единственный верный фарватер.
Только елей стволы
без обрубленных минами крон.
Бестелесный поток
обтекал не спеша радиатор.
Я за сутки пути
не продвинулся ни на микрон.
Я уснул за рулем.
Я давно разомлел до зевоты.
Ущипнуть себя за ухо
или глаза протереть?
И в машине с собой
я увидел сержанта пехоты.
«Ишь, трофейная пакость,—
сказал он.— Удобно сидеть».
Мы поели с сержантом
домашних котлет и редиски.

Он опять удивился:
откуда такое в войну?
«Я, браток,— говорит,—
восемь дней, как позавтракал в Минске.
Ну, спасибо. Езжай!
Будет время — опять загляну».
Он ушел на восток
со своим поредевшим отрядом.
Снова мирное время
в кабину вошло сквозь броню.
Это время глядело
единственной женщиной рядом.
И она мне сказала:
«Устал? Отдохни — я сменю».
Все в порядке. На месте.
Мы едем к границе. Нас двое.
Тридцать лет отделяет
от только что виденных встреч.
Вот забегали щетки —
отмыли стекло лобовое.
Мы увидели знаки,
что призваны предостеречь.
Кроме редких ухабов,
ничто на войну не похоже.
Только лес — молодой,
да сквозь снова налипшую грязь
Два огромных штыка
полоснули морозом по коже
Остриями —
по-мирному —
кверху,
а не накренясь.
Здесь, на трассе прямой,
мне, не знавшему пуль, показалось,
Что и я где-то здесь
довоевывал невдалеке.
Потому для меня
и шоссе словно штык заострялось,
И лохмотия свастик
болтались на этом штыке...

Александр Говоров

ГРАД УРАЙ

Роберту Мурадовичу Мкртычеву,
председателю горисполкома

Живи и здравствуй, град Урай!
Тебя я снова навещаю,
И, нежным словом улещая,
Я восклицаю:
— Что за край! —
Такой раскатисто-тягучий,
Что даже эха не слыхать,
Такой раскидисто-могучий,
Что и душою не объять.
К твоим делам, подобным песням,
Душой усталою припал,
В твоих владениях пропал
И не спешу уже с отъездом.
Раздолье здесь большим делам,
Я их оглаживаю взглядом...
— Послушай, Роберт!
В газик сядем —
И сквозь тайгу к буровикам...—
И вновь шепчу:
— Живи, Урай!
Всех благ тебе в твоих стремленьях!
Остановил ты невзначай
Меня сейчас в своих владеньях,
Душа на этой остановке
Передохнула от забот,
И — побывала в перековке,
И — просветленная поет.

Юрий Гордиенко

КОРНИ

Мастеру древесной скульптуры
Степану Дмитриевичу Эрзя

По макушку набит идеями
Этот скромный резчик по дереву.

Расплатившись, гуляк минуя,
Покидает старик пивную.

О высокой любви тоскуя,
Он спускается в мастерскую.

В мастерской, словно в адской яме,
Долго роется в матерьяле.

Так и эдак вертя, примерит
Чудо-пни из южных Америк.

Кряж кедровый пихнет, к чинаре
Повернется... И начинает.

В лапе мастера некрасивой
Содрогается древесина.

Все податливей, все покорней
Под ножом оживают корни.

Он неистовствует, он колдует,
Душу в дерево вот-вот вдунет.

А оно ему не дается —
Мертвым дерево остается!

Он ругает дерево матом
И наждачной гладит бумагой.

Дунул, плюнул и засмеялся:
Корни ожили — это ясно!

Но какие они уроды,
Эти корни людской породы!

Как их жизни пусты и утлы
И бесцельны при свете утра!

В торопливых и жадных ласках
Гнутся руки их, словно ласты.

Свиты ноги их, как миноги,
Только души их — одиноки...

Мастер сел, рыжину ероша:
Что наделал ты... Ну и рожи!

К жбану с пивом припал усами:
Пусть выпутываются сами!

Юлия Друнина

* * *

Двери настежь, сердце настежь,
Прочь замки, долой засовы!
Я тебе желаю счастья —
Настоящего, большого!
Исцеляя и врачуя,
Пусть шагнет оно навстречу.
Так мучительно хочу я,
Чтобы ты расправил плечи!
Чтоб запели в сердце струны —
Те, что заглушили годы,
Чтобы снова стал ты юным,
И уверенным, и гордым —
Дерзкоглазым, бесшабашным
Лейтенантом желторотым,
Тем, кто бросил в рукопашный
Батальон морской пехоты!

Кто потом, в парад Победы,
На брусчатке шаг печатал...
А еще могу поведать,
Как ты нравился девчатам!
...Пусть идут в атаку годы,
Пусть испытано немало —
Не пора еще на отдых
Тем, кто вышел в генералы!
Для меня ты бесшабашный
Помкомроты желторотый,
Тот, кто бросил в рукопашный
Батальон морской пехоты!
Распахни же сердце настежь,
Стань самим собою снова:
Ты ли не достоин счастья? —
Настоящего, большого!

Глеб Еремеев

* * *

Война вошла в мальчишество мое
Сперва без дыма, крови и тревоги,
А как заходят путники в жилье
Передохнуть, испить воды с дороги.
Она хлебами шла из-за реки,
Оттуда, где закаты занимались.
Подолгу, помню, теплились штыки,
Пока солдаты в гору подымались.
Попарно, кучками, по одному,
Не торопясь, они к Москве пылили,
Порой у нас, в окраинном дому,
Степенно, сняв пилотки, воду пили
И дальше, на восток, полями шли,
И все, казалось, были пожилые,
Хотя, наверно, попросту в пыли,
В обмотках серых, серые и злые.
Глаза закрою, вижу, как теперь,
Распахнутые настежь двери дома
И как ложится на пол через дверь
Зари вечерней свежая солома.
И вижу мать у белого стола
В обнимку с черным чугуном картошки
И двух солдат, которым подала
Моя сестренка расписные ложки.

Солдаты ели истово, в запас,
А старший, рыжий, с вислыми усами,
Рассказывал, давя бездонный бас,
И вдруг заплакал тихими слезами.
Сидел и плакал тягостно, в упор,
Не наклоняясь и лица не пряча.
И я войну запомнил с этих пор
И до сих пор боюсь мужского плача.

Кале

* * *

Над влажной зеленью земли садов раздольное цветенье,
Хор птиц в густой голубизне звенит, как чуткая струна,—
Все для тебя, а ты грустишь и молчаливой бродишь тенью
Сейчас, когда к тебе пришла цвести еще одна весна.
Рассветный ветер лепестки срывает легким дуновеньем
И осыпает ими птиц, летящих к солнцу напрямик...
Ответь: ужель душа твоя весной не бредит обновленьем,
Чтоб жаждой радости почтить существованья каждый миг?

Печаль и боль всегда с людьми, от них не спрячешься в забвенье,
Омоложению души я научилась у цветка,—
Зачем теперь истрачу зря неповторимое мгновенье,
Когда оно — моей судьбы живой глоток из родника?

Промчавшись, хладная струя не повторит свое теченье...
Секирой скорби не срублю главу сегодняшнего дня.
Жизнь — это завтрашний рассвет,— я верю в мудрое реченье,—
Что вечно — с каждого мгновенья — начаться может для меня.

Перевод с персидского Александра Балина

Николай Зиновьев

СУДИМИР

Этот город все забыли.
Десять улиц и перрон.
Свистом поезда
навылет
каждый час изранен он.
День и ночь в другие земли
вдоль
откоса
тени
крыл...
Хоть бы кто полет замедлил,
хоть бы кто притормозил!
Даже глаз не открывая
посреди транзитной тьмы,
под трезвон стаканов чая
что-то мы пересекаем...
Перечеркиваем мы.
Но вчера душа смутилась.
Я вскочил под скрипы букс —
за стеклом
остановилось
слово дивное в семь букв...
Слово.... Имя... Крик...
СУДИМИР.
Эхо чистое веков...
Где я слышал это имя?
Будто я к нему готов.
Годы ядрами гудели.

Русь делили, как хотели,
всяк по-своему рядил,
кто рубил, кто городил,
Володимиры владели,
а Судимир мир судил.
Были вятичи, древляне,
стали горичи-земляне...
А Судимир мир судил!
Златоглавились столицы,
в битвах плавились границы,
а клочок родной землицы
мир судил!..
Значит, все же я счастливый:
словно совесть, словно честь —
городок несуетливый
по дороге в Киев есть.
Это станция Судимир.
Это княжество колес.
Дыма волосы седые
в соснах прячет паровоз...
И в судьбе нелебединой
я еще стоп-кран сорву!
Суд мой...
Родина...
Судимир...
Упаду в твою траву!..

Рюрик Ивнев

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ

Все говорило здесь о призрачных колоннах
Сражавшихся до одуренья войск,
Растаявших под солнцем словно воск,
Исчезнувших по жесткому закону,
Начерченному на дубовых досках.

И все-таки как все здесь не похоже
На то, что было много лет назад.
Здесь не осталось ни костей, ни кожи
У пропотевших от ходьбы солдат.

Но каждый шаг казался мне рискованным,
Казалось мне, что жизнь здесь бьет ключом
И что вот-вот, как в поле заколдованном,
Меня коснется теплое плечо.

И в этот миг, до ужаса таинственный,
Я ощутил тревогу в бастионе,
Растерянность российского правительства
И злую червоточину в короне.

А там, внизу, кипело море славы,
И сам собою длился бой кровавый,
И тень Кутузова и тень Багратиона
Слились в одну —
Вне скипетра и трона.

Василий Казанский

ИВАН-ЧАЙ

Не вникая, не замечая,
как коварна его краса,
можно славить цветы иван-чая —
эти розовые конуса.
Словно копья он их вздымает —
и красив, и нагл, и силён,—
беспощадной ордой Мамая
лесосеку берет в полон.
Правых нет у него — все виновны!
Все казнит, что стремится жить!
Елки ль, со́сенки ль всходят скромно —
задавить, темнотой задушить!
Разрастется, встанет навесом,—
добрым всходом верная смерть!
Он разделался б начисто с лесом,
если б только ему суметь.
На чужих смертях он ликует,
на несчастьях яро цветет!

Не люблю! Дайте палку большую!
Это я сказал — лесовод.

Владимир Карпеко

* * *

Так бывает порою — навалится
ворох мелких и суетных дел,
и душа неприкаянно мается,
проклиная свой жалкий удел.

И, устав бесполезно сутулиться
над рифмованной грудой муры,
звездной полночью выйдя на улицу,
я гляжу на иные миры.

Сколько их на ночном небосводе!
Размерцалась разверстая высь...
И в усталую голову входит
стародавней занозою мысль:

может, тоже кому-то не спится
где-то т а м, где черна высота?
Или впрямь одиноко кружится
во Вселенной Земля-сирота?

Переливчато звезды искрятся,
неизведанной тайной маня.
И уже начинает казаться,
что о т т у д а глядят на меня,

в любопытстве своем откровенны,
миллионы нацеленных глаз...
Настороженно смотрит Вселенная
изучающим взглядом на нас.

Как пытливо глаза ее светятся!
Над Землею, раздумий полна,
вопросительный знак Медведицы
нерешительно вертит она.

Алексей Кафанов

* * *

Какие ветры прошумели
Над нами,
словно крылья лет!
Мы оглядеться не успели,
А нас из ледяной купели
Да в самый жар, в горнило бед.

Так эти годы закаляли,
Что не выдерживал металл!
Мы выдержали, устояли.
Был, стало быть, покрепче стали
Души исходный матерьял.

И не окончится дорога,
Которой мы идем сейчас,
То круто в гору, то отлого...
Она от отчего порога
В Отечество выводит нас.

Вадим Ковда

* * *

Смеркалось — старинное дело.
Мир медленно падал во тьму.
Пластинка вступала несмело
в каком-то соседнем дому.

И, словно речные излуки,
поляны и травы весной,
прекрасные чистые звуки
из вечности плыли немой.

А крики мальчишьи метались,
стук ящиков где-то вовне...
И в музыку эту вплетались,
и ей подчинялись вполне.

Мелодия та затопляла
вечерний трепещущий свет
и плотью своей проницала
и шумы, и запах, и цвет.

Она, соскочивши с пластинки
и вылетев через окно,
тончайшей своей паутинкой
весь мир собирала в одно:

и голос ребенка капризный,
закат и собак перелай...
Крупицы бессмертья и жизни,
случившиеся невзначай.

[ков Козловский

БАЛЛАДА О ПРЕОДОЛЕНИИ ЗЕМНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ

День на смену полумраку
Занялся, кровоточа.
Лейтенант хрипит:
— В атаку! —
Автомат сорвав с плеча.

Он недавно прибыл в роту,
Прежние — в земле лежат,
На смертельную работу
Поднимавшие солдат.

Должен,
превратясь в мишень, я
Встать, как жизнь ни прекословь.
Мы земное притяженье
Преодолеваем вновь.

Жив останешься — две меры
Выдаст водки старшина,
А убитым —
из фанеры —
Всем на круг звезда одна.

Григорий Корин

* * *

Скоро, скоро меня проворонишь,
Скоро, скоро средь белого дня,
И меня никогда не воротишь,
И отпустишь, отплачешь меня.

Я не жил без тебя ни минуты,
А теперь, как ни странно, могу,
И не надо звонить мне кому-то
И темнеть в своем темном углу.

Я хотел тебе полного счастья,
Я искал равновесия сил,
И таким я к тебе возвращался
И тебя о прощенье просил.

Мне сказала: пройдет пусть полгода,
Может, что-то и как-то пройдет,—
Но часы мои больше не ходят,
А лицо твое смутно цветет.

Александр Коренев

ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН

Где четыре лошади
рвутся на лету
Прямиком с фронтона
в небо это,
Где фонтан на сквере
в мая высоту
Вскидывается,
как салют Победы,—
Раз в году — вот в этот самый день —
В скверике на площади Свердлова
Снова
собираетесь вы здесь,
Ветераны братства фронтового!
— Кто из Танковой Тридцать шестой?..—
Голоса.
И кличи.
Целый вечер...
— Пятая Ударная!
Есть кто?!..—
Через тридцать лет
такие встречи!
Кто плакатик держит, кто тетрадь,
Ищут, кличут,
узнают кого-то...
Собираетесь,
чтоб отыскать
Полк, отряд свой,
батарею,
роту!
Раз в году... И малый сквер гудит,
Рядом, рядом — старые солдаты,
И у всех —
колодки на груди,
Дорогие самые награды.
Но все больше —
счет
бегущих лет,
И все меньше
в скверике народу.
— Тридцать пятый полк?..—
Ответа нет.
Безответнее здесь
год от году.
Люди — мимо — по своим делам...
Будет и такой
день недалекий,
День,
когда последний ветеран
Медленно пройдется, одинокий,
Он задумается о былом
Там, где кони ввысь неутомимо
Все летят, летят,
да по делам
Толпы поторапливаются мимо.

Анисим Кронгауз

СПЯТ СТАРИКИ

Спать старики ложатся в рань такую,
Что тягость суток возвращает вспять.
Но спать не спят,
Толкуют не толкуют,
Сжимают веки ветхие вплотную,
Чтоб в сети их
Минуты сна поймать.

Невестка к сыну за стеной прижмется —
Постель мягка,
Двуспальная кровать:
«Ну что им, старым, до утра неймется —
Корежиться,
Ворочаться,
Ворчать».
Но не понять невестке их и сыну:
Срок наступил уже для этих двух,
Когда —
Им не пуховую перину,
А только бы земля была как пух.

Сергей Крыжановский

* * *

В той поре, на диво многоликой,
Был один особый интерес.
За новорожденной земляникой
Уходило детство мое в лес.

Наверху заливистые трели,
А внизу — не шелохнись, замри,—
Не мигая, на тебя смотрели
Рассыпные капельки зари.

Как же не смешаться чувствам детским,
Это было просто бы смешно!
Ведь и лес и даже перелески
Смешанными сделались давно.

До сих пор не путаю с другими
Тот рассвет и ягоду мою,
Словно и сейчас я перед ними
На коленях,
трепетный,
стою.

Юрий Кузнецов

ЧЕТЫРЕСТА

Четыре года моросил,
Слезил окно свинец.
И сын у матери спросил:
— Скажи, где мой отец?
— Пойди на Запад и Восток,
Увидишь, дуб стоит.
Спроси осиновый листок,
Что на дубу дрожит.

И сын на Запад и Восток
Послушно пошагал.
Спросил осиновый листок,
Что на дубу дрожал.
Но тот осиновый листок
Сильней затрепетал.
— Твой путь далек, твой путь
далек,—
Чуть слышно прошептал.—
Иди куда глаза глядят,
Куда несет порыв.
— Мои глаза давно летят
На Керченский пролив.

И подхватил его порыв
До керченских огней.
Упала тень через пролив,
И он пошел по ней.
Но прежде чем на синеву
Опасную шагнуть,
Спросил народную молву:
— Скажи, далек ли путь?

— Ты слишком юн, а я стара,
Господь тебя спаси.
В Крыму стоит Сапун-гора,
Ты у нее спроси.

Весна ночной миндаль зажгла,
Суля душе звезду,
Девице — страсть и зеркала,
А молодцу — судьбу.
Полна долина под горой
Слезами и костьми.
Полна долина под горой
Цветами и детьми.
Сбирают в чашечках свинец
Рои гремучих пчел.
И крикнул сын: — Где мой отец?
Я зреть его пришел.

Гора промолвила в ответ,
От старости кряхтя:
— На полчаса и тридцать лет
Ты опоздал, дитя.

Махни направо рукавом,
Коли таишь печаль.
Махни налево рукавом,
Коли себя не жаль.

По праву сторону махнул
Он белым рукавом —
Из вышины огонь дохнул
И грянул белый гром.
По леву сторону махнул
Он черным рукавом —
Из глубины огонь дохнул
И грянул черный гром.
И опоясалась гора
Ногтями — семь цепей.
Дохнуло хриплое «ура»,
Как огнь из-под ногтей.
За первой цепью смерть идет,
И за второю смерть,
За третьей цепью смерть идет,
И за четвертой смерть,
За пятой цепью смерть идет,
И за шестою смерть,
А за седьмой отец идет,
Сожжен огнем на треть.

Гора бугрится через лик,
Глаза слезит свинец.
Из-под ногтей дымится крик:
— Я здесь, я здесь, отец!

Гора промолвила в ответ,
От старости свистя:
— За полчаса и тридцать лет
Ты был не здесь, дитя.
Через военное кольцо
Повозка слез прошла.
Но потеряла колесо
У крымского села.
Во мгле четыреста солдат
Лежат — лицо в лицо.
И только тридцать лет подряд
Блуждает колесо.
В одной зажатые горсти
Лежат — ничто и всё.
Объяла вечность их пути,
Как спицы — колесо.

Не дуб ли на поле сронил
Листок свой золотой,
Сын буйну голову склонил
Над памятной плитой.
На эту общую плиту

Сошел беззвездный день.
На эту общую плиту
Сыновья пала тень.
И сын простер косую длань,
Подобную лучу.
И сын сказал отцу: — Восстань!
Я зреть тебя хочу!..

Остановились на лету
Хребты и облака.
И с шумом сдвинула плиту
Отцовская рука.
Но сын не слышал ничего,
Стоял как в сумрак день.
Отец нащупал тень его —
Отяжелела тень.

В земле раздался гул и стук
Судеб, которых нет.
За тень схватились сотни рук
И выползли на свет.
А тот, кто был без рук и ног,
Зубами впился в тень.
Повеял вечный холодок
На синий божий день.

Шатало сына взад-вперед,
Он тень свою волок.

— Далек ли путь? — пытал народ.
Он отвечал: — Далек.—
Волок четыреста солдат
До милого крыльца.
Волок четыреста солдат
И среди них отца.

— Ты с чем пришел? — спросила мать.
А он ей говорит:
— Иди хозяина встречать,
Он под окном стоит.

— Кто там? — промолвила она
У тени на краю.—
Кто там? — промолвила она.—
Темно. Не узнаю.

— Кто там? — твердит доныне мать.
А сын ей говорит:
— Иди хозяина встречать,
Он под окном стоит...
— Россия-мать, Россия-мать! —
Доныне сын твердит.—
Иди хозяина встречать,
Он под окном стоит.

Майя Луговская

* * *

Гремит стремительная горная вода.
Зазеленели яростно эйлаги.
По склонам медленные шествуют стада,
И на заставе ветер крутит флаги.

Садится солнце. В золотой пыли
Висят мосты. И невесомы горы.
Я на краю моей большой земли.
С границы возвращаются дозоры.

Марк Лисянский

ПИСЬМО МАКСИМУ

Ну вот, Максим, опять пишу,
У моря жду погодки,
Послать привет тебе спешу
Из города Находки.
В разлуке — месяц.
Срок не мал.
А жизнь — такая малость!..
Прости, что долго не писал,
Во-первых, не писалось.
Не то, чтоб грусть брала в тиски,
Лень более опасна.
А письма вроде как стихи,
Не пишутся — и баста!
Что письма!
Это не беда,
Так жизнь повелевает,
Что и поэтам иногда
Не до стихов бывает.
А во-вторых, все дело в том,
Что друг от друга близко
Живем мы в городе одном —
К чему нам переписка!
Когда же, как сейчас, вдали
Я окажусь от дома,
От заповедной той земли,
Что до слезы знакома,
Я заскучаю по тебе —
И вдруг порыв нежданный:
Ты огонек в моей судьбе,
Далекий и туманный.
Он все горит,
К себе маня,
А мне еще взгрустнется
И по Москве, что без меня
Спокойно обойдется.
А мне вот трудно без Москвы,
Где четверть века прожил.
Я слышу шум ее листвы,
На шум морской похожий.
Я вижу землю всю окрест,
В ночи — рассвет московский,
За стадионом твой проезд
Петровско-Разумовский.
Я вижу в этот поздний час
За школьною оградой
Тебя идущим в первый класс —
И провожаю взглядом.
Я вновь склоняюсь над листом,
И слово оживает...

Я говорю с тобой о том,
О чем душа желает.
А рядом —
Тихий океан
Дыханием отваги
На кораблях заморских стран
Овеивает флаги.
Они колеблются вдали,
Трепещут над волною.
И расстаются корабли
С моей душой земною.
А я мечтал плыть моряком
В полночном океане,
И мне казался маяком
Любой огонь в тумане.
Сильнее ветра
Мощь машин,
Шторм бесится от злости.
Ты поднимаешься, Максим,
На капитанский мостик.
Меня на этом корабле
С тобой тогда не будет...
Ты поведешь в безбрежной мгле
Корабль навстречу людям.
А может, станется весьма,
Что минет срок короткий,
Я от тебя дождусь письма
Из города Находки.

Михаил Луконин

* *

Захочу позвонить —
опомнюсь —
с диска спадет рука.
Ни расспросить, ни рассказать —
ни слова теперь
в ответ.

Далеко ли ты
Или близко —
Никто не знает пока.
И к этому не привыкну,
что тебя навсегда нет.
Не загробной слезой омою —
знаю твой нрав.

Но ушел
и не попрощался —
ничего не сказал мне.
А я ведь живу, как прежде,
с тобою вдвоем,
вдвойне.
Оборвал все тоской немою —
нехорошо,
Ярослав.

Хожу и зову друга...
У тебя их теперь — не счесть.
В друзья тебя назначает
каждый —
и стар и мал,—
И тот, кто считает дружбу —
службой
плести лесть,
И тот, кто знает ей цену,—
не раз ее продавал.
Прощай! — шепчу запоздало...
От боли я сник и стих,
Нужна мне твоя улыбка,
укором сведенный рот,
Локоть, прикрывший строки,
голос, густой как стих,
Рабочая неторопливость
У проходных ворот.
Знаю — ты оборвал бы,
знаю и сам — нельзя.
Не в плаче стихи охрипли —
кровь вышла из берегов.
Поэзию всю окрикни —
и отзовется вся —
На нежное твое имя —
Ярослав Смеляков.

Алексей Марков

* * *

В конечном счете смерть страшна
Одним — что сразу нас забудут,
Загомонит, как встарь, весна,
Другие целоваться будут.

Смерть пересилил мой сосед:
Горит боярышник оградой;
Лежит на ветках первый снег —
Не оторвать от красок взгляда.

Калина красная кругом,
Рябин оранжевые кущи,
Снегирь бок о бок с воробьем,
Чижи, дрозды в багряной пуще!
Клюют.
И слышишь, человек,
Поют тебе за ласку гимны.
Так каждый год, так каждый век.
И на душе светло и дивно!

Хулио Матеу

ПАМЯТИ ПАБЛО НЕРУДЫ

Убили поэта, средь белого дня убили!
Убили его в Сантьяго, устроив облаву,
Убили любимого сына горящего Чили,
Убили поэта! Распяли народную славу.
Убили поэта, средь белого дня убили!
Убили его зловещие черные тени,
Ничтожества, черви в мундирах, расшитых парадно,
На дом его мирный звериной ордой налетели,
Воздух расправы близкой нюхая жадно.
Убили его гориллы двадцатого века,
Двуногие звери, пещерной вскормленные тьмою,
Как мор, как холера напали на жизнь Человека,
Оставив кресты и развалины сёл за собою.
Убили поэта за то, что врагов не боялся,
Что в песнях звучали яростный гнев и обида,
Что голос его от слез и от боли срывался
При виде детей на кровавых асфальтах Мадрида.
Убили его за прекрасную песнь Сталинграду,
За песню о битве, где судьбы народов решались,
За песню о том, как герои средь дымного ада
С кровавым фашизмом за жизнь поколений сражались.
Убили поэта, средь белого дня убили!
Убили его потому, что голос поэта
Пел гимны крылатые миру, любви и свободе.
Убили поэта! Кто сможет ответить за это?..
Кто веру в победу сумеет разрушить в народе?
Убили поэта, а он продолжает бороться,
И песня его не смолкает, песня окрепла.
Убили поэта, а он все равно остается,
Как сказочный Феникс рождаясь из серого пепла.
Плачьте, вершины заснеженных Анд, скорбите!
Гаснут глаза его— предгрозовые зарницы.
Плачьте, шахтеры,— расстреляно солнце в зените,
Падай, золото слез арауканской пшеницы.
О Пабло Неруда! Брат мой по духу и крови!
Ты слышишь ли!.. Снова свободу в стране задушили.
Но вечно живешь ты в своем поэтическом слове
И борешься вместе с народом горящего Чили.
Убили поэта, средь белого дня убили!

Перевела с испанского Елена Надеина

Александр Медведев

ПЕВЕЦ И КАМЕНЬ

Он выходит на берег и громко кричит,
даль на отзвук пытая, как деку.
Жар полуденных звезд ему кровь горячит.
Он бросается вплавь через реку.

Вслед за хриплою песней своею идет.
У певца на руках каменеют мозоли.
Кто в грозу, на безлюдье и в стужу поет,—
взял высокую, редкую долю.

На дороге на той, где следов не видать,
он увидел пылающий камень.
«Ты ли — тайна земли?..» — хочет странник
сказать,—
слово губы ожгло, будто пламя.

Но, уже не робея, тот камень берет
и рывком подымает он на свои плечи.
Отдаются шаги до железных пород,
где-то вздрогнули
газовых факелов свечи...

Это доля певца на любимой земле —
жар, и тяжесть, и сталь;
хлеб на чистом платке, свет жилища во мгле
и отзывно, счастливо поющая даль!

Солнца огненный камень пробьет облака,—
он с пылающей ношей пойдет.
Пыль уныла, дорога его далека...
Но от скуки певец не поет.

...В лес уходит туман и созвездья, как дети,
галдят,
но усталость певца не подточит.
А герои веков на него через время глядят
и мечами о щит ему славу грохочут.

Александр Москвитин

БАЛТИКА-73

Жаркий день затих, разморен,
обнажая свет и цвет,
и на стыке неба с морем
судна хмурый силуэт,
пирс, что крылышко расправил,
моря пепельный рельеф,
то ли сейнер, то ли тралер,
то ли катер ВМФ.

Мир движенья стих в истоме,
тени сжались по углам:
солнце льет во всем объеме
по лесам, долам, телам...
Но ударил с волн искристых
иль небес — гадай при том —
то ли выплеск, то ли выстрел,
то ли выхлоп, то ли гром?

Новый залп донесся глухо...
Так же гнал волну плечом,
там же в дрейфе лежа сухо,
будто б вправду ни при чем,
прикипевший к горизонту,
подчеркнувший волн рельеф,
ну какой там сейнер, к черту,—
катер службы ВМФ.

Александр Николаев

ГИМН ВИНОДЕЛУ

Герою Социалистического Труда
М. Махарадзе

Что ты наделал, винодел!
Ты виноград в давильной яме
давил и мял, топтал ногами.
Печален был его удел.

И не вино рекой лилось.
Путь у вина не так уж краток.
Летели брызги из-под пяток
слезами благородных лоз.

Оно струилось по ногам,
сбегало вниз ручьем зеленым,
как виноградники по склонам
бегут с вершин навстречу нам.

Оно спустилось с тех вершин
волной, скатившейся на сушу,
а ты возвышенную душу,
как джинна, заточил в кувшин.

Моя ли в том была вина,
что, выпуская из кувшина
тобой посаженного джинна,
отведал я глоток вина?

Ты для него и царь и бог.
За то, что ты в давильной яме
мял и давил его ногами,
он нас пытается сбить с ног.

Булат Окуджава

ТАНГО

Восславив тяготы любви и свои слабости,
слетались девочки в тот двор,
как пчелы в августе,
и совершалось наших душ тогда мужание
под их загадочное
жаркое
жужжание.
Судьба была ко мне щедра:
надежд подбрасывала,
да жизнь по-своему текла —
меня не спрашивала.
Я пил из чашки голубой,
старался — дочиста...
Случайно чашку обронил —
вдруг август кончился.
Двор закачался, загудел, как хор под выстрелами,
и капельмейстер удалой кричал нам что-то...
Любовь иль злоба наш удел?
Падем ли, выстоим ли?
Мужайтесь, девочки мои!
Прощай, пехота!
Примяли наши сапоги траву газонную,
все завертелось по трубе
по гарнизонной.
Благословили времена шинель казенную,
не вышла вечною любовь —
а лишь сезонной.
Мне снятся ваши имена — не помню облика:
в какие ситчики вам нравилось облечься?

Я слышу ваши голоса —
не слышу отклика,
но друг от друга нам уже
нельзя отречься.
Я загадал лишь на войну — да не исполнилось,
жизнь загадала навсегда —
сошлось с ответом...
Поплачьте, девочки мои,
о том, что вспомнилось.
Не уходите со двора —
нет счастья в этом!

Николай Поздняков

ГОД РОЖДЕНИЯ — 1927

Уходит двадцать пятый в бой.
Шагнул в огонь двадцать шестой.
Застыл у края мой —
Седьмой!

Гремят истории часы.
А мы — у взлетной полосы.
В ангары ставим «ястребки»,
На предохранитель автоматы.
Мы — живем. И мы не виноваты.
Обелиски. Насыпи. Венки.

Двадцать пятый и двадцать шестой
Шелестят листвой...

Эрнст Портнягин

ЛЕБЕДИ В ПАРКЕ

Бредит лебедь озером лесным,
запредельной облачною пылью...
Даже мы и то во сне летим,
так зачем же подрезаем крылья
птицам, без которых нем простор
и мертво сентябрьское небо...

«Что ж вы ждете холода и снега!» —
слышен сверху родственный укор.
Пруд зеркальный. В нем видна стрела
стаи, заостренной прямо к югу.
«Отзовись!» — но мечется по кругу
горе заземленного крыла.
Белой тряпкой о стекло воды
бьются лоскуты знамен небесных...
Даже для предсмертной вечной песни
не набрать им нужной высоты.

Владимир Приходько

ЛУБЯНАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Конь гнедко храпит у тына,
Буйно вьется дикий хмель.
И скрипит над луговиной
Лубяная колыбель.

В темном небе месяц тонок —
Серп со звездочкой одной.
Крепко-крепко спит ребенок
В колыбели лубяной.

Рано утром он проснется,
Ножки свесит из лубка,
Ключевой воды напьется
И потянется слегка.

Отлетит ночная дрема,
Как туманы от болот.
И тогда к коню гнедому
Он тихонько подойдет.

Вот и все.
Прощай навеки,
Лубяная колыбель!
Ах, как скачет через реки
Он за тридевять земель!

Что с ним только не случится!
Что он только не снесет,
Он от Змея Царь-девицу
Распрекрасную спасет.

А уж дальше, как известно,
С нею, ясной как заря,
Станет властвовать он вместо
Постаревшего царя.

Но ему в иной сторонке
Вдруг приснится:
вьется хмель
И тоскует о ребенке
Лубяная колыбель.

Лев Смирнов

НАЧАЛО

Я жил в стране лесных проталин
И дорогих щенячьих рож.
Я был тогда провинциален
И на поэта не похож.

Живые тени на тропинках
Читал я вместо словаря
И в парусиновых ботинках
Ходил по травам сентября.

Словами отроческой прозы
Писал я первые стихи,
И были молнии и грозы
Понятнее, чем лопухи.

И не спешила жизнь куда-то,
И не учила ничему,
И с легкой ношей в час заката
Шагал я к дому своему.

Я просто жил на белом свете
В том городке перед войной:
Смотрел в окно, писал о лете,
Мечтал о славе мировой...

Юрий Смирнов

* * *

Во времени другом живут деревья.
Им непонятна жизнь, что мы ведем,
И наши бесконечные кочевья,
И то, что называем мы трудом.

Забот не зная о насущном хлебе,
Ушли в себя, в раздумье, забытье.
Стоят в веках, веселым птицам в небе
Гостеприимство предложив свое.

В их жизни не бывает потрясений.
Их мысли величавы и просты,
Когда порой промозглою осенней
Они роняют желтые листы.

И, солнечные ритмы отмечая,
Спокойно доживают долгий век,
С подъятою главою смерть встречая,
Которую несет им человек.

...Вновь бой часов. Куда мы и откуда?
Но гордый разум смел на скорый суд.
Скрипят деревья. Будет очень худо,
Когда они, безмолвные, уйдут.

Владимир Сергеев

Я ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ

I

Напялив солнце на макушку,
Кружит ленивая земля.
А я —
по ней,
снимая стружку,—
Сто сорок в час лечу, пыля.

Пылает огненное чрево,
Строчит спидометр нули,
И — в мареве от перегрева —
Асфальт муаровый вдали...

Спеленат скоростью и гладью,
Твержу:
— Удачу не дразни.
Остановись же, бога ради.
Остановись же,
черт возьми!
Прижмись к обочине дорожной,
Струну на сердце подтяни...
. . . . . .
О как они
везде похожи,
Леса,
шумящие в тени.
Вот где-то щелкнула синица,
Вот дятел выстукал строку.
И снова тишина,
как птица,
Сидит степенно на суку...

Земли знакомая повадка —
Однообразен час и век...
И только вечная загадка —
На ней живущий
человек!

II

Я живу на земле,
Как мои миллионы собратьев.
Я живу на земле.
Я по травам хожу, по снегам.
Не всегда за добро
Мне добром сопланетники платят.
Но я зла не таю
И не мщу побежденным врагам...

Я живу на земле.
Мне не надо ни войн, ни охоты...
Я ращу города
И в металл обращаю труды.
Я живу на земле,
Как боец самой мирной пехоты,
Что наводит мосты
И уводит людей от беды...

Я живу на земле.
Но с далекой побудки апрельской,
Разорвавшей века
Зашифрованной силой огня,
Я, живя на земле,—
Постоянно в космическом рейсе.
И, как джинна в сосуд,
Уж никто не загонит меня!

Владимир Солоухин

ЧАЕПИТИЕ РЯДОМ С ПТИЦЕЙ, СИДЯЩЕЙ В КЛЕТКЕ

Женщина меня угощала чаем,
А дверь на балкон была открыта.
На балконе стояла клетка.
В клетке сидела птица.
Вот экспозиция.

Некоторые подробности и детали.
К чаю было клюквенное варенье,
Конфеты «Кара-Кум» —
И печенье,
Под названьем «Крымская смесь».
Чай был горячий, крепкий.
Мы пили его из фарфоровых чашек,
В чем, конечно, особая прелесть
Есть.

Женщина без умолку говорила.
Она была одинока, она страдала.
Она хотела, чтобы я, зашедший случайно,
Понял все ее тридцативосьмилетнее отчаянье.
Но разница состояла в том,
Что она говорила, глядя на скатерть,
На свои теребящие скатерть руки,
А я ее слушал, глядя на клетку,
На птицу, сидящую в клетке
И производящую щебечущие звуки.

Я не очень хорошо разбираюсь в птицах,
Но, кажется, это был просто чижик.
Клетка вся из тонких и крепких проволок,
Как бы сквозная,
С округлой крышей,
С перекладинками,
Укрепленными на разной высоте,
С кормушкой (налить водички),
И с шустрой птичкой
При клювике, крылышках и хвосте.

Балкон с перилами, с клеткой, с птицей
Парил на высоте двенадцатого этажа.
Громоздясь домами, лежала вокруг столица.
На деревья приходилось смотреть не снизу,
а сверху.
Был май, и зелень была свежа.

По перилам балкона сновали возбужденные
воробьишки.
Они прилетали к пленнице в гости.
Посочувствовать,
Поделиться птичьими новостями.
Впрочем, возможно, их привлекала кормушка,
Конопляное семя, подсолнухи,
Но, увы, не достать.

Я наблюдал за их маневрами,
Я слушал их оживленное чириканье,
А женщина за столом продолжала страдать.

— Ты понимаешь, я одинока. Мне тридцать
восемь.
Ждать больше нечего. Он звонит так редко...
(Чижик семечко расклюет и бросит,
Расклюет и бросит,
Воробьишки все это видят,
Но, увы, не пускает клетка.)
...Ты понимаешь, я измучилась, я устала.
Годы проходят, жизнь проходит,
Как за нее ни держись...
(Чижик снует по клетке,
То вспорхнет на верхнюю перекладину,
Под самую округлую крышу,
То опять спускается вниз.)

То ли мне надоело его бессмысленное порханье,
То ли просто из безотчетного озорства
(Зачем-то дается же пара крыл!),
Едва хозяйка на минуточку отлучилась,
Я, с ловкостью профессионального диверсанта,
Подскочил
И маленькую дверцу в клетке открыл.
Я открыл совсем небольшую дверцу,
Такую же проволочную,
Как и все остальные стены.
Дверца смотрела в сторону города,
В сторону воздуха,
В сторону неба,
В сторону далекого горизонта,
Который был в этот час красноват и светел.
Оттуда,
Поверх домов и деревьев,
Прилетел к раскрытой дверце
Сладчайший весенний ветер.

Хозяйка вернулась со свежим чаем.
— Ты понимаешь,
Я ведь, в общем-то, ничего не требую...
(Ах, как выпорхнет сейчас из неволи
Чижик в открытую мною дверцу!)
...Ты понимаешь,
Так одиноко, темно и больно,
А он... А он — человек без сердца.
Как живу я? Служба. Домашние хлопоты...
(Вот сейчас увидит, что — воля, воля!
Сейчас заметит, что дверь открыта.
Посидев на порожке и оглядевшись,
Вспорхнет на балконную загородку,

А там... вон дерево, вон другое,
А там горизонт красноват и светел.
Пропорхнул.
Посидел на перекладинке.
Снова вниз.
Пропорхнул.
Не заметил.)

Как можно не видеть, что путь свободен?
Безмозглая птица! Нелепый чижик!
Или не хочешь бросить кормушку?
Или жалеешь хозяйку эту?
Или боишься попасть в ловушку?

Но какой ловушки можно, собственно говоря,
Бояться, уж будучи пойманным и сидя в клетке?

За дверцей — роща, за дверцей — лето,
А если проще — там вся планета.

— Ты понимаешь,
Я ищу не счастья.
Его, наверно, и не бывает.
Но все же знать, что вот есть на свете...
(Попил водички, почистил клювик,
Глядит на дверцу. Сейчас. Минутку.
Сейчас свершится.
Нет, не заметил.)
...Ты понимаешь...
(Ничтожный чижик!
Пустая птица! Ты что, ослепла?
Лети из клетки как можно выше,
Воскресни, птица, родись из пепла!)

Я ушел,
Демонстративно не бросив взгляда
На птичью клетку с открытой дверцей,
На птицу в клетке.
(Вот — воля рядом...)
Презренный чижик! Где твое сердце?

Татьяна Сырыщева

* * *

Я плачу в темноте кинематографа,
я — камень, слез не знающий давно.
И хорошо — платка не видно мокрого,
и старое лицо притемнено.

А на экране оживает давнее.
Жгутом тягучим, жгучим сплетены
вражда и дружба, радости, страдания,
и подвиги, и пропасти войны.

О чем я плачу? О внезапной гибели
двух юных героических сердец?
Что два птенца из эскадрильи выбыли,
два летчика в огне нашли конец?

И как все будет с будущим, которое
сидит сейчас у моего плеча
подростком хрупким, крепнущей опорою,
душой, всему открытой сгоряча...

Дина Терещенко

* * *

Ах, как застит память
голубой апрель!
Фронтовая заметь —
жесткая постель.
«Похоронку» пела
белая метель.
На снегу на белом
красная постель.
Таял снег в апреле.
Пулеметный град.

Плакали капели
в пулеметный ад.
Схоронили парня.
Сколько полегло!
Память моя, память,
где твое весло?
Близок берег майский.
Только бы доплыть.
Память! Не сдавайся!
Будем жить!

Николай Тряпкин

РАЗГОВОР ИГРУШЕЧНОГО МАСТЕРА СО СВОИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

(Ночью в мастерской)

Друзья мои, игрушечки!
Не прыгать со скамьи.
Игрушечки! Петрушечки!
Болванчики мои!
Не прыгать, не копылиться,
Не драться меж собой.
Пускай там дождь пузырится
На улице ночной.

За все мои старания,
За труд и мастерство —
Хотя бы чуть внимания...
Пожалте — ничего!
Довольно выкамаривать,
Кривляться и скакать!
А ну-ка чай заваривать!
Давно пора уж спать.

С какой же вдруг немилости
У вас такая прыть?
Что я решил от сырости
«Глоточек» пропустить?
А вы-то, черепушечки!
А вы-то, ребятье!
Палить в меня из пушечки
И строиться в ружье!

Довольно безобразничать,
Подсовывать крючки!
Да и кого ж вы дразните,
Смешные дурачки?
Из глины да из сажицы
Не я ли вас лепил?
Деньки над вами, кажется,
И ночки проводил.

А вы-то что же, светики?
Да полноте, ей-ей!
Да вам бы снять беретики
Пред милостью моей.

Не я ли тут выкраивал
Кафтанчики для вас,
А «дамочкам» пристраивал
Улыбочки у глаз?
А вы-то что ж, приятели?

А вы-то что же так?
Над собственным создателем
Заносите кулак!
Не ждал такого номера...
А я-то, фантазер!
А я-то чуть не по миру
Ходил до этих пор.

Постойте же, голубчики!
Припомните меня,
Повыдерут вам чубчики
За три-четыре дня.
Доставлю вас, пригожие,
Хоть завтра на базар:
Эй, мальчики захожие!
Пожалте мой товар...

И вот деньки унылые
Сдадутся, может быть.
С курносыми громилами
Придется вам пожить.
Припомните родителя,
Любовь его и труд.
Кудряшки вам повыдерут
И ручки оторвут...

А вы-то всё — из пушечки,
А вы-то всё — в ружье...
Игрушечки! Петрушечки!
Сокровьице мое!
Довольно же куражиться,
Показывать свой пыл...
Я песенку вам, кажется,
Душевную сложил.

Владимир Туркин

* * *

В заботах дня, в делах и спорах
Не нахожу те полчаса,
Чтоб посмотреть спокойным взором
На голубые небеса,
Чтоб постоять под солнцем щедрым,
Под мудрым шелестом дерев,
Чтоб побродить в обнимку с ветром,
От счастья жизни захмелев.

Прости-казни меня, природа,
За непослушный мой режим,
За то, что вот уже три года
Тебе ни дня не послужил:
Не посидел с тобою рядом,
Не пил воды из родника,
Не проводил каким-то взглядом
Ни журавлей, ни облака...

И вмиг зальюсь тоской глубокой,
И сердцем всем рванусь вперед,
Когда, случится, Виктор Боков
Вдруг телефон мой наберет:
Качнется роща молодая,
Взметнутся голуби в зенит...
И колокольчик — дар Валдая —
Над самым ухом прозвенит.

Виктор Федотов

* * *

Одинокая сторожка,
без макушки сена стог,
огород, цветет картошка,
чей-то выцветший платок,

вдаль бегущая дорожка
и столбы, столбы, столбы...
Есть ли станция Морошка? —
ведь должна же она быть

где-нибудь под Кондопогой,
в той знакомой стороне,
где морошки очень много,
где был ранен на войне.

Владимир Федоров

ГОРСТКА МАЛОЙ ЗЕМЛИ

В музее, как в космосе,
Нынче ни шороха.
Друзья космонавты
Меня подвели
К патрону, заряженному
Не порохом,
А горсткою Малой Земли.

Тяжелою горсткой
Свинца и стали.
Я видел, какие
Вьюги мели,
Какие ливни
Тебя хлестали,
Горстка Малой Земли.

Такая горючая смесь
В ней таится,
Что к звездам
Взлететь смогли,
Воскресли,
Воскресли
Бесстрашные лица
Из горстки Малой Земли.

Звездный городок

Герман Фролов

СОСТАВ

В восьмидесятых или девяностых
Здесь будет все обыденно и просто:
Проснется даль — и поезд прогрохочет,
Пройдет по шпалам медленный обходчик
И, молоточек уронив с плеча,
Проверит рельсы — как они звучат?
А там, глядишь, у будущей версты
Он соберет дорожные цветы —
Оранжевый, зеленый, красный,—
И ритм дороги, четкий и согласный,
Он ощутит, как ощущаем мы
Рабочих будней рваные дымы,
Рельсоукладчика орлиный клекот
И — на крыле —
Нелегкий путь к востоку!
В восьмидесятых или девяностых
Все будет здесь обыденно и просто:
Обходчик камушки покрасит мелом,
В вокзальной кассе
Звонко звякнет мелочь,
И пассажир, отпрянув от окошка,
Начнет ловить попутную подножку
Какого-то влекущего вагона...
А поезд двинется, вобрав на перегонах
Всю тишину в горах пробитых штолен,
Взрывчатку душ — лишь дремлющий
спокоен!
И всю любовь — лишь увлеченный прав!—
Всю красоту, всю ширь тайги вобрав,
По рельсам времени пойдет состав,
Оставив позади мошку, палатки,
Вагончики, а с ними тягачи...
И вдруг покажется кому-то сладким
Дымок костра,
Горчивший в той ночи.
И он поверит истинно и свято,
Что были люди там, в семидесятых!

Илья Френкель

НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ...

А я люблю сержантов-шоферов.
Я помню всех, пускай не поименно:
Кабины — их весьма нехитрый кров —
Я вспоминаю нежно и влюбленно.
Прищуренные фары их в ночи;
Под бомбами залатанные шины;
Полуторки, трехтонки, тягачи,
Потрепанные «эмки», спецмашины...

Так вот — кабина. На стекле портрет
Застенчивой иль боевой дивчины,
И вдруг — звездообразный пули след —
Особая эстетика мужчины.
И карабин над смотровым стеклом,
Цветная проволока на баранке.
Походный дом. Вполне приличный дом
Ценимый мною больше, чем в «гражданке».

А кто водитель? Редко старшина.
Немного чаще — старшие сержанты,
Но большинство сержанты. И война
В них открывает крупные таланты.
Я знаю их. Я понимаю толк
В автомобилях и в любой дороге.
Я не водитель. Я пехотный волк,
Хоть не всегда меня кормили ноги.

Бывало — попадалась шоферня,
Я их забыл, и вспомнить неохота.
А большинство, завидевши меня,
Притормозят и крикнут: — Эй, пехота! —
И лезешь обезьяной через борт
Среди канистр, среди боеприпасов,
И грузовик шныряет, сущий черт,
Между очередями злобных асов.

Я словно вижу каждого из вас —
В пилотках, касках, а зимой в ушанках —
И со спины, и в профиль, и анфас.
Взгляд на дорогу. Руки на баранках.
Я с вами загорал у переправ,
Побуксовал в снегу и в мокрой глине.
Обязан вам за то, что жив и здрав.
Люблю, люблю и помню всех поныне...

Написано немало строк и строф —
Возвышенных, прочувствованных,
лестных, —
И почему-то не хватает слов
О героизме скромных, неизвестных,
Несущихся к победе шоферов.

Яков Хелемский

* * *

Этюд. Мазки. За бликом блик.
Пейзаж, увиденный с балкона.
Святей, чем древняя икона,
Природы непорочный лик.

А мастер, словно богомаз,
Склоняясь робко перед нею,
Работает, благоговея,
Не отводя счастливых глаз.

Дощатый подмосковный дом
С балкончиком и мезонином
Парит над садом, над прудом
И над ольшаником низинным.

Палитра. Тюбики. Картон.
Распахнут маленький этюдник.
И на крылах мгновений чудных
Художник в небо вознесен.

Деревья и сквозной зенит,
Зеленый храм и купол синий.
Их ночью ливнем оросили,
И семицветие горит.

А живописец от плеча
Отвел палитру, чуть сутулясь.
Не радуга ли прикоснулась
К нему, опору в нем ища?

Под сводом чистой тишины
Свежо, торжественно и сыро.
И свечи сосен зажжены
Во здравье утреннего мира.

Лучи, как дорогой оклад,
Мерцают золотом старинным.
Оплыв смолы со стеарином
Невольно сравнивает взгляд.

А мир и в копии велик,
Хоть на подрамнике уменьшен.
И нимбом солнечным увенчан
Природы богоравный лик.

...Младое, незнакомое...

Татьяна Андронова

ПАМЯТЬ

Стоим мы у братской могилы,
Где травы степные в пыли,
Вишневого мрамора жилы
Под землю сухую ушли.
Узоры чугунной ограды,
Высоких небес синева,
Цветы, как немая награда,
И надписи желтой слова...

И сколько бы мы ни скорбели,
Каких ни дарили б цветов,
Им, мертвым, в своей колыбели
Не видно ни слез, ни даров.
Обиды не высказать взглядом,
Губами не крикнуть наказ:
Живые, живите как надо
И помните, помните нас!

* * *

Слова мои! Слова мои!
Как сердца предсказанье!
Как счастье долгое в любви
И горькое признанье!
Слова мои! Слова мои!
За вами я в погоне,

Вы будто веточка в пыли
И лепестки в ладони.
Слова мои! Слова мои!
И радость, и тревога.
Слова, что капельки росы,
Весь мир вместить не могут...

Сергей Алиханов

* * *

Расстелюсь зеленым мохом по земле сырой.
Буду каждую песчинку чувствовать спиной.

Будет вянуть лист осенний на груди моей.
После ляжет снег тяжелый —
и на много дней.

Буду жить с землею вместе,
с белым светом — врозь.
Пусть найдет меня под снегом одинокий лось.

ПРИЗЫВНИК

Отбой!
Успей залезть под одеяло!
Хотя б и в сапогах —
успей залезть.
Ты не солдат.
Но времени немало.
Еще тебя научат спать и есть.
Наука не сложна.
Два-три наряда.
Почистишь и помойку и гальюн.
Ты просвещен, и окрылен, и юн.
Но в сапогах!
Под одеяло!
Надо...
Подъем!
Уже ты первый на ногах.

Бежишь под дождь
на физзарядку.
Браво!
В одетых без портянок сапогах
Ты упражненья делаешь коряво.
И этому научат. Может быть,
Через недельку, может быть, быстрее.
А сам учись,
как родину любить,
Хотя наука эта посложнее.
Ее одолевать ты будешь сам,
Когда в себе почувствуешь солдата
И присягнешь полям и небесам
Служить, работать, умереть
как надо!

Татьяна Бек

* * *

Мне не надо пера и бумаги,
Чтобы, сидя на черной коряге,
Рассказать тебе все без прикрас.
Листьев нету еще. Это раз.
Ну, а прошлого лета листва
Вся истлела в снегу. Это два.
Вот и мы, бормочу, вот и мы
Точно лес на исходе зимы...

Сергей Бобков

* * *

И ветер щек моих касался,
И пел, и в роще свиристел,
А дождь прошел — весь мир распался
На множество звенящих тел.
Пыльцу холодного огня
В траву небрежно оброня,
Береза ветви выпрямляет —
Как будто к солнцу простирает,
Головки клевера — под ней,
Воздушней мыльных пузырей.

Стоишь...
Не промолчать нельзя.
Свежее молока парного,
Заветного светлее слова —
Дыхание после дождя.

* * *

Не надо, в зеркало глядясь,
Любить себя любовью брата:
Обратная такая связь
Подчас трагедией чревата.

Лицо ничуть не виновато,
Когда черты его размыты
Или, напротив, аккуратно
До безразличия пришиты.

Душа — совсем другая стать,
Не скажешь — нефотогенична!..
Уже и тем она отлична,
Что зеркалу ее не взять.

* * *

Поизносились одежки
У светозарного лета,
И намело на дорожки
Стружек багряного цвета.

К вечеру в мире дождливо,
Утром мороз пробирает,
Но не скажу: сиротливо
Птицы на юг улетают.

Разве калики воздушные,
Низко ли, высоко,
Тянутся, как в отдушину,
В дальнее далеко?

Нет, величавая сила,
Точно вожак, подняла
Их над землей и вселила
Трепет прощанья в крыла.

В небе все в том же порядке,
Что и полжизни вперед...
Облачные заплатки.
Ласточек перелет.

Зоя Велихова

О БАЛЕТЕ

Резкий голос, под вальсы
Отдающий приказ,
Этот зал назывался
По-балетному — класс.

В перерывах недолгих
Помогала слегка
Апельсинная долька,
И воды — ни глотка.

Шаг особой походки
Прочим не передать.
Повелительней плетки
Вечный окрик — «держать!».

Застывают батманы —
Взмах натруженных ног.
Здесь не нужны румяна.
Середина. Станок.

За окном отключенный
Кто-то долго стоял.
Отжимали хитоны.
Сторож свет выключал.

И походкою той же
Через мир городской
Вечерами всех позже
Возвращались домой.

Ныло тело ночами,
Привыкало с трудом.
Было трудно вначале
И не легче потом.

Помню строгие лица,
В звуках тонущий свет,
Воздух тех репетиций,
Тот жестокий паркет.

За пределами воли,
Где не тело — а дух.
Нет страданья и боли —
Лишь движенье и звук.

Там улыбкою славы
Окупались вполне
Пол сухой и шершавый,
Зеркала по стене.

* * *

Слова внезапной встречи...
От города в побег...
На сучья и на плечи
Летит неслышный снег.

Вдоль неживого леса
Тропинка не видна.
Опущена завеса.
Сплошная пелена.

Снег падает, не тает,
Ложится про запас.
Лениво оседает
На ели и на нас.

Блестит перед глазами,
Скользит, не шелестит,
Под легкими шагами
Едва-едва хрустит.

Скажу тогда, немея,
В безумной тишине
То, что, и сам не смея,
Не разрешал ты мне.

Я выберу снежинку,
Глазами прослежу,
Пока не опустилась,
Я те слова скажу.

И, над твоим сомненьем
В полет пускаясь свой,
Она своим движеньем
Поддержит голос мой.

Мои слова на землю
Со снегом упадут.
Весною с облаками
На небе прорастут.

Виктор Гофман

* * *

На далеком причале сигнал к отправленью ударил.
Море глухо шумело, огромно, пустынно, темно.
Пограничный прожектор по гальке рассеянно шарил.
На веранде смеялись и пили сухое вино.

Это было начало пути. Это было начало.
Я подолгу смотрел в подавляющий черный простор.
В напряженной дали заплутавшая чайка кричала.
И какой-то чудак к ней усталую руку простер.

Это было начало меня. Дальше нить потянулась
между жизнью, как все, и у моря сидящим собой,
и в спешащей толпе одинокая, злая сутулость
вспоминает с невольной улыбкой простор и прибой.

Почему я не шел молодой танцевать на площадку?
Почему я не пил на веранде сухое вино?
Это было давно... Помню ночь, и тоску, и тетрадку.
Я тогда написал на листе: «Это будет давно».

НА ДАЧЕ

Длинный октябрь, осененный порой листопада,
преображенье и плавность полета листа,
мудрость и мужество. Большего в жизни не надо.
Радость дыхания, бочка с водой у куста.

Сердцем улавливай медленный мир мирозданья,
произнеси перед сном благодарность за рай.
Слезы восторга, сухие глазницы страданья,
снова улыбка, и листья летят на сарай.

Длинный октябрь, откровение всех одиночеств,
и деревянный, с просторной верандою дом.
Грабли и слово, прогулки, бессонные ночи...
Мудрость и мужество. Все остальное потом.

Юрий Дудин

ПРАБАБУШКА

Прабабушка Акулина
На диво была хороша
Той красотою старинной,
В которой светилась душа.

Хотя непокорное время
Черты ее
Все замело,
Мне как сладчайшее бремя
И рук ее помнить тепло,

И песни ее...
Те песни! —
Подобных им я не слыхал.
И перстень ее...
И перстень —
Он детство мое озарял.

И памятью не уменьшен
Очей ее гордых тот свет,
Который в глазах у женщин
Напрасно ищу
Столько лет...

Лорина Дымова

* * *

Тяжелого тумана клочья
над неподвижностью воды...
Я верю только этой ночи,
она сильней любой беды.

И этот дым над переправой —
как в самых светлых снах моих...
Ах, чем я заслужила право
на эту ночь, на этот миг?

А Млечный Путь, как коромысло,
висит над бездною реки.
И вместо снов приходят мысли,
неторопливы и легки.

Как старые ручные звери
они готовы мне служить,
что если в вечность я поверю,
то буду вечно, вечно жить.

А если нет — чего же проще:
подняться, медленно пойти
за спящий дом,
потом за рощу,
потом по Млечному Пути.

КАРУСЕЛЬ

Над веселой, над весенней,
над зеленою Москвой
я лечу на карусели
против стрелки часовой.

Карусельщик полусонный
крутит ручку не туда.
Вопреки земным законам,
мчусь я в давние года.

А толпа внизу — как улей,
ничего понять нельзя.
Вижу, чьи-то там мелькнули
осторожные глаза.

К ним я взглядом потянулась,
я узнала, чьи они.
Это я назад вернулась —
в золотые наши дни.

Я к тебе сегодня, милый,
заглянула по пути.
Где же снова взять мне силы,
чтоб остаться иль уйти?

Эти давние заботы
мне опять не по плечу...
Ах, да что я?
Я ж пролетом!..
Я же в прошлое лечу.

Я теперь — воспоминанье.
Я — потухшая звезда.
До свиданья, до свиданья!
Вспоминай хоть иногда.

Я лечу!..
Дома и крыши
подо мною чертят круг.
Я опять уже не вижу
глаз твоих, и губ, и рук.

Не могу я наглядеться
на космический экран.
Редкий лес, деревня — детство,
а за ним — сплошной туман...

Здесь кончается веселье,
умолкает медь трубы.
И схожу я с карусели
у черты моей судьбы.

Карусель зовет прохожих,
обещает чудеса.
...Кто-то на меня похожий
улетает в небеса.

* * *

На счастье, и муку, и горе
отпущен нам маленький срок...
Об этом твердило нам море —
усталый, печальный пророк,

и крик заблудившихся чаек,
и тайна вечерних огней.
...Ужели ты только случаен
в судьбе непонятной моей?

Я знаю, что белые птицы
заплачут, заплачут нам вслед.
Я знаю, ты будешь мне сниться,
наверное, тысячу лет.

Что можно со снами поделать?
И кто нам на свете верней?
Я знаю, не будет предела
тоске неизбывной моей.

А птица все крыльями машет
в сияющем небе пустом.
И все незаметнее наши
следы на песке золотом.

Станислав Золотцев

СИНЕВА

Небо — зеркало звездных снегов —
отдышалось от зимнего плена.
И уступы морских берегов
обложила белесая пена.

Льды в заливе торчат как штыки,
поглощая весеннюю талость.
И в матросские воротники
побережья расцветка впиталась.

Синева! Синева... Синева,
молодая, сырая, густая,
до краев окоем заняла,
сквозь полярную мглу прорастая.

Это — пальцы, к которым прирос
плоскостей и винтов алюминий.
Это — оттиск тяжелых колес,
пропечатавших утренний иней.
Это утренний дым папирос
перед встречей
с воздушной пустыней
и по кромкам бетонных полос
юный мох в геометрии линий.

И по летному полю, в прогон,
самолетов ползут силуэты.
...А по черному полю погон
голубые проходят просветы.

Надежда Кондакова

* * *

Весь день смеялась женщина и пела,
Весь день мужчина сгорбленно сидел.
У певчей птицы не было предела,
А он, непевчий, видел свой предел.

Он твердо знал, что мир сильнее песен
И тяжелей любых его потерь...
Просторный дом был неуютно тесен,
Звала к реке распахнутая дверь.

И чем сильней вода в реке шумела,
И чем угрюмей ключ в двери скрипел,
Тем певчая сильнее птица пела
И тем грустней, непевчий, он сидел.

ПРОЩАНЬЕ С ДЕТСТВОМ

День отгорел. И пестрые заплаты
На фартуке повыцвели от солнца.
Но полные корзины винограда
Присели на скамейке перед домом.
Ведро с водой колодезной смеется,
Но плачут окна, мытые из шланга
Такою же колодезной водицей,
И вечер, как мохнатый шмель, гудит.
Сосед смеется. Мамин голос рядом
И влажные глаза как виноград.
Она срезает мак на тонком стебле,
Срезает, и смеется как-то странно,
И машет загорелою рукою
Мохнатому бездомному щенку.
И на руки берет его. И долго
Глядит на небо, шумное, как улей.
И звездною застенчивою дрожью —
Мне кажется — усыпана земля.
Потом, все так же гладя собачонку,
Идет к веранде, где вдвоем с сестренкой
Сидим в потемках, обнявшись покрепче
И замирая от ночных видений,
Ждем хохота Лесного Бобыля... [1]
Сейчас она войдет, уложит спать нас
И сядет рядом — под большим портретом
Худого человека в гимнастерке,
Который улыбается всегда нам
Веселой довоенною улыбкой...

[1] Так в Оренбуржье называют лешего.

* * *

Талант — не только славы проблеск,
Он расточительство — талант.
Он — выданный природой пропуск,
Ее бессрочный вариант.

Он свет грозы — в раскате первом.
Он — напряженье. И когда
Талант, как ток, идет по нервам —
Не оголяйте провода!

Петр Кошель

* * *

Незрячие окна приземистых хат.
Мордатая девка скликает утят.
Осеннее небо. Дорога на Жлобин.
И ветлы на эту дорогу глядят.

Дорога. Ведь это она извела.
Крутила и мяла, студила и жгла.
Ты выбрался. Видишь, дорога, дорога.
Дорога, товарищ. Такие дела.

Как будто не время еще умирать,
долги раздавать и друзей собирать,
зачем же так хочется слабо и длинно
на эту прохладную землю упасть?!

Упасть и услышать, как дышит трава,
как реки уходят поспать в рукава,
как сотни мальчишек, приткнувшись по кухням,
о первой любви составляют слова.

Есть, видно, такое мгновенье в судьбе,
когда ты услышишь, очнувшись от бед,
как дышит страна по прозванью Отчизна,—
о, сколько в ней счастья досталось тебе!

Александр Лаптев

БИТВА

Вертелась лодка как юла,
Когда вдруг рыбина взяла!
Вода бурлила кипятком,
И брызги вправду обжигали,
Исчезли ивы, копны, дали.
Стучало сердце молотком!
Леса внезапно обрела
Такую бешеную силу,
Что кисть мгновенно затекла
И тело жалкое заныло...
Еще рывок, еще удар —
И в лодке лещ — большой, горбатый...
За трудный, неподкупный дар
Река весло взяла в уплату...

* * *

Брожу с рогаткой по ольшанику,
Беспечных птиц ввергая в панику,
Не слышу ничего от гвалта!
Пока еще в моей крови
Пульсирует пожар азарта,
А не святой огонь любви!
Мне десять лет. Я царь природы!
И этим титулом горжусь!
Потом сравню я наши годы,
Гадая — кем ей прихожусь?
Потом достойно оценю
Ее явление любое,
Не облаченное в броню,
Но служащее нам бронею...

Феликс Медведев

* * *

Тот памятный день подмосковный,
прискорбный тот час и тот миг,
когда я услышал посконный
печально-торжественный крик.
Как будто кого-то убили
в том темном лесу за рекой,
так родственно бабы вопили,
и мальчик, и старец с клюкой.
Вот так же, наверно, кричали
солдатки огромной страны,
когда «похоронкой» стучали
в глухую калитку войны.
Но здесь по какому веленью
из небытия — в бытие,
из неба — под снег, под коренья
ушел на глазах поселенья
тот летчик в бессмертье свое?
Стоял я, крестились старухи.
Закат занимался, кровав.
Кукушки умолкли в округе,
внезапно свой счет оборвав.
И этим молчаньем томились
снега, что его не спасли.
И как-то зловеще дымилась
та рана на теле земли.
И новая страшная дата
рождалась, тяжка и горька.
Но в небо глядели куда-то
мальчишки того городка.

Юрий Никонычев

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Выплакалось небо,
Отрыдало
Над просторным городом моим.
Слитками шершавого металла
Лужи прикипели к мостовым.

И поникли
Ржавые растенья,
Словно прутья сломанных оград,
Над асфальтом сизого свеченья,
О который разбивался град.

Неба нависающего груда
Все сдавила,
Как бетонный блок...
И дышал прерывисто и трудно
На живой земле газона клок.

Олеся Николаева

ИЗБА

Отчего-то, глаза закрывая, тебя вспоминая,
Опустив на ладони весь груз отрезвленного лба,
Вижу я, как встает — ну такая нелепость, такая! —
Окруженная лесом, забытая всеми изба.
Ты — средь этих метелей — единственный стебель зеленый,
Я — косматый репейник,
Меня выжигало дотла
Провансальское лето мое, что ушло утомленно,
Уводя моего трубадура под символом зла.
Но уже и тогда меня мучило вовсе не это:
Трубадуры — в Прованс,
А репейники — марш на пустырь!
Но мы любим всегда голубым отражающим светом
В обесцвеченном воздухе,
Там, где разлит нашатырь.
Я пойду за тобой до сосны, до березы и ели,
До избы деревянной, до рая, до ада, до дна,
Чтобы губы мои обомлели, глаза онемели
И горела пред ними мальчишечья эта спина.
Будет снег-лицедей, будет лед,
Будет лес-полуночник,
Будет холм-заговорщик,
И ты обернешься ко мне,
И разрежет меня мой колючий, прямой позвоночник,
И растопчет нас что-то на белом воздушном коне.
Но сейчас этот воздух мне жжет незажившую кожу,
Но сейчас в твоем доме лекарствами пахнет, и в нем
Бродит женская тень (а все женские тени похожи),
Ты оттуда не выйдешь,
И я не войду в этот дом.
И всем трепетом страха — иначе б тебя не любила! —
Всей немотою рта,
Всей бредовой, багровой тоской
Славлю только двоих
На пути к одичалой, остылой,
Невозможной избе,
Невозможной избе голубой!

* * *

В этот день я сожгла все любимые старые
книги,—
Ничего у меня не осталось.
А все, что ни есть,
Оказалось хулою спесивца,
Хулою расстриги,
Лишь одно было сладко —
Медеина месть.
Было холодно.
Било двенадцать.
И только на ощупь
Темнота узнавала гонцов и пришельцев своих,
И сжимала в объятиях мост
И фонарь его тощий,
И шаги удлиняла,
Покуда их стук не затих.
Но деревьями всеми
Раздвинулась вдруг одиноко,
И пронзительно дрогнул
Огонь догоравших свечей.
В этот час моя тень
Заглянула в открытые окна
И последняя крикнула «Горько!»
На свадьбе твоей.

Iада Одинцова

Лада Одинцова молода. До того как отважиться выступить перед читателем стихов с первой книжкой «Обруч», училась в Литературном институте, работала в Усть-Илиме.

Стихи для первой книжки отобрал взыскательный мастер слова Николай Николаевич Ушаков. Представляя автора читателю, он писал: «Лада Одинцова склонна к неопределенным настроениям... но, отобрав ясное и цельное, я поверил голосу Одинцовой, на мой взгляд необходимому в общем поэтическом хоре».

Между датой выпуска первой книжки и временем написания стихов, ныне публикуемых, прошел год. Но, мне кажется, в них уже меньше «неопределенного настроения» и уже более отчетливо проступает то самобытное, свойственное дарованию поэтессы, что дало основание Н. Н. Ушакову сказать, что голос Одинцовой можно считать «необходимым в общем поэтическом хоре».

Алексей СУРКОВ

ТРАМВАЙ НА СЕЛЕЗНЕВКЕ

Еще трамвай звонит на Селезневке,
Еще пылает зеленью трава,
И пуха тополиного поземки
Еще дымятся посреди двора,

Еще пора бессмертья не настала,
Еще земляне помнят о вражде,
Еще частиц радиоактивных мало
В огне травы, и в ветре, и в дожде,—

Не потому ль так яростен, так ярок
Трамвай звонящий, мчащийся, живой?
Железен он, а мы умрем с тобой,
А дух наш — пух, сквозящий из-под арок.

ПОПРОБОВАТЬ НА ВКУС ВЕСНУ

Попробовать на вкус весну:
и горечь ветви ощутить
акации, растущей сиротливо
на улице из камня и стекла,
и в бронхи, чахлые от табака,
втянуть смесь гула, воздуха и пыли,
как выпить газировку с пеной.
Почуять мышцами увядшими желанье
копать,
мотыжить,
объезжать коня — такое странное творение природы,
такое сильное,
доверчивое,
дикое,
что хочется беречь его и гладить.
Как пахнет снегом,
вечностью,
землей,
еще не всею скрытой под асфальтом.
Проклюнулась и робкая трава:
уже она ждет пчел, собак и кошек —
всех, кто на жизнь имеет также право.

На это глядя, поняла я, что живет-таки во всем живом душа.
Звенит она ключами золотыми
от кладовых привычек и пристрастий,
и темперамента, и ген, и памяти,
И памяти! В которой вечны море,
Мариуполь,
попугай ручной,
твердящий под акацией прохожим
про то, о чем они желали слышать:
о счастье,
только счастье,
только счастье!

* * *

Весна, весна,— хоть горло перережь,
Весна —
Хоть полосни себя по венам.
И жизнь была — заполненная брешь,
Любовь была — случайна и мгновенна.

И я рукой водила по стене,
Я говорила, не хочу возврата
Всего уже угасшего во мне,
Я нажилась. Пускай я виновата.

Но ты меня тогда не пощадил,
Хотя была весна на редкость светлой,
Как будто сто блондинок площадных
Зарю отряхивали с веток.

Зачем-то спорил, что-то говорил,
Кого-то клял, кого-то славословил.
Потом же поднимался гитарист
И на подмостках пел, светлоголовый.

В кафе уютно только для меня,
Лишь для меня одной он пел в тот вечер.
То было где-то на исходе дня,
Когда закат предвозвещает вечность.

Он пел не уставая и затем,
Любимец публики, вновь вышел на эстраду,
Что каждый в зале песен захотел,
Его уста запели про пощаду.

Что поднялось! И что стряслось тогда!
Воздели руки и молили чуда.
И тут зажглась угасшая звезда,
Кто знает залетевшая откуда.

И среди нас не находилось тех,
Кто зло таил иль месть кого снедала.
И в потолке вселенная зияла,
И стены плакали и таяли как снег.

Алексей Прийма

Наверное, не обязательно предварять стихи, даже такие необычные, как стихи Алексея Приймы, прозаическим вступлением. Разбирать или комментировать их надо уже после публикации. Эти несколько строк я пишу с единственной целью — обратить внимание на поиски новой выразительности: в них, как мне думается, сказалась органическая потребность молодого поэта по-своему передать ритмы и атмосферу нашего времени, даже если тематически стихи связаны с прошлым. И хочу еще добавить, что некоторая метафорическая усложненность не лишает стихи Алексея Приймы серьезного смысла, теплоты и человечности.

Ал. МИХАЙЛОВ

КРАСНЫЙ ПРИНЦ

Когда я так устану,
что еле сдвину ставни,
когда я засыпаю
и музыка поет,—
минуя
ставни,
тенью
влетает в затемненье
старинный и военный,
дощатый самолет.
А в спальне запустение,
вечернее, осеннее.
Умаялись соседи,
не дышат у дверей.
Сопит
моя Наташка...
Такое все нестрашное...
Но кружится Гастелло
над койкою моей!
Летающая совесть?
Летающая рана?
А может, это память
наследственная, а?
Наследую я
планер,
наследую я знамя,
наследую я пламя,
я — пламя у хвоста!
Уже ни сна, ни койки...
И ойкают винтовки...
И человекобойка,
расстрельщица война...
И рвет она
с постели
в падение Гастелло,
и я звоню 09,
звоню в колокола,
но! —
«Нет номера
Гастелло,—
ответят мне растерянно,—
похоже, не успел он
оставить номерок...»

Да нас
соединяет
не провод телефонный —
а маленький, бикфордовый,
горячий планерок!
Ах, справочное, право,
забудьте номера вы.
В полуночных кварталах
не спите только вы.
Так с кем же,
как не с вами,
про горькую отраву
падения во славу
Отеческой войны!
Падение Гастелло —
Бастилия Гастелло?
Восстание Гастелло!
И финиши — войне!
Упасть бы так
однажды,
вы слышите — однажды,
ЧТОБЫ СПАЛА НАТАШКА,
вы по-ни-ма-е-те?
И трубку телефонную
я выброшу в окно,
и свешусь
с подоконника
в давным-давно...
Отеческая память,
Наташенька не спит...
Наташка, в небе памятник
дымящийся летит!
...Она не спит, Наташа,
и долго из окна
она ладошкой машет
туда,
где шла
война...

ПЕРЕПОНЧАТЫЕ КОЛЕСА

По трассе, по асфальтовой и пыльной,
веселый гонщик в майке полосатой

гудит на алюминиевой метле
меж синих фонарей и тополей.

И тополя, и эти фонари
ныряют за спину и гаснут в повороте.

Его велосипед — его легавая!
Резиновым и круглым языком

он лижет ранки автокатастроф
и лает в облупившийся звонок.

И дачники, шарахаясь, хохочут:
— Веселый дьявол, велосипедист!

И долго еще дачники смеются...
И на шоссе планируют стрижи...

А то, что стонет гонщик,— незаметно.
А то, что он трясется,— незаметно.

И разобьется, может,— незаметно!
Лишь перепончатые вертятся колеса,

как две магнитофонные бобины,—
поет под седоком велосипед.

Евгений Рейн

БАЛЛАДА НОЧНОГО ЗВОНКА

В этой старой квартире, где я жил так давно,
Провести три недели было мне суждено.
Средь зеркал ее мутных, непонятных картин,
Между битых амуров так и жил я один.
Газ отсвечивал дико, чай на кухне кипел,
Заводил я пластинку, голос ангельский пел.
Изгибался я плавно, и стоял, и кружил,
А на третьем куплете я пластинку глушил.
Но однажды под утро зазвонил телефон,
И дышал кто-то смутно, и безмолвствовал он.
Я услышал, как провод лениво шипел
И ту самую песенку голос запел.
И была пополам, ни жива ни мертва,
Песня с третьим куплетом, допетым едва.
«Кто вы, кто вы,— кричал я,— ответьте скорей,
Что сказать вы хотите этой песней своей?»
Но проклятая трубка завертелась в руке,
И услышал слова я на чужом языке.
Может, птица и рыба говорили со мной,
Может, гад земноводный или призрак лесной?
Может, кто-то на станции плоско шутил?
Или может быть, друг мой так скушно кутил?
Или женщина это позвонила ко мне,
Сверхъестественно номер подбирая во сне?
И сказала, что знала, лгала, как могла,
Полюбила, забыла и снова нашла?
Ей привиделись мутные те зеркала,
И она разглядела, как дурно жила?
И в конце сновидения битый амур,
Мой божок, мой бездельник, ее подтолкнул?
И, как прежде пристрастна, как всегда холодна,
Не хотела признаться и молчала она.

Раиса Романова

МЕТЕЛЬ В МОСКВЕ

Над микрорайоном лютует метель,
Ведет свои буйные, грозные песни.
Так дико, что мнится — за сорок земель
И Кремль, и Манеж, и Блаженный, и Пресня...

Москва. Но тревожно, как в крае степном.
И вьюге вольготно в кварталах просторных.
Лишь изредка канет такси за окном,
Натруженно-глухо вздыхая мотором.

Куда вы ушли, великаны дома?
Иль вас заморочило чистое поле?
Лишь степь, да простор, да пурга, да зима,
Да древняя песнь о печали и воле...

И чудится мне — колокольчик звенит!
То путник всегдашний спешит и блуждает,
Поэт ли?.. Опáлен ли он?.. Знаменит?..
Не бесы ль в дороге ему досаждают?..

Индустрия! Космос! Зови нас, зови!
Мы старою песней от века недужны:
Степные бураны гуляют в крови
Да тонко звенит колоколец поддужный!

Россия! Одень тебя всю, до морей,
В дворцы — по последнему слову науки,—
Найдет себе место твой ярый Борей
И плакать, и петь, и заламывать руки...

Геннадий Русаков

Невесело признаваться в своем позднем возрасте, но приходит и его время, приходит и затушевывает яркость впечатлений. Круг пристрастий сужается, привнесенное в искусство модой обесценивается; в поэзии что́ написано — представляется куда более значительным, чем ка́к написано.

Вот не столь уж новая точка зрения, с какой я приглядываюсь к стихотворениям Г. Русакова. О том, как они написаны (хоть они написаны хорошо), говорить не хочется. Подлинное искусство правдиво, хоть элементы его не без обмана. В поэзии, как бы сильна ни была метафора, например, она поневоле искажает сущность изображаемого, усиливая его отчетливость, вместо него подставляет нечто более или менее близкое первоначальному представлению.

Жизненность искусства прежде всего в его правдивости. Это — девять десятых стихотворения, нужного читателю. Если остаточная одна десятая «формы» не заслоняет целого, а помогает осуществиться духовной связи поэта и читателя, мы безоговорочно признаем стихотворение влиятельным, живым, необходимо нужным.

Правда поэзии Г. Русакова горчит, но не от сладкого мужает и просветляется человеческая душа. Поэту надо было пройти нелегкий путь, чтобы его зрелая мысль постигла, «как сладок хлеб, какая сила в плоде надкушенном земном», и счастливо приняла «единосущный с ним, единым вымеренный мир».

Верится, что поэзия Г. Русакова будет правильно понята и оценена читателем по ее высокому достоинству.

Арсений ТАРКОВСКИЙ

* * *

И по-над аспидным забором,
над сонмом крыш и зверьих дыр
раскрытым галочьим простором
летит, летит огромный мир...

Что было — мелочь, сор, порезы,
неловкой памяти зола,
искус оконченной аскезы.
Ты прокалился добела.

Ты прост, ты чист,— отковка меди,
ты любишь запах и замес

сухосемянной нашей снеди
и колер пасмурных небес.

Тебе везло: еще не било
в твоей судьбе на перелом.
Как сладок хлеб, какая сила
в плоде надкушенном земном!

И ты глядишь, как, косо пущен,
над сонмом крыш и зверьих дыр,
летит, с тобой единосущий,
единым вымеренный мир.

* * *

Идут дожди, смеркается к пяти.
Худых дорог закончилось движенье.
Сойти во двор, руками развести
сырую ткань, тугую в натяженье.

Перелило следы коровьих ног.
Цветет грибок в сопревшей древесине.
Не подходи ко мне, лукавый бог:
не уступлю ни зелени, ни сини.

Не тронь меня: шумят мои дожди
(Который год?.. И ныне им, и присно!).
Лишишь земли — не празднуй, обожди:
я на поле твоей клещом повисну.

В жестяный воздух пальцами вцеплюсь:
ну — полстроки, полвыкрика, полшага!
Ах эта жизнь! Солоноватый вкус,
кремнем и пылью пахнущая влага.

* * *

Матери

Который век я на земле живу?
Рождались, умирали, воскресали,
постройку на фундаменте бросали,
кончали на заглавии главу.

Когда ты уходила им вослед,
я клялся отстоять тебя у тлена
и славить до десятого колена.
А вот уже и слов на это нет.

Евгения Славоросова

УТРЕННИЙ ПОЕЗД

О утренний поезд,
Набитый битком,
Гудящая повесть,
О чем ты, о ком?

Где рядом сидящий
Прижался плечом,
Протяжно гудящий,
О ком ты, о чем?

Как молния, встречный
Мелькнет за окном.
Так мчаться бы вечно
Меж явью и сном.

Мне взгляд ваш печальный
Как будто знаком.
Мой спутник случайный,
О чем вы, о ком?

На путь перегонный
Мы души влечем.
О гомон вагонный,
О ком он, о чем?

Не одой, не речью,
Но пусть вспомянут
Короткую встречу —
Пятнадцать минут.

На насыпи дети
Нам машут платком.
Но кто мне ответит,
О чем я, о ком?

* * *

Как страх и ночь темны и топки,
Легко исчезнуть мне в ночи.
Я здесь одна — лишь искры в топке,
Я и огонь в моей печи.

О сколько шума, сколько треска!
Но хлоп! Закрылась западня.
А на стене возникла фреска
«Сраженье тени и огня».

От ночи мрачной и незрячей,
Что затопила все пути,
Убереги меня, горячий,
Мой светлый, душу освети.

Он бьется яростно и грубо,
Он, хрупкий, теплится едва.
Благословляю лесоруба,
Что заготовил мне дрова.

Зачем мне теплое местечко?
Но так мила мне и близка
Родной очаг — простая печка.
Благословляю печника.

Благословляю незнакомых,
Всех вас, незримые друзья,
И мне одной не страшно дома,
И у огня не плачу я.

Не так уж часто повторяем
Мы благодарности слова.
Огонь горит благодаря им,
И я согрета и жива.

Наталья Стрижевская

* * *

В небес холодной синеве
Исакиевский купол светел,
Окружность облака в Неве
Слегка раскачивает ветер.

Растрелли пышен и красив,
А Росси нежен и беспечен,
И Петропавловки массив
Дрожащим золотом просвечен.

Души спокойна тишина,
Сухая желтизна фасада
Казенных зданий включена
В желтокруженье листопада.

И медленно летит гранит,
Вращеньем тяжести лишенный,
Прямые с сферами роднит
Классическая завершенность.

Весомей цоколя листок
С уже раздевшегося клена,
И зыбкий воздуха поток
Стены не ведает заслона.

Деяний смутен результат,
Нерукотворное прекрасно.
И белым пламенем горят
Крутые купола безгласно.

И песнь не требует словес.
Дай мне войти в струенье мира,
Шагнуть в сентябрь, как в глубь небес,
И стать частицею эфира.

* * *

Нечетко щелканье и плеск
Дождя о гладь листвы,
Загустевает ливнем лес
До плотной синевы.

На клумбах лужицы полны
Осенней шелухи,
И георгины у стены
Нетронуто сухи.

За дверью хлюпает вода
И всхлипывает клен,
Все льет. Не выйти никуда.
Приник к земле газон.

От стен бревенчатых жильем
Запахло. Льет и льет.
И мы за веком век живем,
И время не идет.

Рябины мелко-красный град
Ударит по стеклу,
И тяжело роняет сад
Антоновку во мглу.

Склонен, колотится о дом
Колючий темный куст
И тычется в дверной проем,
И весь поселок пуст.

И пальцы в пальцы сплетены,
Как ветви у ольхи.
Все льет. Уже разлучены.
И лишь глаза сухи.

Александр Ткаченко

* * *

Продолжают движенье пули
военных времен
вместе с вращеньем воды,
вместе с вращеньем земли,
но никого не убивают,
поскольку их скорость
совпадает со скоростью весны,
со скоростью облаков и любви
и даже со скоростью стоячих озер...
Но стоит чему-нибудь земедлить свой ход,
как пули выползают из земли,
словно дождевые черви,
и начинается:
несозревшие яблоки падают с деревьев,
поезда приходят не по расписанью
и море выбрасывает на берег тела людей...
Вот так —
мы уже не имеем права двигаться медленней,
чем двигались вчера, чем движемся сейчас,
иначе прошлое настигнет нас
и уложит рядом с собой.

Николай Щербинский

ПРОСПЕКТ

Блеклое здание в стиле «модерн»,
Кариатид удивленные лики
И безголовый атлант — Олоферн,—
Вас ли задумывал Петр Великий?

Тщетно зигзаги распущенных лент,
Силясь бесплодную спрятать досаду,
В девятисотых годах декадент
Щедрой рукой разбросал по фасаду!
Накуролесил!
А сам был таков...
Думаю в пику подобным субъектам,
Жесткие грани матросских штыков
Ближе по мысли к приневским проспектам.

* * *

Прозрачнее, призрачней дали.
Прохладней, пронзительней дни.
Сама понимаешь — едва ли
Для нас повторятся они.

А все ж в ожиданье разлуки,
В предчувствии близких утрат
Добрее и бережней руки,
Нежнее и пристальней взгляд.

Предутренний лед неизбежно
Уже покрывает пруды.
О как ты целуешь поспешно,
О как задыхаешься ты.

* * *

О жизнь простая в захолустье,
Где дни, как прежде, горячи,
Но с ощущеньем новой грусти
Кричат отлетные грачи.

Провинциальные забавы.
Лень. Первый холод по утрам.
Одушевляющий дубравы
Давно забытый небом храм.

Узнаешь ли забвенье лучше,
Чем тут, душой над всем скользя,
Увидев луч, пронзивший тучи,
Словно небесная стезя.

Сергей Чупаленков

СЕНОКОС

Рассыпана вразброс
июльская роса —
сегодня сенокос
в селеньях начался.

Осанна косарям,
слагателям стогов,
росистым снегирям,
создателям стихов!

Без устали свистит
коса стиху под стать:
косить,
косить,
косить —
писать,
писать,
писать.

И, заспанный слегка,
встает рассвет босой,
и за строкой строка
ложится под косой.

* * *

Дорога,
Дорога,
дорога
богами дарована мне,
и красные кони тревоги —
кричащие дети во сне.

Отпущены доли мгновений
судьбою на тысячи миль,
и синие кони сомнений
взбивают копытами пыль.

И в бешеном ритме погони
я вижу, как на вираже
отчаянья черные кони
меня настигают уже.

Но знаю, но верю, как прежде:
подковами счастья звеня,
зеленые кони надежды
спасут от погони меня.

И лишь об одном неизменно
и денно и нощно молю —
пусть желтые кони измены
минуют дорогу мою.

До боли, до крови, до стона
вонзаются шпоры в бока.
Любви моей белые кони
уносят меня в облака.

В ПРЕДЧУВСТВИИ СЛОВА

В последние годы стало модно ругать нашу молодую поэзию за отсутствие истинного чувства, за версификационную свободу в ущерб поэтическому содержанию. Это критическое недовольство имеет основания, но ведь и время поэзии решительно меняется, и не одни только молодые испытывают его тайные, подземные толчки. Просто им труднее других. Они приходят в переходный период, когда кажется ясным, как не надо писать стихи, а как надо — не подскажут никакие учители. Время русской поэзии словно бы завершило в шестидесятые годы большой спиральный виток и застало начинающих сегодня на ниспадающем изломе своей траектории.

Вот почему превыше техники, превыше мастерства ценится нынче *естественность* в молодой лирике. Все начинается сначала. Все образцы на слуху и в памяти. Зерно, чтобы прорасти, должно погибнуть, не отрекаясь от прошлого, но преобразовав его в новое будущее, в новый синтез.

Стихотворная подборка, которая перед вами, составлена из произведений учащихся Литературной студии при МГК ВЛКСМ и Московской писательской организации. Студия существует четыре года.

Для представленных здесь поэтов это первая в жизни публикация. Нам хотелось дать высказаться естественному, пусть порой еще ученическому, ломкому голосу. Каждый из них и каждый по-разному — в предчувствии своего слова, и то живое разнообразие незаемных интонаций, которое можно уловить в скромной подборке, как в капле отражает общее движение нашей молодой лирики к трудной самостоятельности и углублению поэтического чувства.

Евгений Сидоров,
ректор Литературной студии

Тамара Стародубцева

* * *

Учили детей. Посадили деревья.
И грядки — как столбики стихотворенья,
Как столбики цифр — огородные грядки.
И оба всю жизнь проверяли тетрадки.
Удобно, что рядом, на смежных участках,—
Приходят к ним много, и письма им часто,
И астры вдоль их небольшого забора —
Бесхитростные, как и их разговор.
— Своих проводили?
— А осень-то, осень!
За лето — о чем они только не спросят!
— Мои и на зимних теперь приезжают.
Варенье варю, из всего урожая.
А как управляетесь вы с парниками?
— Мы с братом, бывало, еще пареньками...
Да больше и не довелось...
Воевали...
Опять в райсобесе путевку давали,
Да я неохоч как-то до Евпаторий —
Здесь я и родился, здесь мой санаторий.
Задумаешься — да как будто в порядке —
И дом, и семья, и дела...
И — тетрадки...

Взгрустнется — и свет из соседкиных окон —
Да вот уж и вроде не так одиноко.
— А мне — так, поверите, чуточку жалко,
Что я свою жизнь прожила горожанкой:
Мне все еще кажется — верно, старею,—
Вдруг кто-нибудь спросит — а я не умею...
И помню свой первый урок — как вчерашний,
Была молодая, был образ Наташи...
А Любка Шевцова! А Павка Корчагин!
Как плакать хотелось! Как дети молчали...
Девчонки секреты свои доверяли...
А в общем — тетрадки всю жизнь проверяла.
И тоже привыкла ложиться под утро.
— Такая работа, хоть это и трудно.

Краснеет упавшее яблоко с ветки
Соседского дерева — в грядку соседки,
Как будто в тетрадке кусок промокашки.
— Мария Антоновна, яблоко — ваше.

Как много здесь книг!
И журналы. Подшивки
Газетные — около швейной машинки.
И рядом старинное блюдце — конфеты,
И много объемистых пачек — конверты.
Вдруг скрипнет калитка — и кто-то приедет!
И кто-то окликнет!
А может быть — ветер...

Дмитрий Санин

НА ХАТЫНИ

Снег, как с дерева, осыпается,
Замораживая гранит.
Грунт замерзший их прах хранит,
Черно-белая усыпальница.

Здесь дворцов или храмов нет.
Саркофагов с телами нету.
Засыпает деревню снег,
Засыпает она под снегом.

Засыпает под свист ветров:
Окна, трубы домов, деревья.
И всего тридцать шесть дворов —
Укрыватели — вся деревня.

Не сбегутся играть в снежки,
Не споют — пустота сырая.
Нет хозяев — сожгли, сожгли
Всю деревню в одном сарае...

Всех сожгли. Огнем спалили,
Это горе — что вместит?

А Каменский исполином
С сыном на руках стоит.

Босоногий и сутулый.
Темный, как ненастный день.
А вокруг — кольцом Сатурна —
Дым сожженных деревень.

Черен камень, как перегной.
В клети буйствует огонь.
Вечный, вечный, вечный.
Бьется птицей певчей.

И только небо без кровинки
И без намека облаков.
Рождает страшные обрывки
Тягучий звон колоколов.

Огонь, и звон, и зов отныне
Здесь, на Хатыни.

* * *

Я догоню тебя, русалка,
Коснусь горячего плеча.
Мне ничего теперь не жалко,
Скажи, что больше ты ничья.

Ответь улыбкою соленой,
Руками смуглыми достань,
Пока ни моря, ни заслона,
И ты скользишь, и все как встарь.

Пока волна не накатила,
Пока в подарок нас с тобой
Еще стихия не накрыла
И соль морская с головой...

Меня русалка утянула.
И опустились мы на дно,
И все, что было, утонуло,
И было все, что суждено.

А мне ни капельки не жалко
Того, что в золоте бурлит,
И в синей зелени русалка
Со мною за руку скользит...

Алексей Королев

* * *

Пелена за оконной рамой,
заколочена дверь скобой...
Прежде чем мы пойдем с тобой
с немудреной семейной драмой
за спиною, куда незнамо,
как калики с пустой сумой,—
попытаемся, ангел мой,
докопаться до сути самой...

Потолкуем о том о сем,
побеседуем обо всем,
от чего ни следа, ни звука
не оставим и не спасем;
перемелется — будет му́ка,
мы едва ли ее снесем.

* * *

Когда слова пойдут на лад,
когда не станет с ними слада,
когда тонических рулад
набьет оскомину услада,—

тогда — ни слова не писать,
баклуши бить и душу тешить,
и кол на голове тесать,
и все же головы не вешать,

и все-таки иметь в виду,
что не останешься внакладе,
поскольку это на роду
написано, а не в тетради.

* * *

На улице метель мела,
И падал снег куда попало,
А ты плечами повела —
Мол, дела нет и горя мало! —
И выпорхнула из подвала,
Как зимородок из дупла.

Потом озябла и взяла
Взаймы у аэровокзала
Толику малую тепла —
И миг спустя опять пропала
Из поля зрения стекла,
Бетона, камня и металла,—
Поземка языком слизала,
На нет метелица свела.

Вера Игельницкая

ФОНАРЬ

Я — одинокая цапля,
у которой горит голова.
Я горю в четырех стеклянных стенах,
а вокруг меня
черны земля и небо.
Черны, равны и неотделимы.
Но собственным светом
вырезаю, словно венец,
мое небо над моею землей.
Смотрите, как падает снег
из темноты в темноту
на моей картине.

Неправда.
Фонарь — это старый чудак
в залепленных снегом очках,
с глазами провидца.
Он видит не лучше нас —
он просто так устроен.
Фонарь —
это слабый взгляд в темноту,
а днем он ничего не видит.
Не верь ему!
Каждый зажженный столб
имеет свою корону.
Медленно, каждую зиму
рядом с ним идет снег,
и это нелегко
для снега и для фонаря.
И когда снег устает,
он начинает биться.
А когда перестает биться,
его белые руки
держат горячую фонарную голову.
И фонарь плачет снежными слезами.
повторяя, что он — для снега
и снег — для него.
Но эти мгновенья проходят.

Фонарь — это слабый взгляд в темноту,
но кто, кроме него, туда смотрит?
Это все равно что писать стихи
и знать, что ты —
старый чудак в залепленных снегом очках,
но все-таки помнить,
что ты одинокая цапля,
у которой горит голова.

И нет рук,
чтобы схватиться за голову.

Игорь Селезнев

СЕНТЯБРЬ

Он деревом пах, словно плотник,
выказывал к полю любовь,
и в небо от рук его потных
шел запах созревших хлебов.

Он был настороженный очень:
все шумы и трески постиг,
был ровен, размерен и точен,
внимателен, как часовщик.

Он, знающий дело, настойчив,
был в деле с макушки до пят.
Бездомный, как старый настройщик,
он ладил в лесу листопад.

Ходил по окраине дачи,
ухвоивал наши леса,
спросил: «Разве можно иначе,
иначе творить чудеса?»

Память

Юрий Прокушев

ОНИ ЗНАЛИ ЕСЕНИНА

Из встреч с современниками поэта

— Вот один из моих аспирантов. Любит и знает хорошо романы Толстого, но не скрою от вас, Софья Андреевна, главное увлечение его — поэзия, стихи Маяковского, Блока, Есенина... Пришел ко мне на консультацию...

Так, как всегда очень тактично, с хорошей доброй улыбкой, мой научный руководитель — Константин Николаевич Ломунов, ныне известный толстовед, доктор, профессор, а тогда, в сорок девятом году, ученый секретарь музея Льва Толстого,— представил меня внучке великого писателя — директору музея. Мы находились в ее небольшом, уютном кабинете...

Софья Андреевна Толстая была женой Сергея Александровича Есенина в последний год его жизни. При ней Есенин готовил к изданию свое собрание сочинений. Она активно помогала ему. После смерти поэта Софья Андреевна отдала много сил увековечению его памяти. Вместе с сестрой Есенина, Екатериной Александровной, она сумела собрать воедино значительную часть есенинского архива. Позднее она написала содержательный комментарий к стихам и поэмам Есенина, которым в настоящее время широко пользуются исследователи творчества поэта. Тогда же Софья Андреевна составила очень умно и точно томик Есенина.

— Не сразу удалось мне напечатать этот томик,— рассказывала мне позднее Софья Андреевна.— Я никак не могла пробиться в издательстве. В конце концов я решила пойти к Калинину. Я помнила, с какой теплотой говорил мне Сергей о встрече с Калининым на родине Михаила Ивановича, в Тверском краю. Калинин меня принял хорошо. Живо интересовался делами толстовского музея. Во время беседы я сказала Михаилу Ивановичу, что никак не могу издать стихи моего мужа — поэта Сергея Есенина. Он задумался, долго молчал, словно что-то вспоминая, а возможно, что-то решая для себя в эти минуты... Потом посмотрел на меня «заговорщически» и как-то очень по-доброму сказал: «Не унывайте! Есенина будут издавать». Радостно мне было услышать от Михаила Ивановича и то, что он, Калинин, лично знал Есенина, его стихи любил всегда и полагает, что современным нашим поэтам есть чему у Есенина поучиться... Михаил Иванович оказался прав,— продолжала Софья Андреевна.— Через некоторое время, в сороковом году, вышел сборник Есенина со вступительной статьей Александра Дымшица. Мне же мой томик Есенина удалось выпустить лишь после войны, в сорок шестом году.

Правда, напечатать и тогда Есенина директору Издательства художественной литературы Петру Ивановичу Чагину, при жизни Сергея одному из замечательных его бакинских друзей,— заметила Софья Андреевна во время нашей беседы,— было далеко не просто. Страна только что вышла из тяжелейшей войны. Победа досталась нелегко. Много было других неотложных забот. Вновь помог Михаил Иванович Калинин. Тогда же, при его поддержке, был решен положительно вопрос о пенсии Татьяне Федоровне — матери поэта.

Да! Какой милый (это было любимое слово Толстой) и какой отзывчивый человек был Михаил Иванович Калинин. И какой мудрый! Настоящий народный президент.— Голос Софьи Андреевны звучал взволнованно и сердечно.— Я всегда буду благодарна ему за Сергея...

Пятьдесят семь тысяч экземпляров — таким тиражом, по тем временам довольно значительным, был издан томик Есенина, подготовленный С. А. Толстой-Есениной. Но... приобрести его в книжных магазинах было почти невозможно. Поэзия Есенина, наполненная великой любовью к родине, к России, всегда была дорога и близка народу...

Как и другие, кому посчастливилось тогда, в сороковые годы, заполучить в руки этот есенинский томик, храню я его с любовью, как первую ласточку многих и многих будущих послевоенных изданий Есенина, тиражи которых в наши дни исчисляются миллионными цифрами.

После первого знакомства мне довелось неоднократно встречаться, по душам беседовать с Софьей Андреевной и в музее и у нее дома, на квартире, в Померанцевом переулке. В одной из комнат этой большой квартиры жил несколько месяцев Сергей Есенин. Отсюда в конце декабря двадцать пятого года он уехал в Ленинград. Еще седьмого декабря он направил одному из своих ленинградских знакомых — молодому поэту Эрлиху — телеграмму: «Немедленно найди две-три комнаты. 20 числах переезжаю жить Ленинград... Есенин». Эрлих не сумел найти не только «двух-трех», но и одной комнаты. Есенин остановился в гостинице «Англетер». Там трагически оборвалась жизнь поэта... Обо всем этом невольно вспомнил я, когда впервые, с волнением, поднимался в квартиру Толстой по лестнице, по которой

когда-то торопливо шагал Есенин, навсегда покидая (кто мог тогда предположить!) и этот дом, и Москву...

Со временем Софья Андреевна Толстая познакомила меня со своим архивом. Произошло это вот при каких обстоятельствах.

— Я прочитала и «Литературную Рязань» и «День поэзии». И хорошо вижу, куда вы, Юрий Львович, стучитесь. По сути дела, ведь впервые за все эти годы, после смерти Есенина, о нем публикуется так много новых материалов. Думаю, что они заставят взглянуть на Есенина, его жизнь и творчество по-иному,— заметила Софья Андреевна в одну из наших встреч, в конце пятьдесят пятого года.— То, что вы опубликовали, мне особенно дорого, как память о Сергее,— продолжала Софья Андреевна,— и ранние его стихи, и чудесная статья Сергея о Брюсове, и его взволнованные письма к Горькому, Чагину, Гале Бениславской, и все остальное... Многое вспомнилось. И наша поездка с Сергеем к его родителям в Константиново, и время, которое мы провели вместе на Кавказе, у бакинских друзей. Вспомнились и мои первые встречи с Есениным.

...Однажды я была со своими литературными друзьями в «Стойле Пегаса». Тогда об этом литературном кафе имажинистов много говорили. Вот мы и решили как-то под вечер отправиться туда. Нам явно повезло: вскоре после нашего прихода стихи начал читать Есенин.

О Есенине, вокруг имени которого уже в те годы стали складываться самые разноречивые легенды, я слышала до этого. Попадались мне и отдельные его стихи. Но видела я Есенина впервые в этот памятный для меня вечер. Какие тогда стихи читал Есенин, мне трудно сейчас вспомнить. Да и не хочу я фантазировать. К чему это. Память моя навсегда сохраняет с той поры другое: предельную обнаженность души Есенина, незащищенность его сердца...

После «Стойла Пегаса» мне довелось еще несколько раз слышать выступления Есенина, читать в журналах его стихи, статьи о нем. Но личное мое знакомство с ним произошло позднее, в марте двадцать пятого года.

На квартире у Гали Бениславской, в Брюсовском переулке, где одно время жил Есенин и его сестра Катя, как-то вечером собрались писатели, друзья и товарищи Сергея и Гали. Был приглашен и Борис Пильняк, вместе с ним пришла и я. Меня познакомили с Есениным и его сестрой. Пильняку куда-то надо было попасть еще в этот вечер, и он ушел раньше. Я же осталась. Засиделись мы допоздна. Чувствовала я себя весь вечер как-то особенно радостно и легко. Мы вышли с ним вместе на улицу и долго бродили по заснеженной ночной Москве...

Эта мартовская встреча и решила мою судьбу. Вскоре Есенин уехал на Кавказ... Через несколько месяцев я вышла за него замуж, а в декабре Сергея Александровича не стало... Что я тогда пережила... Страшно подумать!..

Видно было: даже и теперь, через много лет, Софье Андреевне очень тяжело вспоминать те дни.

— Ведь и я, возможно по своей молодости, к сожалению, как и другие близкие и друзья Сергея, тоже, вероятно, тогда что-то недопоняла, недоглядела. Да, да! Это так. Нельзя было его одного отпускать в Ленинград, хотя он и настаивал на этом, решительно заявив, что поедет один. Не уберегли! С каждым годом я все мучительнее и мучительнее думаю об этом. Это ужасно!

Я молчал, взволнованный исповедальностью услышанного, понимал, что Софье Андреевне когда-то надо было сказать об этом.

Подумалось и о другом: сколько людей согревали свои сердца у чудесного поэтического есенинского костра! И как часто они были, к сожалению, невнимательны к Есенину-человеку. Я высказал эти мысли об одиночестве Есенина Софье Андреевне.

— Возможно... Возможно, это и так. Хотя все это непросто, и все это, Юрий Львович, страшно тяжело мне вспоминать,— тихо заметила она.— Но было и то,— голос ее неожиданно зазвучал по-другому,— ради чего стоило и жить, и волноваться, и... страдать. Те неповторимые мгновения, когда на моих глазах рождались новые произведения великого поэта России, и мне их посчастливилось слышать первой! «Хочу вам прочитать новую вещь»,— часто говорил он. Помню, как еще в начале нашего знакомства, приехав с Кавказа, он пришел ко мне с Иваном Приблудным, принес свои «Персидские мотивы» и читал их всю ночь. Я безумно люблю «Персидские мотивы» Сергея. Когда они вышли отдельным изданием, он мне их подарил с таким веселым, озорным, частушечным автографом:

Милая Соня
Не дружись с Есениным
Любись с Сережей
Ты его любишь
Он тебя тоже.

Весной двадцать пятого года,— продолжала Софья Андреевна,— Есенин в журнале «Красная новь» напечатал свою поэму «Анна Снегина». Радостный он пришел ко мне с номером журнала, еще пахнущим типографской краской. Раскрыл журнал и начал читать:

Село, значит, наше — Радово.
Дворов, почитай, два ста.

Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места...

И прочитал... всю поэму. Я сидела не шелохнувшись. Как он читал! А когда кончил, передавая журнал, сказал, улыбаясь: «Это тебе, за твое терпение и за то, что так хорошо слушала». Я открыла журнал. На странице, где поэма начиналась, вверху карандашом, рукой Есенина были написаны дорогие для меня слова: «Милой Соне. С. Есенин».

Слушать новые вещи Сергея было интересно еще и потому, что он почти всегда в них, как художник и мыслитель, открывался неожиданно, с какой-то совершенно новой стороны, даже для тех, кому казалось, что хорошо знают его поэзию. На самом же деле его поэтический горизонт был безграничен, как сама жизнь. Хорошо помню,— рассказывает Софья Андреевна,— как я была удивлена, когда впервые услышала от Сергея его стихотворение «Неуютная жидкая лунность...», особенно три заключительные строфы:

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.
Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.
И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

Да, подумала я тогда,— говорит Софья Андреевна,— как далеко и вместе с тем, казалось бы, совсем неожиданно для него заглядывает Сергей в стальное будущее России. Вот тебе и «последний поэт деревни»...

Пробыл я у Софьи Андреевны тогда почти весь день. Когда я собрался уходить и стал прощаться с ней, Софья Андреевна подарила мне фотографию, на которой была снята вместе с Есениным.

— Это вам на добрую память.

«Разрешаю Ю. Л. Прокушеву использовать по своему усмотрению в печати все материалы и фотоснимки, сделанные с моих материалов, касающихся жизни и творчества мужа моего— поэта С. А. Есенина. С. Толстая-Есенина»,— прочитал я, к своему немалому радостному удивлению, на обороте фотографии.

— Это на будущее. Чтобы вы спокойно могли работать с материалами моего архива.— Позднее я не раз с благодарностью вспоминал эту предусмотрительность Софьи Андреевны.— Меня,— продолжала она,— ныне все чаще тревожат с моим архивом. Желающих много. Но я каждый раз откладываю свое окончательное решение. Все, что касается памяти Есенина, слишком для меня свято. Да и знаю я, что архивный документ можно истолковать поразному. Все зависит от того, какие руки к нему прикоснутся.

Я молчал. Что я мог сказать? Зная Софью Андреевну не один год, я до этого ни разу даже не пытался заговорить о ее святая святых — есенинском архиве. Что меня удерживало от этого, казалось бы, естественного шага, я и сам не знаю. Но так было. И вдруг такой неожиданный, счастливый поворот событий.

— Надеюсь, что я не ошиблась,— сказала Софья Андреевна, посмотрев на меня долгим, проницательным, по-толстовски колючим взглядом.

— Надеюсь,— ответил я, еще раз поблагодарив за все Софью Андреевну...

Через несколько дней я вновь появился у Толстой.

— Посмотрите прежде всего эту папку,— сказала мне доверительно Софья Андреевна.

В старой, видавшей виды папке,— кто бы мог предположить!— находились автографы Есенина, бесценные рукописные странички его стихов и писем. Трудно было успокоиться от волнения. Ведь каждый новый автограф, каждая ранее неизвестная рукопись — это новая счастливая встреча как бы с самим поэтом. Как много «тайн» уже открыли мне есенинские автографы!

— Я очень хорошо понимаю вас,— видя мое состояние, заметила дружески Софья Андреевна.— Я ведь и сама до сих пор не могу спокойно прикасаться к рукописям Сергея. Я редко делаю это. Каких душевных, нравственных сил стоило Сергею каждое стихотворение, каждая строчка! Я отлично это знаю. Как крик души вырвалось однажды у Сергея: «Осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм...» Да, это была «каторга чувств». Вот видите эту страничку. Она лучше всяких слов расскажет вам об этом...

Это была испещренная многочисленной авторской правкой рукопись заключительных строф «Черного человека»;

...Месяц умер,
Синеет в окошке рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

С каким волнением держал я тогда впервые в своих руках этот черновой автограф, позволяющий «зримо» увидеть, как создавался окончательный вариант драматической поэмы Есенина:

«Черный человек!
Ты прескверный гость.

Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...

— Как это ни странно,— задумчиво произнесла Софья Андреевна,— но мне приходилось, к сожалению, слышать и даже у кого-то читать, что «Черный человек» писался чуть ли не в состоянии опьянения, в каком-то бреду. Какой это вздор, какая дремучая обывательщина! Взгляните еще раз на этот черновой автограф. Как жаль, что он не сохранился полностью. Ведь «Черному человеку» Сергей отдал так много сил. Написал несколько вариантов поэмы. Последний создавался здесь. В этой комнате. Да, да! Здесь, в ноябре двадцать пятого года. Два дня напряженной работы. Я хорошо помню. Сергей почти не спал. Закончил — сразу прочитал мне. Было страшно. Казалось, разорвется сердце. И как досадно, что критикой «Черный человек» не раскрыт, не понят,— продолжала Софья Андреевна.— А между тем я писала об этом в своих комментариях — замысел поэмы возник у Сергея в Америке. Его потряс цинизм, бесчеловечность увиденного, незащищенность Человека от черных сил зла. «Ты знаешь, Соня, это ужасно. Все эти биржевые дельцы, это не люди, это какие-то могильные черви. Это «черные человеки».

— Мысли эти,— заметил я Софье Андреевне,— ярко выражены Есениным и в «Стране негодяев». Помните монолог комиссара Расветова? Далеко сумел заглянуть Есенин в черное будущее Америки Рокфеллеров еще тогда, в двадцать третьем году:

...Места нет здесь мечтам и химерам,
Отшумела тех лет пора.
Все курьеры, курьеры, курьеры,
Маклера, маклера, маклера...
На цилиндры, шапо и кепи
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она — мировая биржа!
Вот они — подлецы всех стран.

Я думал о том огромном моральном, нравственном напряжении, о тех колоссальных эмоциональных перегрузках, которые всегда испытывает душа и сердце истинного художника. Как поразительно точны есенинские стихи:

Быть поэтом — это значит тоже,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Игорь Ляпин

ДОРОГА В КОНСТАНТИНОВО

Дождем ли затяжным омрачена,
Снегами ли засыпана до срока,—
Дорога в Константиново, она
Всегда для сердца — светлая дорога.

Ее поля, луга — как берега.
Через холмы, опушки и селенья
Она несет, как плавная река,
Надежды все и все твои сомненья.

Тебя несет. Со всем, что есть в тебе,
В душе твоей, что кровь твою не студит,
Со всем, что было, есть в твоей судьбе,
Со всем, что обязательно в ней будет.

Дорога в Константиново, на ней,
Как на духу, ты снова отвечаешь,
Что много в суете проходит дней
И меньше дней достойных отмечаешь.

Но так светлы рязанские места,—
Глаза слезит бескрайнее раздолье,
И думу навевает красота
О вечном небе и о хлебном поле.

О том, что путь твой жизненный — не весь,
Шумят вокруг березы да осины...
И просто невозможно думать здесь
Отдельно о себе и о России.

Николай Харджиев

НОВОЕ О ВЕЛИМИРЕ ХЛЕБНИКОВЕ

К 90-летию со дня рождения)

Ранний Хлебников

Прошло более пятидесяти лет со дня смерти поэта, а его биография до сих пор весьма слабо изучена.

Публикуемые воспоминания рассказывают о Хлебникове — гимназисте и студенте. Воспоминания эти были написаны в 1935 году, по моей просьбе, ранними друзьями поэта искусствоведом Б. П. Денике (специалистом по восточному искусству) и его родственником Д. Дамперовым (геологом, профессором Воронежского университета).

Сжатые и точные воспоминания литературных соратников и друзей поэта (В. Маяковского, В. Каменского, Е. Гуро, М. Матюшина, Н. Асеева, Д. Бурлюка и других) резко отличаются от мемуарной литературы о Хлебникове, особенно той, которая появилась в 60—70-х годах. Характерно, что мемуары «случайных знакомых» поэта (и просто мистификаторов) всегда многословны: отсутствие достоверных сведений компенсируется безвкуснейшей беллетризацией и однообразными анекдотическими подробностями. Историкам литературы хорошо известно, что большинство мемуаров, написанных несколько десятилетий «спустя»,— источник чрезвычайно сомнительный, подлежащий самой строгой критической проверке.

В воспоминаниях проф. Дамперова ценны сведения о круге научных интересов Хлебникова. Его увлечение кристаллографией имело, конечно, эстетические основания (подобно изучению японского языка).

Поэтическое «корнесловие» Хлебникова, славяно-азийский характер его творчества как-то заслонили в сознании читателя интерес поэта к западноевропейской литературе. Д. Дамперов называет имена тех французских поэтов-символистов, которых читал Хлебников. Эти сведения помогут выяснить и наименее изученные истоки поэтики Хлебникова. Привожу текст воспоминаний Д. Дамперова:

«Виктора Хлебникова я знал задолго до переименования его в Велимира. Помню его и гимназистом Казанской 3-й гимназии, молчаливым и застенчивым, в возрасте около 15 лет. Он был ровесником и одноклассником моего товарища и родственника Б. П. Денике. Оба были одним классом моложе меня. Они окончили гимназию в 1903 году.

В классических гимназиях конца XIX века естествоведение совершенно не преподавалось, а так называемое «природоведение» было введено в младших классах только в начале XX века. Хлебников общался с природой не только в дачный сезон, но в любое время года (он много бродил и ездил со своим отцом). Он увлекался орнитологией, особенно сезонными перелетами птиц, и записывал свои наблюдения и весьма оригинальные гипотезы. У наших профессоров-зоологов Виктор Хлебников, еще до поступления в университет, считался подающим большие надежды натуралистом. Таково было мнение профессоров А. Остроумова, М. Рузского и Э. Мейера. В то же время Хлебников слыл талантливым математиком. Студентом он увлекался и кристаллографией, этой, по его мнению, наиболее законченной из дисциплин естественного отделения физико-математического факультета. Помнится, что Хлебников интересовался и философией.

Было бы важно выяснить, посещал ли Хлебников один из замечательнейших в тогдашней Казани кружков, собиравшийся у известного математика, профессора А. В. Васильева. Сын профессора, поэт и философ Николай Васильев, в некоторых отношениях мог сходиться с Хлебниковым.

Ближе мне пришлось узнать Хлебникова в 1907 году, когда, вернувшись из Парижа, я с женой и сестрами проводил лето на Волге, в деревне Ташовке, километрах в 30 ниже Казани. Там же, в крайней (считая вниз по Волге — первой) избушке, на самом берегу поселился и Хлебников. Характерно, что и здесь он искал уединения и максимальной близости к природе. Наши отношения несколько усложнялись сильным увлечением Хлебникова одной из близких моих родственниц. Внешне это увлечение выражалось угрюмой молчаливостью в ее обществе и усиленным угощением шоколадом, подносились и стихи (кажется, была написана и целая поэма), а также рисунки, очень тонкие и расцвеченные.

Мне ярко запомнилась последняя наша встреча. В ночь на 29 февраля 1908 года бурно проявилась стихийность будущего Велимира. Его друзьям и мне с трудом удалось предотвратить яростное столкновение с мнимым соперником (и товарищем по гимназии), которого Хлебников грозил «застрелить как куропатку».

Бывая в нашей семье, Хлебников любил слушать рояль: Бетховен, романтики, Лист, Вагнер, оперы «могучей кучки».

Я снабжал Хлебникова журналами «Весы» и «Золотое руно» и книгами по истории искусства. Помнится, что он интересовался и привезенными мной из Парижа книгами Бодлера, Верлена, Гюисманса, Верхарна, Метерлинка, антологией новой французской поэзии и т. п.».

Упоминаемая в записи проф. Дамперова его родственница (В. И. Дамперова), которой Хлебников «подносил стихи», сообщила ряд сведений о поэте А. Г. Островскому. Записанный им краткий рассказ В. И. Дамперовой был напечатан, кроме куска, публикуемого здесь впервые, в качестве дополнения к воспоминаниям проф. Дамперова. Отличный гребец, Хлебников любил прогулки по Волге: «Физической опасности он совсем не боялся. Раз, катаясь по Волге, мы прицепились к барже, которая шла на буксире за пароходом. Но когда пароход повернул, мы увидели, что на нас идет встречный. Ялик притерло к барже. Он зацепился за якорь, прикрученный к боку баржи. Хлебников порывался прыгнуть в воду, «чтобы было легче», но его не пустили. Тогда он вскочил на якорь и, обрывая себе руки в кровь, с трудом отцепил ялик».

О встречах Хлебникова с Н. А. Васильевым (он был на пять лет старше поэта), к сожалению, не сохранилось никаких документальных сведений.

Н. А. Васильев (1880—1940) — талантливый логик, автор ряда работ: «О частных суждениях...» (Казань, 1910); «Воображаемая логика» (Казань, 1911); «Воображаемая (неаристотелева) логика» (1912) и др. Научное наследие Н. А. Васильева свидетельствует о его приоритете в разработке некоторых положений конструктивной логики.

В 1904 году в Казани был издан сборник его стихов «Тоска по вечности», тогда же отмеченный полусочувственной рецензией Аврелия (Валерия Брюсова) в журнале «Весы» (№ 6).

Интересные сведения о Хлебникове содержат в себе и воспоминания его гимназического товарища Б. П. Денике:

«Я познакомился с Хлебниковым в 1898 году в Казани, куда он приехал из Симбирска, чтобы поступить в 4-й класс III гимназии. Тихий, замкнутый, говоривший коротко и односложно, он произвел на товарищей впечатление малоспособного мальчика.

Через год преподаватель словесности сказал, что прочтет лучшее сочинение. Оно поразило нас оригинальностью языковых оборотов и очень свободным подходом к теме.

— Это написал Виктор Хлебников,— сказал преподаватель.

Хлебников во время чтения сидел с равнодушным видом, как будто это его не касалось.

Вскоре, однако, преподаватель словесности разочаровался. Он сказал, что у Хлебникова есть способности, но он их губит стремлением к необычайным выражениям.

Летом 1904 года студент Хлебников жил в селе на берегу Волги, один в избе. Бытовая его неприспособленность была поразительна. Помню, однажды я пришел к нему и мы решили сделать яичницу. Масла не оказалось.

— Это ничего,— сказал Хлебников. И, разостлав на сковороде бумагу, не без ловкости изжарил яичницу таким своеобразным способом. Мне эта яичница не понравилась.

Приходя к нему в избу, я часто заставал его за изучением японского языка.

— Я ищу в нем особых форм выразительности,— объяснил мне Хлебников...

В этот период Хлебников увлекался поэтами-символистами, внимательно следил за «Весами», знал наизусть многие стихи Сологуба.

Вероятно, с 1906 года мы долго не встречались. Через шесть лет, приехав в Москву, я пошел в Щукинскую галерею, которая тогда была открыта только по воскресеньям. Здесь я столкнулся с Хлебниковым, которого сопровождал высокий красивый юноша в бархатной толстовке. Это был девятнадцатилетний Владимир Маяковский.

Мы долго ходили по галерее, и Хлебников проводил аналогии между новой французской живописью и своими формальными исканиями в области поэтического языка.

Почти через десять лет, в самом начале 1922 года, я встретился с Хлебниковым у нашего общего знакомого Кириякова. Хлебников, недавно приехавший в Москву с юга, был бледен, изможден. Ходил в солдатской шинели, в персидской барашковой шапке, в тяжелых солдатских башмаках. Его громоздкий портфель был туго набит рукописями. Хлебников читал нам поэму математического характера».

К сожалению, мемуарист совершенно не касается своих взаимоотношений с Хлебниковым. Между тем Б. П. Денике, несомненно, интересовал поэта как историк восточного искусства, о котором они могли беседовать еще в «казанский» период.

О своих последних встречах с Б. П. Денике поэт упоминает в письме к Е. Н. Хлебниковой. «Поэма математического характера» — по всей вероятности, «Зангези» (см., например, «плоскость» XVIII).

Любопытно указание Б. П. Денике на интерес Хлебникова к художникам щукинского собрания. Это подтверждает нашу мысль о воздействии живописи на поэтическую систему Хлебникова и его литературных соратников.

II. Хлебников-орнитолог

Я, вскормленный лучшими зорями России,
Я, повитой лучшими свистами птиц...

Хлебников (1916)

Сын ученого-орнитолога, Велимир Хлебников был «большим знатоком царства птиц». Так охарактеризовал своего отца сам Хлебников. Превосходная коллекция птиц, собранная В. А. Хлебниковым при участии его сыновей Виктора (Велимира) и Александра, была им подарена Астраханскому краеведческому музею. Знаменательно, что заглавие самого раннего из сохранившихся стихотворений Хлебникова — «Птичка в клетке».

Привожу произведение одиннадцатилетнего поэта полностью:

О чем поешь ты, птичка, в клетке?
О том ли, как попалась в сетку?
Как гнездышко ты вила?
Как тебя с подружкой клетка разлучила?
Или о счастии твоем
В милом гнездышке своем?
Или как мушек ты ловила
И их деткам носила?
О свободе ли, лесах,
О высоких ли холмах,
О лугах ли зеленых,
О полях ли просторных?
Скучно бедняжке на жердочке сидеть
И из оконца на солнце глядеть.
В солнечные дни ты купаешься,
Песней чудной заливаешься,
Старое вспоминаешь,
Свое горе забываешь,
Семечки клюешь,
Жадно водичку пьешь.

Это стихотворение написано 6 апреля 1897 года.

Тем же годом датированы и самые ранние записи орнитологических наблюдений, произведенных гимназистом Виктором Хлебниковым в окрестностях Симбирска.

Сохранившиеся записные книжки Хлебникова-студента свидетельствуют о глубоком изучении царства птиц, зверей и растений. Привожу характерную запись, сделанную вскоре после того, как он покинул математическое отделение Казанского университета: «Поставить такой опыт: во время сильного постоянного ветра перед молодым деревцом поставить твердое тело, так, чтобы оно ударялось о него, колотилось бы. По окончании ветра не отклонится ли несколько дерево, не отодвинется от преграды? Повторить эти наблюдения несколько раз и над разными деревьями».

Еще одна запись, сделанная в том же 1904 году: «На период весеннего пролета попросить приборы триангуляции с целью записи скорости, высоты полета птиц (четыре наблюдения двумя лицами)».

Наблюдая за изменением богатой цветовыми оттенками окраски осенних цветов и листьев, восемнадцатилетний юноша мечтал об издании «ежемесячника химии в пространстве».

В начале мая 1905 года Хлебников, уже студент естественного отделения физико-математического факультета, вместе со своим младшим братом совершил путешествие на Урал, в Павдинский край. Эта поездка состоялась благодаря помощи Казанского общества естествоиспытателей: пребывание братьев Хлебниковых в Павдинском крае продолжалось свыше пяти месяцев.

Отчет о своей поездке В. Хлебников прочел 3 декабря 1906 года на заседании Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Незадолго до этого, по предложению проф. А. А. Остроумова, студент-натуралист был принят в члены-сотрудники Общества. Через пять лет Хлебников (в соавторстве с братом Александром) опубликовал «Орнитологические наблюдения на Павдинском заводе» в московском ежемесячнике «Природа и охота».

Орнитологические записи Хлебникова представляют особый интерес, так как они содержат в себе не только точнейшую регистрацию необходимых сведений, но и развернутые описания природы и необычайно меткие характеристики птиц. Звукоподражательная фиксация их голосов впоследствии была использована Хлебниковым в ряде произведений («птичий язык»). Поэтому орнитологические записи Хлебникова следует считать его первыми опытами в области художественной прозы.

В качестве примера привожу найденную мною запись Хлебникова — рассказ о совке:

«Я хочу описывать совку — Glancidium passerinum:

Совка эта прожила у нас недолго, но была общей любимицей. Поймана она была так: увидев клетку, совка подлетела к птичке и, уцепившись за стенки, принялась ее рассматривать; сидевший неподалеку птицелов подошел и тихо снял ее рукой. Совка — очень милое создание. Днем она вяла, сонлива; в таком

состоянии она ко всему относится с полнейшим равнодушием; ей все равно, что бы с ней ни делали; положишь ее на спинку — она так и лежит, прижав лапки к груди и добродушно моргая глазами; поставишь на голову — она переносит это неудобное положение с тою же стоической твердостью. Она даже позволяла себя катать по столу. Но стоило положить совку в клетку — ее сонливое вялое настроение мигом исчезало: она сама соскакивала с руки и забивалась в темный угол. Да и вообще в клетке она сразу становилась дичее; чем это объяснить — не знаю.

Раз мы нарочно открыли дверцы клетки; сычик, сидевший у входа, долго не шевелился; наконец в отверстии показалась его лукавая рожица и тотчас же исчезла. Мы все притихли; наконец совик высунулся и, еще раз оглянувшись, взлетел на стол. Здесь, вполне довольный собой, он начал отряхиваться и поправлять...»

К сожалению, здесь рукопись обрывается: заключительная часть утрачена.

Поездка в Павдинский край оставила глубокий след в памяти Хлебникова. Он многократно возвращался к этой теме. Зафиксированные им в отдельных беглых записях павдинские пейзажи и эпизоды похожи на предварительные наброски к рассказу или повести. Некоторые из этих набросков относятся уже к тому периоду, когда Хлебников возглавил группу молодых поэтов и прозаиков, издавших сборник «Садок судей». В одной из черновых записей поэт вспоминает о своей жизни «среди северных гор», где «старинные села времен Иоанна Грозного рассеяны в ущельях». Эти места Хлебников называет «дивом русским». Здесь он встретил всадника, похожего на Илью Муромца. За ним бежали два огромных желтых волкодава: «Это был лучший охотник за лосями Попов. По плечо борода, богатырское тело... Я с восхищением смотрел на него...»

Этому, уподобленному мифическому герою, павдинцу Хлебников впоследствии посвятил стихотворение «Змей поезда», о чем Попов вряд ли когда-нибудь узнал.

Привожу целиком вполне законченную запись о прощании с Павдинским краем: «Я уезжал; в ожидании парохода я бродил по пристани; вечно милые мазанки смотрели на меня с вышины, бродили куры; знакомый, вечно знакомый вид. Собака вышла мне настречу, и я чуть не поцеловал пса родного дорогого вместо родины».

Упоминание о Павдинском крае есть и в пейзажном куске «Зверинца», одного из известнейших произведений Хлебникова первого периода.

III. Посвящение русскому крестьянству

...природа, из которой искусство слова зиждет чертоги, есть душа народа.

Хлебников (1912)

Среди немногочисленных рукописей Хлебникова «долитературного периода» сохранилась записная книжка, датированная 1904 годом. Здесь мы находим интереснейшее «посвящение», ярко характеризующее народолюбие Хлебникова:

«Вот что заставляет меня приписать всю честь заслуги мне, так как если и есть какие-то намеки или слабые, вялые наброски, то я ни в коем случае не могу учесть их как величины бесконечно малые, коими должно пренебречь, находящиеся вне учета. Если же есть те, кем я должен приписать большую решающую долю участия в моем труде, то это те люди с незначительными, немного утомленными, но всегда хорошими честными лицами, сгорбившиеся от трудов и лишений, в тулупах желтых, все в мире, живущие в курных избах и всю свою жизнь проводящие за сохой. Их-то, русских крестьян в желтом тулупе, со спутанной шапкой волос на голове, я считаю главными своими соучастниками, исключительно кому я обязан своим трудом, так как они за меня пахали землю, сеяли, пекли хлеб, они же приносили его мне, а я же сидел и ничего этого не делал и только ел их, ими же испеченный хлеб, и ел досыта, и смотрел, как они приходили ко мне и робко отдавали свой хлеб и не делали попытки отнять его у меня и самим наесться досыта. Им же я посвящаю этот труд, как слабое доказательство тяготеющего надо мной долга и его огромности, невыполнимости».

Под этим текстом — краткая запись: «Посвящаю русскому крестьянству».

Рукопись «труда», посвященного крестьянству, не сохранилась.

IV. Автобиографическая повесть в стихах

В 1925 году А. Крученых издал брошюру под заглавием «Записная книжка Велимира Хлебникова». Заглавие это совершенно не соответствует содержанию брошюры, в которую включены разновременные стиховые и прозаические наброски, записи и заготовки Хлебникова, транскрибированные составителем весьма неточно. Написанные им комментарии также не свободны от ошибочных истолкований и малообоснованных предположений. Так, например, на странице 7-й помещен стиховой отрывок с предположительной пометой комментатора: «из «Детей выдры»?» Однако ознаком-

ение с тетрадью Хлебникова, где находится тот текст, не оставляет сомнения в том, что перед нами один из взаимосвязанных черновых набросков, построенных на фактах биографии поэта.

В той же тетради есть лаконичная запись, которая отчасти объясняет возникновение замысла автобиографической повести в стихах: «Заседания общества изучения моей жизни».

Наброски к повести, оставшиеся в черновом состоянии, датируются мною 1909 годом. К этому времени Хлебников уже осознал значение своей новаторской работы. «Самоутверждающая» прозаическая запись является своеобразным авторским эпиграфом к вступительным строкам повести:

Судьи, вы изумленно остановились: ктó я?
Покой смущен, не знает совесть.
Я предлагаю вашему вниманию повесть,
Чтоб, вольные карать или оправдать, вы
выбрали любое.

А. Крученых опубликовал только начальные восемь строк наброска, в котором Хлебников повествует о самом раннем периоде своего детства, о калмыцкой степи, о Малодербетевском улусе, где поэт родился. Когда семья Хлебниковых покинула улус «исповедующих Будду кочевников», будущему поэту исполнилось восемь лет.

В наброске, посвященном экзотическим впечатлениям детства, двадцать пять строк:

Меня окружали степь, цветы, ревучие
верблюды,
Круглообразные кибитки,
Моря овец, чьи лица однообразно-худы,
[Огнем крыла пестрящие простор удоды],
Пустыни неба гордые пожитки,
Так дни текли, за ними годы.
Отец, далеких гроза сайгаков,
Стяжал благодарность калмыкóв
Порой под охраной надежной казаков
Углублялся [в глушь степную] караван.
Разбои разнообразили пустыни мир,
И вороны кружили, чуя пир,
Когда бряцала медь оков.
Ручные вороны клевали
Из рук моих мясную пищу,
Их вольнолюбивее едва ли
Отроки, обреченные топорищу,
Досуг со мною коротая,
С звенящим криком: «сирота я»,
Летел лебедь, склоняя шею,
Я жил, природа, вместе с нею.
Пояс казаков с узорной резьбой
Мне говорил о серебре далеких рек,
Порой зарницей вспыхнувший разбой,—
Вот что наполняло мою душу, человек.

Впоследствии финальная строфа с незначительными изменениями была включена Хлебниковым в окончательную редакцию пьесы «Маркиза Дэзес» (1911) и в поэму «Любовь приходит страшным смерчем...» (1912).

V. Хлебников — рядовой запаса

8 апреля 1916 года Хлебников был призван на военную службу и отправлен из Астрахани в Царицын.

Поэт оказался в гнетущей аракчеевской атмосфере царской казармы, где его «заставляли держать голову выше» ударом кулака в подбородок. «В силу углубленности» Хлебников не мог «достаточно быстро и точно повиноваться». Находясь в «чесоточной команде», он писал, что «благодаря ругани однообразной и тяжелой» в нем «умирает чувство языка».

Из Царицына он был переведен сперва в Астраханскую земскую больницу («на испытание»), а затем — в Саратов, в 7-ю роту 90-го запасного пехотного полка.

Пребывание в «мрачной обстановке» саратовского лагеря (около кладбища) было настолько тягостным, что Хлебников предпочел быть отправленным на фронт. 17 февраля 1917 года он подал начальнику учебной команды следующую, впервые публикуемую, докладную записку:

«Имея желание отправиться в действующую армию, прошу Вашего ходатайства об отправлении в действующую армию с первой очередной маршевой ротой. Рядовой Виктор Хлебников».

На докладной записке находится торопливо, косым почерком (в состоянии крайнего раздражения) написанная резолюция начальника учебной команды: «Чтобы быть командированным в действующую армию, необходимо иметь хотя бы мало-мальски воинский вид. До обучения и приведения в надлежащий вид о такой чести и думать нельзя».

Участь поэта изменилась благодаря тому историческому событию, которое он предвидел. Вскоре после свержения самодержавия, во второй половине апреля 1917 года, Хлебников приехал в Харьков, где жил его друг и издатель его произведений Г. Петников.

Но в Харькове Хлебников снова получил мобилизационную повестку. О его харьковских злоключениях мне подробно написал Г. Петников (20 августа 1963 года): «Велимиру надо было призываться при керенщине, когда он приехал ко мне в Харьков... Я был знаком по митингам и сборищам литературным... со штабс-капитаном В. Ладновым; он был... военным комиссаром... Но что делать: Хлебников здоров, отличное зрение, силен,

прекрасный пешеход, пловец... Мы решили, что единственно возможное — это пройти спецкомиссию по этому темному разделу медицины: нервно-психических отклонений... Он подробнейше мне потом рассказывал, что́ говорили с ним психиатры... Все удалось наилучшим образом: будетлянские стихи, куда там, не норма... Он был освобожден на какой-то срок...»

После «проверки» на «Сабуровой даче», где его заставляли писать стихи и рисовать, поэт получил пятимесячный отпуск. Так кончился период солдатчины Хлебникова.

Во время десятидневной «проверки» Хлебникова Петников успел издать небольшой сборник его последних произведений — «Временник» II. Почти весь сборник заполнен известным антимилитаристским манифестом, написанным 19 апреля 1917 года («Только мы, свернув ваши три года войны в один завиток грозной трубы...»). Под текстом помещены три фамилии (отсутствовавшего В. Каменского, Г. Петникова и Хлебникова), но автором манифеста был один Хлебников.

VI. Хлебников — сотрудник Бакроста

В конце октября 1920 года Хлебников приехал в Баку, где сразу же был приглашен к сотрудничеству в стенной газете Бакроста «Кавказская коммуна». Вскоре он стал сотрудником и культотдела Волго-Каспийского флота.

Уже 29 октября 1920 года в бакинской газете «Коммунист» было напечатано агитационное стихотворение Хлебникова «От зари и до до ночи вяжет Врангель онучи». Неполный текст этого стихотворения опубликован в журнале «Новый Леф» (1928, № 2). Другая редакция вошла в том V СП (текст не вполне точный). Газетный текст озаглавлен «В берлоге у барона» и подписан фельетонным сатирическим псевдонимом «Каракурт»:

От зари и до́ ночи
Вяжет Врангель онучи;
Собирается в поход
Защищать царев доход.
Чтоб, как ранее, жирели
Купцов шеи без труда,
А купчих без ожерелий
Не видали б никогда!
Чтоб жилося им как прежде,
Так что ни в одном глазу!
А господь, высок в надежде,
Осушал бы им слезу!
Небоскребы, что грибы,
Вырастали на Пречистенке,
И рабочие гробы
Хоронил священник чистенький!
Чтоб от жен и до наложницы
Всех купцов носил рысак,
Сам Господь, напялив ножницы,
Прибыль стриг бумаг.
Есть волшебная овца,
Каждый год дает руно!
«Без участия Творца
Быть купцом не суждено!»
Речь доносится баронья:
«Я спаситель тех, кто барин!»
Только каркает воронья
Стая: «будешь ты зажарен!
Тратьте рати, рать за ратью,
Как морской песок,
Сбросят в море вашу братью,
Совет-стяг везде высок».

Обратившись к новому для него агитационному жанру, Хлебников заимствовал ряд приемов у Маяковского, у которого система агитационного стиха была уже разработана.

Первая строка стихотворения «В берлоге у барона» варьирует первую строку известной в дореволюционной России студенческой песни «От зари до зари...». Эта же песня послужила пародической основой одного из стихотворений «ростинского» цикла Маяковского («Октябрьские романсы в лицах», 1919).

Вторая и пятая строфы «ростинского» стихотворения Хлебникова в переработанном виде вошли в его поэму «Горячее поле» (1921).

Вскоре после разгрома Врангеля в бакинской газете «Военмор» (4 декабря 1920 года) была помещена статья Хлебникова «В мире цифр». В этой статье Хлебников с едким сарказмом писал о «белых правительствах», которые «возникали и тонули», «точно игрушечные кораблики, спускаемые на волны».

17 декабря 1920 года Хлебников прочел в бакинском «матросском» университете «Красная звезда» доклад «Опыт построения чистых законов времени в природе и обществе». Сопоставляя события революционных лет, Хлебников упомянул и о «наследнике Колчака» — Врангеле, которым «дело Колчака было навсегда проиграно».

Плакаты Бакроста со стихами Хлебникова вряд ли сохранились. По всей вероятности, он писал стиховые тексты к плакатам художника М. Доброковского.

Малодостоверные и чрезвычайно развязные воспоминания о Хлебникове «бакинского периода» принадлежат Т. Вечорке и О. Спектор. Вот враждебно-обывательский шарж, написанный первой «мемуаристкой» (1925): «Хлебников был важен... Посовав всем не то два, не то три пальца, он осмотрел стены и все на них навешанное, а перед большим зеркалом остановился и долго себя разглядывал». По словам

второй мемуаристки, поэт «днем толкался по отделу», «пожирал должные порции пшена» в столовой и «не сходился» со своими товарищами по службе (имеются в виду сотрудники мужского пола). Первая и вторая цитаты характеризуют мемуарную манеру «автора», третью цитату нетрудно опровергнуть документальными материалами.

Известна дружба поэта с молодыми сотрудниками Бакроста М. Доброковским и Б. Самородовым.

Сохранилась запись Хлебникова о том, что 15 февраля 1921 года «Самородов дал обмотки и ботинки». Подарок Самородова, прославившегося своими подвигами в Каспийском море, представлял своеобразный «исторический» интерес. Об унаследованных им сапогах Самородова Хлебников с гордостью вспоминает в стихотворении «Ночь в Персии»:

...В них Самородов в красные дни
На море поднял восстание
И белых суда увел в Красноводск,
В Красные воды.

В Баку Хлебников жил в общежитии Морского политпросвета. В одной из своих записей того периода поэт говорит о братских взаимоотношениях с моряками Каспийской флотилии: «Моряки! Вы делили со мной кашу, а я хочу поделиться с вами мыслями».

VII. А. В. Луначарский о Хлебникове

В конце июня 1922 года, когда художник П. Митурич перевез умирающего поэта из больницы (в городе Крестцы) обратно, в деревню Санталово, было впервые издано одно из крупнейших произведений Хлебникова — «Зангези». Однако у «издателя» (П. К. Исакова) этой напечатанной «в долг» книги не оказалось средств, чтобы ее выкупить. Поэтому администрация типографии решила продать весь тираж (2000 экз.) на «завертку». Уже после смерти поэта П. Митурич (жительствовавший в Санталове) поручил своим московским друзьям найти средства для приобретения всего тиража, а затем способствовать распространению книги. Наибольшую активность в этом нелегком деле проявила ученица К. Малевича, Н. О. Коган, обратившаяся за помощью к А. В. Луначарскому. Анатолий Васильевич весьма сочувственно отнесся к судьбе книги Хлебникова и дал Н. О. Коган письмо, адресованное Народному комиссариату просвещения. Это письмо впервые здесь публикуется (по копии, сделанной Н. О. Коган в 1922 году):

«Велимир Хлебников, недавно умерший, человек, которого многие считают большим чудаком, но который несомненно имел в себе нечто гениальное, что признавал целый ряд русских поэтов и целый ряд русских филологов, оставил после себя напечатанную уже в типографии ОГЭС книгу «Зангези». Я не успел подробно познакомиться с книгою и лишь просмотрел ее: при всех ее странностях для малопосвященного человека, книга представляет несомненную культурную ценность. Между тем, ввиду того, что типографии не заплачено за нее, предлагают сдать ее в макуляцию. Это безусловное варварство, которого нельзя допустить. Спасти книгу можно путем покупки некоторого количества экземпляров для нашего отдела снабжения или торгового отдела Госиздата. Мне кажется достаточно закупить 1 1/2 тысячи экземпляров. На книге стоит цена 60 копеек золотом по курсу Госбанка. Обычной уступкой книгопродавцам это будет не более 40 копеек, и вся операция обойдется в 600 рублей. Если отдел снабжения не может сделать этого, перешлите это письмо Отто Юльевичу ⟨Шмидту⟩. Повторяю, допустить уничтожение книжки нельзя. Нарком по просвещению А. Луначарский».

По этому поводу А. В. Луначарский, вероятно, беседовал с членом коллегии Наркомпроса О. Ю. Шмидтом, который в то время возглавлял Государственное издательство. Во второй половине августа 1922 года казус с «Зангези» завершился покупкой всего тиража Госиздатом.

Есть основание предполагать, что личное знакомство А. В. Луначарского с Хлебниковым состоялось весной 1919 года, когда поэт принимал участие в заседаниях Международного бюро при Московском отделе изобразительных искусств (Международное бюро возглавлял А. В. Луначарский).

Более точны сведения о последней встрече А. В. Луначарского с Хлебниковым, состоявшейся 1 мая 1922 года. Это дата и последней встречи Хлебникова с Маяковским. На следующий день Маяковский уехал в Ригу. Его возвращение в Москву совпало с отъездом Хлебникова в Санталово.

1 мая 1922 года А. В. Луначарский посетил Маяковского. Присутствовали Хлебников, В. Каменский, Б. Пастернак, Н. Асеев, А. Крученых, Б. Кушнер, О. Брик и другие. Об этой встрече (до настоящего времени остававшейся неизвестной биографам Маяковского и Хлебникова) подробно написал своим дальневосточным друзьям Н. Асеев [1]. Критические высказывания А. В. Луначарского о последних произведениях Маяковского и его литературных со-

[1] Вести из Москвы (из письма Н. Н. Асеева). «Дальневосточный телеграф», Чита, 1922, 25 мая.

ратников вызвали небольшую, но шумную дискуссию. Однако в конце спора Луначарский признал, что «в этой комнате собрано все наиболее яркое и певучее нашего поколения».

В том же письме (от 2 мая 1922 года), посланном в Читу, Н. Асеев сообщает, что «Хлебников написал уйму нового». Как известно, годы 1919—1922 были наиболее плодотворным периодом творчества Хлебникова. Создав ряд монументальных революционных поэм, Хлебников достиг высшей точки своей поэтической зрелости

Сохранились сведения о том, что на первомайском вечере у Маяковского А. В. Луначарский изъявил желание способствовать изданию неопубликованных произведений Хлебникова и даже быть редактором его сборника.

Через три года, в предисловии к первому сборнику стихов московского «Цеха поэтов» («Стык»), А. В. Луначарский упомянул и «совершенно своеобразного Хлебникова».

НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ХЛЕБНИКОВА[1]

I

Когда над полем зеленеет
Стеклянный вечер, след зари,
И небо, бледное вдали,
Вблизи задумчиво синеет,
Когда широкая зола
Угасшего кострища
Над входом в звездное кладбище
Огня ворота возвела,
Тогда на белую свечу,
Мчась по текучему лучу,
Летит без воли мотылек.
Он грудью пламени коснется,
В волне огнистой окунется,
Гляди, гляди, и мертвый лег.

1912

II

Снежно-могучая краса
С красивым сном широких глаз,
Твоя полночная коса
Предстала мне в безумный час.
Как обольстителен и черен
Сплетенный радостью венок,
Его оставил, верно, ворон,
В полете долгом одинок.
И стана белый этот снег
Не для того ли строго пышен,
Чтоб человеку человек
Был звук миров, был песнью слышен.

1912

Оба стихотворения входят в черновой текст «симфонической» поэмы Хлебникова, написанной в 1912 году («Любовь приходит страшным смерчем...»). В беловом тексте эти стихотворения, имеющие самостоятельную художественную ценность, отсутствуют.

[1] Публикация Н. И. Харджиева.

III

И снова глаза щегольнули
Жемчугом крупным своим
И просто и строго взглянули
На то, что мы часто таим.
Прекрасные жемчужные глаза,
Звенит в них утром войска «вашество».
За серебром бывают образа,
И им не веровать — неряшество.
Упорных глаз сверкающая резь
И серебристая воздушь.
В глазах: «Певец, иди и грезь!»
Кроме меня понять кому ж?
И вы, очаревна, внимая,
Блеснете глазами из льда.
Взошли вы, как солнце в погоду Мамая,
Над степью старою слов «никогда».
Пожар толпы погасит выход
Ваш. Там буду я, вам верен, близь,
Петь восхитительную прихоть
Одеть холодных камней низь.
Ужель, проходя по дорожке из мауни,
Вы спросите тоже: «Куда они?»

1915

Обращено к В. А. Будберг, с которой Хлебников встречался в сентябре — октябре 1915 года в Петрограде. Стихотворение представляет собой третью редакцию текста, выделенного из более крупного произведения, оставшегося недоработанным: см. «Неизданные произведения В. Хлебникова». М., 1940, стр. 270, 449—451. Там же помещена первоначальная редакция публикуемого здесь текста. Сохранился также автограф второй промежуточной редакции этого стихотворения.

12 сентября 1915 года, в день знакомства с В. А. Будберг, Хлебников сделал следующую запись: «Вера Александровна удивила меня красотою холодных сдержанных движений и прекрасной породой голубых серых глаз» (СП, т. V, стр. 330). См. образные параллели к стихотворению и в другой дневниковой записи Хлебникова: «Я смотрел на эти воздушные волосы севера — облако прически над лицом, большие голубые глаза,

похожие на голубой жемчуг, и его строгая нить около плеч, и слушал» (СП, т. IV, стр. 322). К В. А. Будберг обращено еще одно стихотворение Хлебникова — «Вечер, он черный, он призрак, он иноче...» (1915), окончательная редакция которого напечатана в искаженном виде («Признание»).

IV

Где зверь напишет кровью:
Эй! Я юноши тело ем!
Там скажет мать: дала сынов я!..
Мы, старцы, рассудим, что делаем.
Правда, что юноши стали дешевле,
Дешевле и снега, бочки воды и телеги углей?
О гнилоокая, косящая стебли,
Сильных рук взмахом играя, наглей!
Старый игрок! Не прогнал тебя некто —
Давно пора — с земного шара!
Хрипло дыша и навек-то
Шагнет за тобой твоя пара.
Хриплая смерть! Твои — Цеппелины!
Ты дышишь гаванной, но вовсе не куря́тся!
В колбочку смерть! И полоний
Откроемте в ней, как Кюри.
Есть овощ золотой на жезле.
Его бери, Башкирцева, и правь!
Ужели надо, чтоб юноши исчезли,
И ими стала мертва явь?
Падают брянские, растут у Манташева,
Юноши падают, нет уже нашего
Черноглазого короля беседы за ужином.
Он дорог, поймите, он нужен нам.
Кто книжечку издал «Последние песни оленя»
Продетый кольцом за колени,
Рядом с серебряной шкуркою зайца,
Висит там, где сметана, мясо и яйца.
Мертвые юноши! Мертвые юноши!
По площади плещется стон городов!
Как будто разносчик со связкой дроздов.
Дешевые юноши! Дешевые юноши!

1915

Первоначальная беловая редакция стихотворения «Где волк воскликнул кровью...», помещенного Маяковским в сборнике «Взял» (1915). Написано в октябре — ноябре 1915 года. В 1919 году Хлебников включил это стихотворение в поэму «Война в мышеловке».

Первоначальный беловой текст заканчивался двумя строфами, отброшенными автором. Часть заключительной строфы залита чернилами и приводится здесь в предположительном чтении:

Дешевые юноши, юноши дешевые, их
перепроизводство,
Юноши дешевле, чем перепела.
Есть с рыбным кладбищем немое сходство
И дней изломанных пила.
Детей земли разорв⟨анный⟩ товар
Ужель не соглаш⟨ает⟩ женственная Ганза?
Но род людей по-прежнему шимпанзе
И налит клюквой самовар.

Его бери, Башкирцева...— В 1915 году Хлебников проявлял большой интерес к дневнику Марии Башкирцевой, находя в нем «лучшие примеры колебательного волнения души». См. также в письме к М. В. Матюшину: «Изучаю еще «Дневник Марии Башкирцевой». Он дает ключи к пониманию снов» (Хлебников. Время мера мира. П., 1916, стр. 7; «Неизданные произведения В. Хлебникова». М., 1940, стр. 379).

Падают брянские, растут у Манташева...— Имеются в виду акции Акционерного общества брянских машиностроительных заводов; И. Манташев — владелец бакинских нефтяных промыслов.

V

Еще сильней горл медных шум мер,
Его не каждому учесть,
И женщины, спеша на тех, кто умер,
Суворовой женщин делают честь.
Я вижу войско матерей,
Грудными выстрелы младенцами,
Чума серчала матерей,
Монблан спеша набросить ве́нцами.
И некто Ш-ий воскликнет «на нож!».
В ухо и тем и этим пехотам,
И тучи утробных младенческих нош
Помчатся на битву, не думая, кто там.
Последний любовник прикажет вам «пли!»
И бич глаз ударит по верным рядам,
И каждая девушка молвит: «Мы девушки
ползали раньше, как тли,
Теперь же я мать и хлыстом материнства
в лицо смерти я дам!»
И вещей жены рукомойник над тазом,
И конницы с Волог, Висел и Кам,
И пушек Мусоргский над тайным приказом,
Все слилось и мчалось к единым войскам.
О повивальные бабки и ⟨мамки⟩
И мостовая из мертвых «но-но»!
⟨Кишки⟩ из полков и ⟨кашка⟩ из ⟨камки⟩,
Он и она в зазвеневшем оно!
И жен степных из камня баб грусть,
Что глыбой выросли стыдливо,
Уж украшает знак за храбрость,
Желтея тигром, рожью жнива.
Я помню, как кто-то в котле броненосца дыру
Починил своим телом, без разговора и споро.
Жены, в руки детей! И на уру!
На окопы смерти, на окопы мора!
Младенцы, туда же, в стан смерти!
Ведь броневые защиты порвут темноглазые
дети в яслях скота!
Пусть крутится слабо на прежних вер Т
Дохнувшая воздухом гибели та!
И каждая бросится вещая хохотом,
Вскочив на смерти жеребца,
Вся в черном, услышав «На помощь!
Мне плохо там!»

Сына или отца.
И люди спешно свои души моют в прачешной,
И, точно забор, перекрашивают спешно
совести лики,
Чтобы ноздрей сумасшествия некто
прекрасновеликий,
Некто над ухом завыл: «Теперь ты ничего
не значишь, эй!»
И самые умные, нацепив воротнички,
Не знали, что дальше делать с ними?
Встав на четвереньки, повесить на сучки
Или прочитать на них обещанное имя?

1915

Стихотворение написано в ноябре 1915 года и примыкает к циклу антивоенных стихов Хлебникова, объединенных в поэму «Война в мышеловке». Автограф утрачен, но в архиве С. П. Боброва сохранилась рукописная копия, сделанная в 1915 году (список любезно предоставлен М. П. Бобровой). С. Бобров и И. Аксенов предполагали опубликовать это стихотворение в третьем сборнике «Центрифуга», издание которого не осуществилось. Список снабжен заглавием «Монолог», но, по всей вероятности, это слово — отдельная запись на утраченном автографе.

Между 44-й и 45-й строками была еще одна строка («В трубу!»), отброшенная автором, так же как и рифмующаяся с ней и столь же короткая последняя строка («Судьбу?»). В списке эти строки зачеркнуты. Строки 21 и 23 были неправильно прочтены переписчиком и совершенно обессмыслены. На основании текстологического анализа мною восстановлено связное и, надеюсь, безошибочное чтение.

Сохранилась более поздняя редакция части этого стихотворения, относящаяся, вероятно, к началу 1916 года, но переработка осталась незавершенной (см. «Неизданные произведения В. Хлебникова». М., 1940, стр. 164). 26—27 октября 1917 года. Хлебников снова переработал текст, подвергнув его сильному сокращению (сохранился в неточном списке Д. Петровского). Наконец в 1919 году строки 41—48 в измененной редакции были включены в поэму «Война в мышеловке».

И мостовая из мертвых «но-но!» — т. е. из мертвых лошадей («но-но!» — понукающий окрик кучеров).

...кто-то в котле броненосца дыру//Починил своим телом...— Этот образ варьирован Хлебниковым в стихотворении «Союзу молодежи» (1921). У Хлебникова неточность: вероятно, имеется в виду подвиг двух матросов миноносца «Стерегущий» (1904). Когда японцы попытались взять уже неуправляемый миноносец на буксир, матросы открыли кингстоны, и «Стерегущий» затонул. Памятник матросам «Стерегущего» — в Ленинграде. Гибель «Стерегущего» упоминается в книге Хлебникова «Новое учение о войне», изданной в конце 1914 года (стр. 13).

VI

Огневоду

Слово пою я о том,
Как огневод, пота струями покрытый,
в пастушеской шкуре
из пепла, дыма и копоти
Темный и смуглый,
Белым поленом кормил тебя,
Дровоядного зверя огня.
Он, желтозарный, то прятался смертью
За забор темноты, то ложился кольцом, как
собака,
В листве черного дерева мрака.
И тогда его глаз нам поведал про оперение
синего зимородка.
И черными перьями падала черная ветвь
темноты.
После дико бросался и грыз, гривой сверкнув
золотой,
Груду полен среброрунных,
То глухо выл, пасть к небу подняв,—
от холода пламенный голод, жалуясь
звездам.
Через решетку окна звезды смотрели.
И тебя, о огонь, рабочий кормил
Тушами белых берез испуганной рощи,
Что колыхали главами, про ночь шелестя,
И что ему все мало бы, а их ведь не так уже
много.
О приходе людей были их жалобы. Даже
На вывеску «Гробов продажа» (крик улиц
темноты)
Падала тихая сажа.

1917

Печатается по беловому автографу, подвергнутому дальнейшей переработке, которая не была завершена. Поэтому текст дан в первоначальной беловой редакции. На автографе дата: «23 октября 1917». На оборотной стороне листа находится шестистрочный стиховой набросок:

На лодке плыли боги,
И подымалась мимо рука,
В зеркальные окутана чертоги,
Над долом теневого выморока.
А сейчас все временное правительство
Отправлено в острог на жительство.

Заключительные строки наброска в полной мере выражают отношение Хлебникова к Керенскому и его правительству.

Шестистишие является непосредственным откликом на великое историческое событие. Автограф датирован *первым днем Октября*!

VII

1905 год

Пули, летя невпопад,
В колокола били набат.
Царь! Выстрел вышли:
Мы вышли!
А, Волга, не сдавай,
Дон, помогай!
Кама, Кама! Где твои орлы?

Днепр, где твои чубы?
Это широкие кости,
Дворцов самочинные гости,
Это ржаная рать
Шла умирать!
С бледными, злыми, зелеными лицами,
Прежде добры и кротки,
Глухо прорвали плотину
И хлынули
Туда, где полки
Шашки железные наголо вынули
Улиц, царями жилых, самозванные гости,
Улиц спокойных долгие годы!
Это народ выпрямляется в росте
Со знаменем алым свободы!
Брать плату оков с кого?
И не обеднею Чайковского,
Такой медовою, что тают души,
А страшною, чугунною обедней
Ответил выстрел первый и последний,
Чтоб на снегу валялись туши.
Дворец с безумными глазами,
Дворец свинцовыми устами
Похож на мертвеца,
Похож на Грозного отца,
Народ «любимый» целовал...
Тот хлынул прочь, за валом вал...
Над Костромой, Рязанью, Тулой,
Ширококостной и сутулой,
Шарахал веник пуль дворца.
Бежали, пальцами закрывши лица,
И через них струилась кровь.
Шумела в колокол столица,
Но то, что было, будет вновь.
Чугунных певчих без имен,
Придворных пушек рты открыты:
Это отец подымал свой ремень
На тех, кто не сыты!
И, отступление заметив,
Чугунным певчим Шереметев
Махнул рукой, сказав: «Довольно
Свинца крамольникам подпольным!»
С челюстью бледной, дрожащей, угрюмой,
С остановившейся думой
Шагают по камням знакомым:
«Первый блин комом!»

1921

Печатается по вырезке из стенной газеты ТерРОСТА «Кавказская коммуна», издававшейся в 1921 году в Пятигорске. Вырезка была найдена среди бумаг Хлебникова. Сотрудничество поэта в ТерРОСТА относится к сентябрю — ноябрю 1921 года. 16 октября стихотворение Хлебникова, написанное в связи с Неделей помощи Поволжью («Трубите, кричите, несите!»), было напечатано в однодневной газете «Терек—Поволжью».

В начале 1922 года Хлебников внес в текст стихотворения «1905 год» незначительные изменения и отбросил заглавие (вторая редакция напечатана в книге «Неизданные произведения В. Хлебникова». М., 1940, стр. 188, 417).

Похож на Грозного отца...— этот образ навеян картиной И. Е. Репина «Иван Грозный и его сын» (Третьяковская галерея).

Шереметев А. Д. (граф) — дирижер и композитор, в 1905 году был начальником придворно-певческой капеллы.

К стихотворению «1905 год» тематически примыкает беловой автограф Хлебникова, датируемый тем же 1921 годом:

Победа? Свобода? Обида оттуда
С крыши дворцовой,
С высоких дворцов,
Где ветер свинцовый бил беглецов.
Мы гологруды, мы босяки,
Царь православный, бей и секи!

Михаил Зенкевич
1886—1973

* * *

Большая мысль ночная
В рассветный час в тиши
Мелькнула, пролетая
Над озером души.

Секунда помраченья
Прошла волной тревог,
Но я ее значенья
Сквозь сон понять не мог.

Слезинкой серебрится
Одна звезда во мгле,
А мысль, ночная птица,
Скрывается в дупле.

Вот солнце в ярком зное
Торжественно взошло.
Исчезло все ночное,
И на душе светло.

Но чувствую в смятеньи:
Нет, нет да промелькнет,
Врезаясь в полдень тенью,
Ее ночной полет.

26 января 1955 г.

* * *

Дни, как страницы, листая,
Ты пропустил этот год,
Словно главу не читая,
Зная все в ней наперед,
Серой и скучной считая.

Может, пойдет не в зачет,
В жизнь твою дни не вплетая,
Этот пропущенный год.

1959

* * *

От попорченной в нерве настройки,
Как в приемнике, все невпопад.
Целый день звон в ушах, словно тройки
С колокольцами мимо летят...

Или кто-нибудь неосторожно
Кнопку двери наружной нажал,
И звонок непрерывно, тревожно
Из прихожей вдруг задребезжал...

Иль с церквушки старинной, снесенной,
Цветником замененной давно,
Звон пасхальный, звук неугомонный
Льется с ветром апрельским в окно...

Звоном жаворонков и простором
Высь весеннее небо манит...
Отгадайте скорее, в котором
Это ухе так звонко звенит.

1 сентября 1953 г.

Публикация А. Н. Зенкевич

Александр Яшин
1913—1968

СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКОВ

В ГОСПИТАЛЕ

От видений глаз не отвести —
Обдают меня горячим светом...
Ты должна сейчас ко мне войти,
Задержаться не могла в пути,
Чувствую тебя:
Ты близко где-то.

Разве поезд может опоздать,
Если ты торопишься?!
Не может.
Как меня ты будешь называть —
«Чудищем»? «медведем» ли опять?
Целый год с тобой в разлуке прожит.

Видишь, раны зажили мои,
Как у витязя из русских сказок.
Поднимусь — опять пойду в бои.
Дай мне руки теплые твои,
Не пугайся белизны повязок.

1943

ЛЕС

В зеленом кипеньи и в пене,
Как море,
Что бьет о гранит,
Он весь — предрассветное пенье,
Он небо с землею роднит.

Чуть воздух,
Чуть ветер неровен,
И в хвойном —
Под хохот и свист —
Бушует безумный Бетховен,
А в лиственном —
Шуман и Лист.

Рожденные светлой стихией,
Вернувшись к началам своим,
Опять оживают глухие,
И — зренье приходит к слепым.

Побудь в этой зелени лето,
Ступи на лосиный наслед—
И станешь, прозаик, поэтом,
Из мертвых воскреснешь, поэт.

1940

* * *

Я выдержу, выдержу.
Я обещаю.
Из сердца все выдерну,
Чтоб жить, не общаясь.
Но не забуду ли
Своих обещаний?
А после не буду ли
Просить о пощаде?

1960-е годы

* * *

Шелестит, шелестит листва
Надо мной,
Над моей головой.
Точно так — людская молва:
Все о нас,
Обо мне с тобой.

Я один теперь.
Синева,
Да цветы вокруг, да трава...
Разговариваю с тобой —
Сам с собой,
Сам с собой...

Неужель тебя нет?
Неужель
Ничего никогда не узнать?
Подтянуться б,
На цыпочки встать —
Где ты там?..
А листва — как метель.

Ты-то видишь меня или нет?..
Только липы шумят в ответ.

1967

* * *

Это молодость или старость? —
Не стихает жажда любить.
Потому ль, что мало осталось
Мне на этом свете пожить?

1968

Публикация З. К. Яшиной

Ксения Некрасова
1912—1958

* * *

Люблю тебя, моя Россия,
ты уважала пчел и мир,
мечи лишь в крайности точила,
когда незваный чужестранец
ломал подсолнухи твои.

В ЛЕСНОЙ СТОРОЖКЕ

Там, где кончается небо и начинается край земли, изба из необхватных лиственниц подпирает склоненную синь.

Выглаженные ливнями до стекла, битые грозами дочерна, блестели сущие зеркала, голубым отсвечивая на углах и зеленые после дождя. И вот тут-то между концом и началом—уважаемый земно — проживал мой хозяин с лицом богописным. Был он в возрасте древнем — лесник, и действительно ситцевый красный рукав до локтя, обнажая плоскобокую поручень ладоней, и кулак как тесак золотился в веснушчатой коже. Ученым печка русская медведем на задних лапах села у стола, Анисья Павловна

у печки: есть ситцевый характер, а шелковый слывет добром; а бархатный — такой встречаешь редко, а у Анисьи старой нрав был холстяной. Вещам, деньгам старуха знала цену, недаром руки треснули в работе, как булки в перетопленной печи. Под желтым лбом из-под платка чуть опустились полукружьем седые веки на глаза. Вот Анисья открыла печку и из печки достала лист, пироги аржаные в нем испеклись. Жила капуста в пирогах, изрубленная мелко. И с конопляным маслом лук капусте дал обширный вкус. И от жары в печи возник в росных туманах огород, на грядах запахи растений, качанье луковых голов. А место родом от земли — его железная руда с наземом пашен зачала и вечным небом напоила.

1952

ДОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Нет к нему
Ни дорог, ни шоссе,
Но ты отдал себя стихам —
и иди.
Будут душу
Дожди мочить,
Станут душу
Молнии бить,
Нет в пути
Ни машин, ни крыш.
Вот и дом
Посреди Москвы:
Печатают валенки
Следьями пол,
И овчинный на мне
кожух —
Груб, неуклюж.
И мне стыдно следьев моих
На зеркальном полу,
И швейцаров стыдно до слез,
Но множество мною
Пройдено зал:
Я, и это отринув,
Иду,
И опять —
Преградою на пути!
Не рукам,
Не ногам,
А мыслям моим
и понятьям моим —
Над последней ступенью в зал
Мрамор стоит без одежд
В откровении белых линий,—
Творец ее
Похитил у природы
Изгибы вольные стеблей
И колыхание ветвей,
Непринужденные наклоны
Отягощенного цветка
На хрупкость тонкого плеча.
...И зеркало отразило
молодого поэта
и впервые идущего в Дом
писателя.
Это ничего
что лицо у поэта как степь...
Веруешь, что слова твои
высушат наговоры зла
и добро принесут стихи,
что поэмы людям, как хлеб
в голодающий день, нужны,
что ты голод насытишь их.
Если веруешь, так садись,
оставайся тут и живи!

1946

Публикация Л. Е. Рубинштейна

Игорь Вяхирев
1910—1972

Человек, прошедший фронт, геолог по профессии и призванию, проработавший в этой области до последнего дня жизни, Игорь Вяхирев так и не стал профессиональным литератором, хотя писал стихи всю жизнь. Циклы его стихов появлялись после войны в «Знамени», «Звезде», «Неве», «Смене», а в 1961 году в издательстве «Советский писатель» вышел сборник его стихотворений под редакцией и с предисловием Николая Грибачева.

Настоящая подборка составлена из стихов, никогда не публиковавшихся: они извлечены из архива И. Вяхирева.

А. КОГАН

* * *

Брезентовая серая палатка.
Тесовая неструганая дверь.
Ко мне опять подходит лихорадка
На мягких лапах, как мохнатый зверь.
Она идет, чтобы сперва напомнить
О пустяке, прочитанном вдвоем,
О мягких креслах, об уюте комнат
И встать у двери в облике твоем.
Потом трубой без аккомпанемента,
Как визг, как свист, все нервы теребя,
В лихом безостановочном крещендо
Она опять навяжет мне тебя.
И ты прильнешь к пульсирующим ранам,
Но боль сожжет прохладные уста,
А ты сольешься с ветром и туманом,
И — лучше боль, чем снова пустота.
А ты пройдешь сквозь засухи и жары.
И зазвенит колосьями земля.
Ты встанешь в мутной оргии пожара
И под стенами древнего Кремля.
Ты к нам придешь, тебя не тронут пули,
Еще сильнее разгорится бой,
И смутный шелест мирного июля
С далеких нив ты принесешь с собой.
Ты вскрикнешь под штыком головореза,
Не дохрипев последнего «прости».
И в дымном вихре рваного железа
Мы за тебя доскажем: «Отомсти!»
Но бой стихает. В маленькой палате
Смолкает грозный отдаленный гул...
А ты войдешь в косынке и в халате
И скажешь: «Тише! Кажется, заснул...»

1945

* * *

Через броню, из-под железных век,
Через туман и тучи грозовые
Смотрел неандертальский человек
В упор на вожделенную Россию.
Как вырос он с тех пор, как взял со старта,
Как он окреп в игрушечной борьбе.
Он пол-Европы стасовал как карты
И отобрал все козыри себе.
И душный запах дыма, гнили, смерти,
Взметенный бурей у альпийских скал,
Крутил смерчи в Варшаве и Бизерте
И на трондхеймских скалах не стихал.
И в тот суровый год, когда впервые
Заговорили пушки на Руси,
Ей целый мир шептал: «Спаси, Россия»,
Как шепчут только: «Господи, спаси!»

1947

ЗЕМЛЯ

Не уноси ее на счастье
В кармане, в ладанке, в горсти.
Нет у земли волшебной власти
Ни обнадежить, ни спасти.

Нужны ветра, и расстоянья,
И детский смех, и дым жилья.
Ее простор — твое дыханье,
Ее дыханье — жизнь твоя.

О, как я остро понял это,
Навек зацомнив с той поры,
Когда земля в лихое лето
Зажгла солдатские костры.

Мы в смертной огненной купели
Ловили воздух жадным ртом...
Лишь месть и гнев служили цели,
А жизнь и свет... Потом, потом!

1955

* * *

Мы не палили городов,
Мы не стремились к грозной славе,
Мы понимали: слезы вдов
В Берлине те же, что в Варшаве.
Нет, просто мир был крепкой чашей,
И, с непривычки чуть хмельна,
По всей земле победе нашей
Салютовала тишина.
Еще не подсчитав потери,
Еще в пыли, еще в дыму,
Лежал Берлин, пока не веря
На целом свете никому.
Умолкли старые команды,
Не слышно новых. Он в слезах
Не от позора фатерланда,
А о погибших сыновьях,
Он вспоминает тридцать третий,
Он понимает, что не зря
Под хлесткий свист свинца и плети
Легли тогда концлагеря.
К какой кровавой магистрали
Привел тот след, привел тот бред,
Что здесь со всех трибун орали
И тискали в столбцы газет!
Но тот, кто выплатил сторицей
Всю дань, всю боль за все года,
Уже шептал: «Не повторится»,
Уже чеканил: «Никогда!»

1946

Овсей Дриз
1908—1971

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

Осенний ветер
За море собрался.
Осталось
Только кое-что доделать.
Еще не отутюжена
Река,
Не проветрены
Опустевшие гнезда.
Не сыграна до конца
Осенняя песня
На проводах.
Но вот,
Искупавшись в хвое
И хлопнув мокрой калиткой,
Ветер улетел...
Но вдруг
Вернулся,
Пригнул
Стройную березку —
Словно свечу —
И задул
Последний
Осенний
Лист.

ТЕННИС

Ты —
Ловкая —
Играла в теннис,
Ракеткой отбивала,
Целясь,
И снова принимала
Мяч —
И я летел,
Пускался вскачь.
Мне это дело
Надоело!
Я выкатился за пределы
Площадки,
Гладкой и пустой.
Я думал,
Закричишь:
«Постой!»
Затем пойдут
Упреки, просьбы, плач...
Но ты
Уже держала
Новый мяч.

ДОЛЖНИК

Я — должник.
Неисправимый должник.
Я старой матери должен
Сундук ненаписанных писем,
Ласковых слов подушку —
Милой моей жене,
А сыну —
Вагон мороженого
И еще ложку.
Я должен хлебозаводу
За свежий душистый хлеб.
Сапожникам задолжал
За новые башмаки.
Говорят, я в них проскриплю
Еще сто двадцать лет.
И сами сто двадцать лет
Потом они будут скрипеть.
Кому я только не должен!
Чего только сделать не должен!
Репейник
Я должен ослу —
Научил меня хлопать ушами.
И звонкую оплеуху —
Приятелю одному.

Перевел с еврейского Г. Сапгир

ОДИНОКИЙ САПОГ

Полустанок
Как развалившаяся печь.
На остатках стены —
Колокол
Без языка.

Возле насыпи —
Одинокий сапог.

Его оставил солдат,
Ему не нужен был правый сапог.

А поезда все идут,
Идут.
А колеса стучат
И стучат.

Еще один солдат
Ковыляет,
Опираясь на костыли

Он поднял сапог,
Пощупал голенище,
Постучал по подметке:
«Пригодится»,—
И оставил левый сапог.
Ему не нужен был левый сапог.

А поезда все идут,
Идут.
А колеса стучат
И стучат...

На остатках стены —
Колокол
Без языка.

Возле насыпи —
Одинокий сапог.

А поезда все идут,
Идут.
А колеса стучат.
И стучат.

1942

Георгий Шенгели
1894—1956

«...Он навсегда останется в моей памяти как железный мастер, как рыцарь поэзии, как красивый и благородный человек — как человек, одержимый служением слову, образу, воображению...» — писал о Георгии Шенгели — поэте и человеке — Ю. К. Олеша 21 февраля 1958 года в заметке, посвященной его памяти.

Советским читателям Шенгели известен прежде всего как превосходный переводчик. Он перевел всего Байрона, почти всего Верхарна, многие произведения Гюго, Вольтера, Махтумкули, Верлена, стихи Мопассана, стихи поэтов Парижской Коммуны. «...На днях перечитывала его «Дон Жуана». Какая огромная и благородная работа!...» — писала об одном из важнейших переводческих трудов Шенгели («Дон Жуан» Байрона) Анна Андреевна Ахматова. К этому внушительному перечню следует прибавить переводы многих произведений, классических и современных, национальных литератур Советского Союза.

Уважения и признательности заслуживает и работа Шенгели-ученого — исследователя, теоретика.

Безусловный интерес представляет оригинальное поэтическое творчество Георгия Шенгели. Им было выпущено несколько стихотворных сборников («Раковина», «Изразец», «Норд», «Планер»); часть оригинальных поэтических произведений Шенгели остается в рукописях.

БЕТХОВЕН

То кожаный панцирь и меч костяной самурая,
То чашка саксонская в мелких фиалках у края,
То пыльный псалтырь, пропитавшийся тьмою часовен,—
И вот к антиквару дряхлеющий входит Бетховен.

Чем жить старику? Наделила судьба глухотою,
И бешеный рот ослабел над беззубой десною,
И весь позвоночник ломотой бессонной изглодан,—
Быть может, хоть перстень французу проезжему продан?

Он входит, он видит: в углу, в кисее паутины
Пылятся его же (опять они здесь!) клавесины.
Давно не играл! На прилавок отброшена шляпа,
И в желтые клавиши падает львиная лапа.

Глаза в потолок, опустившийся плоскостью темной,
Глаза в синеву, где кидается ветер огромный,
И точно от молний мохнатые брови нахмуря,
Глядит он, а в сердце летит и безумствует буря.

Но ящик сырой отзывается шторму икотой,
Семь клавиш удару ответствуют мертвой немотой,
И ржавые струны в провалы, в пустоты молчанья,
Ослабнув, бросают хромое свое дребезжанье.

Хозяин к ушам прижимает испуганно руки,
Учтивостью жертвуя, лишь бы не резали звуки;
Мальчишка от хохота рот до ушей разевает,—
Бетховен не видит, Бетховен не слышит — играет!

1923

* * *

В комнате этой все живо и радостно мне.
Синяя карта широко висит на стене,
Мраморный глобус округло надулся в углу,
Клипер игрушечный выпрямился на полу.
А за высоким, пасхально промытым окном
Воздух гуляет и машет горячим крылом,
И по излучью до дна ослепленной реки
Баржу, груженную сеном, влекут бурлаки.

В комнате этой впервые почуялось мне,
Сколько простора прильнуло к домашней стене,
Сколько прозрачного воздуха в мире моем,
Как атлантический сладостен мне водоем!
В комнате этой, глаза прикрывая рукой,
Я замечтался о гордой свободе мужской,
Я захлебнулся полетом путей и побед,—
И тетивой зазвенел и напрягся поэт...

Ныне, усталый, замученный до седины,
Тихо бреду я под быстрой капелью весны,
Видеть завидно мне синее чье-то окно,
Небо в котором прозрачное отражено.
Думаю: там, за высоким за синим окном,
Мальчик мечтает горячий о том же, о том,
Дерзкие губы целуют блистание дня...
Будь же, неведомый, ты хоть счастливей меня!

1927

Публикация Нины Манухиной

Марина Цветаева
1892—1941

ПАМЯТИ БЕРАНЖЕ

Дурная мать! — Моя дурная слава
Растет и расцветает с каждым днем.
То на пирушку заведет Лукавый,
То первенца забуду за пером...

Завидуя императрицам моды
И маленькой танцовщице в трико,
Гляжу над люлькой, как уходят — годы,
Не видя, что уходит — молоко!

И кто из вас, ханжи, во время бдно
Не пировал, забыв о платеже!
Клянусь бутылкой моего патрона
И вашего, когда-то,— Беранже!

Но одному — сквозь бури и забавы —
Я, несмотря на ветреность,— верна.
Не ошибись, моя дурная слава:
— Дурная мать, но верная жена!

Июль 1918

П. АНТОКОЛЬСКОМУ

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу — восторг — и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,
Чтоб позабыл ты даже слово: нежность.

Чтоб голову свою, в шальных кудрях,
Как пенный кубок возносил в пространство,
Чтоб обратило в огнь — и в пепл — и в прах
Тебя твое железное спартанство.

Когда ж к твоим пророческим кудрям
Сама Любовь приникнет красным углем,
Тогда молчи и прижимай к губам
Железное кольцо на пальце смуглом.

Вот талисман тебе от красных губ,
Вот первое звено в твоей кольчуге,—
Чтоб в буре дней стоял один — как дуб,
Один как Бог — в своем железном круге!

Март 1919

Публикация А. С. Эфрон

В СБОРНИКЕ УЧАСТВУЮТ:

З. Александрова — 131; О. Алексеев — 131; П. Антокольский — 34; Т. Андронова — 169; С. Алиханов — 169; Б. Ахмадулина — 9; 132; Н. Астафьева — 36;

С. Баруздин — 37; А. Баева — 133; Э. Балашов — 134; А. Бобров — 39; М. Беляев — 135; В. Боков — 136; А. Брагин — 136; Т. Бек — 170; С. Бобков — 170; Н. Бялосинская — 40;

Г. Валиков — 137; К. Ваншенкин — 40; Л. Васильева — 21, 137; С. Викулов — 43; Е. Винокуров — 44; П. Вегин — 22, 138; З. Велихова — 171; А. Вознесенский — 48; И. Волгин — 49; В. Высоцкий — 139; И. Вяхирев — 216;

А. Говоров — 141; Ю. Гордиенко — 141; В. Гофман — 172; Н. Глазков — 51; Г. Глушкова — 52;

А. Дементьев — 7, 53; О. Дмитриев — 27, 55; О. Дриз — 218; Ю. Друнина — 142; Ю. Дудин — 172; Л. Дымова — 173;

Е. Евтушенко — 57; Е. Елисеев — 58; В. Есипов — 60; Г. Еремеев — 142;

Жале — 143; Т. Жирмунская — 63; А. Жигулин — 61; Л. Завальнюк — 65;

В. Завадский — 68; М. Зенкевич — 212; Н. Зиновьев — 28, 143; С. Золотцев — 174; Н. Злотников — 18, 66;

А. Иванов — 69; Р. Ивнев — 144; Е. Исаев — 70; В. Игельницкая — 193;

Р. Казакова — 72; И. Кашежева — 74; В. Казанский — 145; В. Карпеко — 145; М. Квливидзе — 75; А. Кафанов — 146; В. Ковда — 26, 146; Д. Ковалев — 76; Э. Котляр — 76; Л. Копылова — 74; А. Королев — 192; Я. Козловский — 147; Г. Корин — 147; А. Коренев — 148; Н. Кондакова — 175; П. Кошель — 176; С. Куняев — 79; С. Кузнецова — 80; Г. Кружков — 77; Т. Кузовлева — 11, 78; А. Кронгауз — 149; Ю. Кузнецов — 150; С. Крыжановский — 149;

Л. Лавлинский — 126; Л. Латынин — 81; А. Лаптев — 176; Б. Леонов — 14; С. Липкин — 82; М. Львов — 83; М. Луговская — 151; М. Лисянский — 152; М. Луконин — 153; И. Ляпин — 200;

Н. Матвеева — 84; Л. Мартынов — 86; А. Марков — 153; Х. Матеу — 154; А. Медведев — 155; Ф. Медведев — 177; А. Москвитин — 155; Ал. Михайлов — 87, 181; В. Микушевич — 90; Л. Мухина — 92; Ю. Мориц — 16, 93; С. Мнацаканян — 7, 91;

А. Николаев — 156; О. Николаева — 178; Ю. Никонычев — 177; К. Некрасова — 214;

Л. Озеров — 95; Б. Окуджава — 156; Л. Одинцова — 179;

Н. Панченко — 98; Ю. Панкратов — 97; А. Преловский — 95; Г. Поженян — 99; В. Проталин — 9, 102; Н. Поздняков — 157; Э. Портнягин — 157; В. Приходько — 158; Ю. Прокушев — 197; А. Прийма — 181;

Б. Рахманин — 21; Е. Рейн — 183; Р. Романова — 183; Г. Русаков — 184; Ю. Ряшенцев — 103;

В. Савельев — 23, 105; Д. Санин — 191; Д. Самойлов — 106; Е. Самченко — 109; В. Семакин — 109; Е. Сидоров — 190; В. Сорокин — 12, 114; Е. Славоросова — 186; Н. Стрижевская — 187; И. Селезнев — 194; Т. Стародубцева — 190; В. Сергеев — 159; Ю. Смирнов — 159; Л. Смирнов — 13, 158; С. Смирнов — 113; В. Солоухин — 160; Д. Сухарев — 25, 115; Т. Сырыщева — 161; М. Синельников — 110; В. Сидоров — 110; Б. Слуцкий — 111; А. Сурков — 179;

Н. Тарасов — 118; А. Тарковский — 117; А. Ткаченко — 188; Н. Тихонов — 31; Д. Терещенко — 161; Н. Тряпкин — 162; В. Туркин — 163;

Д. Ушаков — 119;

В. Федотов — 163; В. Федоров — 164; Г. Фролов — 164; И. Френкель — 165;

Н. Харджиев — 201; Я. Хелемский — 166; В. Хлебников — 208; Е. Храмов — 24, 119;

М. Цветаева — 221; В. Цыбин — 19, 124;

С. Чупаленков — 189;

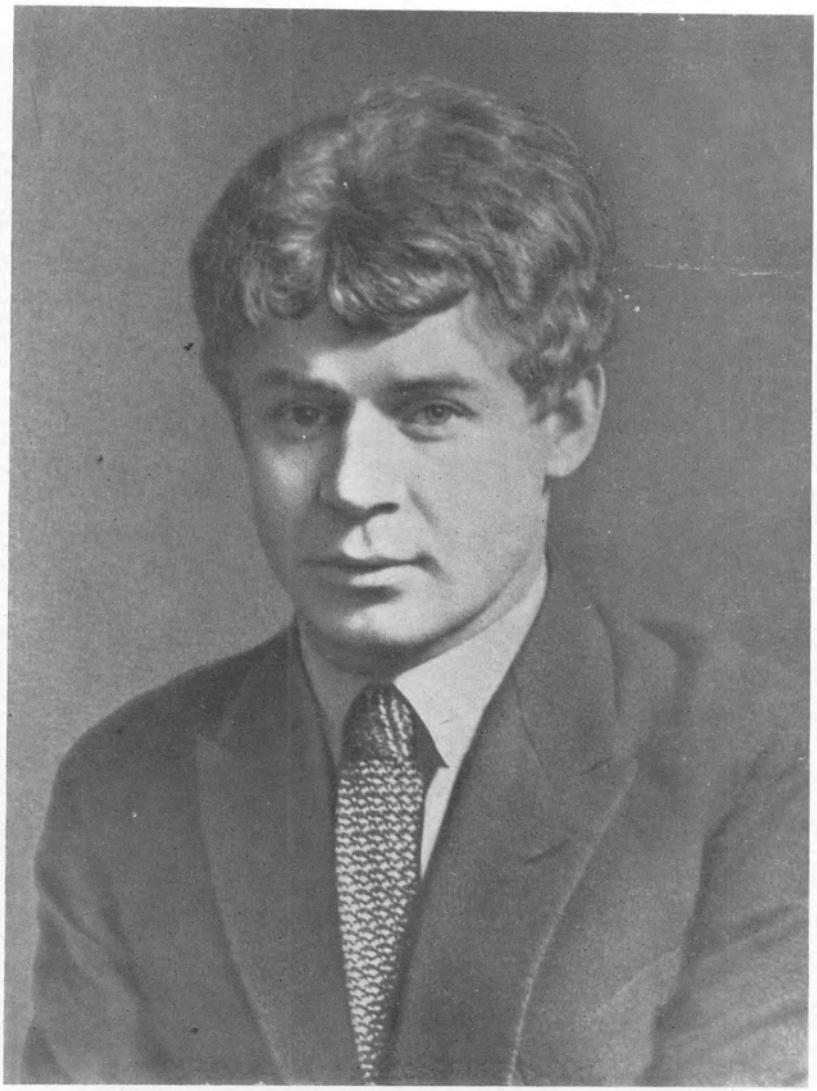
В. Шаламов — 120; Г. Шенгели — 219; И. Шкляревский — 17, 122;

Н. Щербинский — 188; С. Щипачев — 33;

А. Яшин — 213.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ. 1975

М., «Советский писатель», 1975, 224 стр. План выпуска 1975 г. № 128. Художник *Ю. В. Жигалов.* Редактор *В. С. Фогельсон.* Худож. редактор *В. В. Медведев.* Техн. редактор *Р. Я. Соколова.* Корректоры: *М. Б. Шварц* и *Т. Н. Гуляева.* Сдано в набор 13/VI 1975 г. Подписано к печати 20/VIII 1975 г. А02321. Бумага 84×108¹/₁₆ № 1. Печ. л. 14+0,5 вкл. (24,36). Уч.-изд. л. 19,95. Тираж 75 000 экз. Заказ № 2959. Цена 1 руб. 72 коп. Издательство «Советский писатель», Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва М-54, Валовая, 28



Сергей Есенин (1895—1925)

Велимир Хлебников (1885—1922)

Александр Балин, 1943

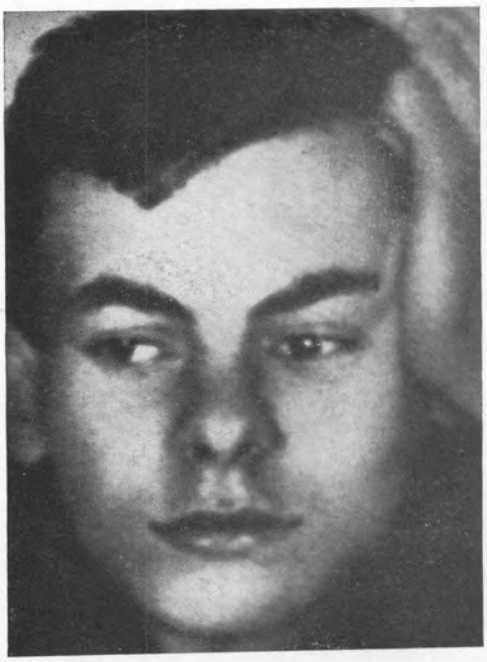
Александр Николаев, 1941

Григорий Поженян, 1941

Юлия Друнина, 1942

Давид Самойлов, 1944

Сергей Баруздин, 1945



Булат Окуджава, 1941

Сергей Наровчатов, 1943

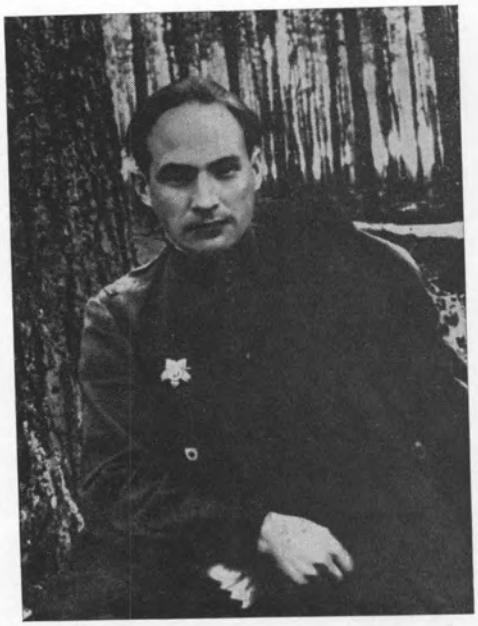
Николай Старшинов, 1943

Константин Ваншенкин, 1944

Юрий Левитанский, 1945

Евгений Винокуров, 1945

Марк Соболь, 1944



Михаил Львов, 1944

Егор Исаев, 1945

Борис Слуцкий, 1945

Василий Субботин, 1945

Михаил Луконин, 1945

1 р. 72 к.